

л 2010
26625к

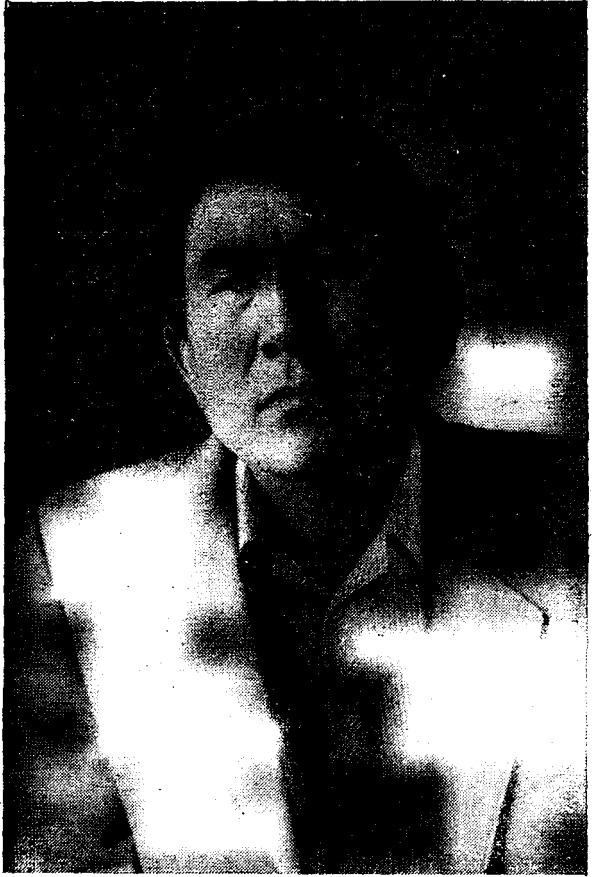
Берик
Шаханов

НОЧЬ В ГОРАХ



Берик
Шаханов

НОЧЬ В ГОРАХ



П 2010/26623К

Берик
Шаханов

НОЧЬ В ГОРАХ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Перевод с казахского
Г. МУРЗАХМЕТОВОЙ



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1987

821.512.122=161.1-3 ✓

~~84 Каз 7-44~~
Ш 310 ✓

Рецензент
К. КЕШИН

Шаханов Берик

Ш 31 Ночь в горах: Повести и рассказы/Пер. с каз.
Г. Мурзахметовой.— Алма-Ата: Жазушы, 1987.—
304 с., портр., ил.

В сборник казахского писателя Берика Шаханова вошли две повести и рассказы, повествующие о жизни села в последние годы, раскрывающие внутренний мир, быт и психологию жителей города и аула. Обращаясь к конкретным судьбам людей, автор стремится не просто создать правдивые образы, а увидеть в поступках и мыслях своих героев характерные черты современника.

Ш $\frac{4702230200-136}{402(05)-87}$ 171-87

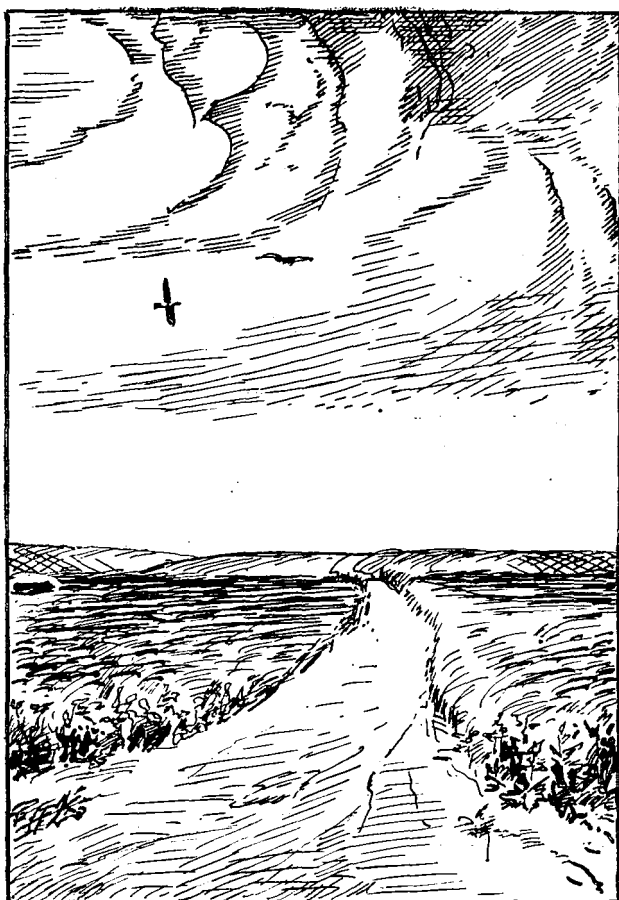
84 Каз 7-44

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ

№ 00032362

©Перевод на русский язык. «Жазушы», 1987

КН



РАССКАЗЫ

ВНУКИ СТАРОГО НИАЗА

*Памяти деда Бекета и
бабушки Кына.*

Автор

Начальная школа, где учились ребята из колхозов «Жанажол» и «Кызылкайрат», была расположена в высоком белом строении, крытом метровым слоем камыша под толстым накатом из глины, замешанной на соломе. Стояла она немного на отшибе, у подножия пологого холма, дикого и голого, одинаково далеко от обоих аулов. Кроме небольшой учительской в конце длинного коридора, здесь было еще четыре огромных классных комнаты, в которых с утра занимались дети из «Жанажола», а после полудня — из «Кызылкайрата».

Перед школой пролегалла широкая проселочная дорога — связующая нить между двумя аулами. На задворках уютился низенький дом, разделенный на две половинки. В одной половине жил завуч Сапар-агай со своей семьей, а вторую занимала одинокая старуха — уборщица и она же сторож школы. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о крохотном населенном пункте, который называли «Школой».

На все лето округа оставалась пустой и сиротливой, как покинутое становье, и только с приходом осени оживала, обретала привычный вид. Школа день-деньской звенела детскими голосами. Шум их напоминал птичий гай на озерах.

Было это в первые послевоенные годы. Прошло всего с неделю, как начался новый учебный год. Среди тех, кто пришел в первый класс, находился и Берден — отпрыск козопаса Серали из колхоза «Жанажол». Мальчик еще не втянулся в школьную жизнь, не успел осмыслить перемену в своей судьбе, но был счастлив уж тем, что приобщился к шумным забавам учеников. Единствен-

ное, что он умел пока,— это таскать сумку. На уроках малыш изнывал от нетерпения, дожидаясь звонка на перемену, когда все ватагой выбегают во двор, а еще пуще — конца занятий, когда можно отправиться домой. Время на уроках коротал, наблюдая в окно за дорогой. Все окна в классах выходили на южную сторону — к дороге. И кто бы ни пришел или ни проехал — всех было видно как на ладони. Первоклассников учил сам Сапар-агай — крупный высокий мужчина, смуглый и суровый на вид, с густым голосом. Был он инвалидом — потерял на войне ногу, и при ходьбе его протез отчаянно скрипел, и потому двигался он с осторожностью. Наполняя класс звучным басом, Сапар-агай размеренно, по слогам читал: «Ар-р-р-а-а, а-н-н-а-а»¹, потом вдруг, прервав чтение, громко спрашивал: «Сералиев, ты куда смотришь?» Берден вздрагивал и тут же прижимался к парте. Он делал вид, что усердно смотрит в учебник, а сам украдкой посматривал на учителя: что тот станет делать? Однако Сапар-агай, по природе терпеливый и сдержанный, все тем же спокойным тоном дружелюбно напоминал:

— Во время урока в окно не смотрят.

Берден, чувствуя неловкость, в искреннем раскаянии клялся про себя: «Никогда больше не буду так делать!» Немного погодя он забывал обо всем и даже сам не замечал, что взгляд его снова блуждает по дороге.

Однажды около полудня вдали появились двое пеших. Утопая по шиколотку в мягкой пыли, они тащились кое-как. «Кто это?» — весь поглощенный созерцанием, думал Берден. Один был дряхлый, согбенный старик, рядом, припадая на правую ногу, медленно шагал мальчонка.

Путники завернули к школе. Через некоторое время тяжелая дверь со скрипом отворилась, и они вошли в класс. Дети с шумом встали из-за парт. Уставились во все глаза на незнакомцев, явившихся в неурочный час. Учитель позволил ребятам сесть, приветливо поздоровался со стариком:

— Добро пожаловать, Ниязеке!

Одеты были старик и мальчонка довольно бедно. У старика на голове, несмотря на жаркую погоду, малахай, надвинутый по самые брови. Лисий мех кое-где

¹ Ар а — пчела, а н а — мать.

свалялся, а то и вовсе облез. И не разобрать уже, из какой ткани сшили когда-то верх малахач, испещренный множеством заплат. Черный стеганый чапан весь в прорехах, откуда клоками торчит вата. Поясницу старик туго обвязал куском бязи. Покрытые пылью коричневые вельветовые штаны на коленях протерлись добела. Голенища старых ичигов сбились в гармошку. На носках и пятках остроносых азиатских калош — латки из кожи.

По усталому, морщинистому лицу старика чувствовалось, что его одолели старческая немощь и хвори.

— Сапар, светик, вот мой внук, — сказал он, робко озираясь. Видно, непривычная обстановка смущала его.

— А-а, вот как? — сказал Сапар, взглянув на мальчика. — Это прекрасно. А как его зовут?

Он с улыбкой кивнул парнишке:

— Что ж ты стал у дверей? Подойди ближе.

— Зовут его Осер. Осержан, иди сюда, мой птенчик. Поздоровайся с дядей Сапаром. Он не чужой тебе. Потомок твоего деда Айдара, — проговорил старик, заискивая перед внуком, который не двинулся с места. Он потихоньку подталкивал мальчика к учителю и, словно оправдывая его, огорченно объяснял сдавленным голосом:

— Тихоня он, уж так робок.

Сапар окинул жалостливым взглядом мальчика, подошел к нему сам и спросил:

— Осер, тебе сколько лет?

Мальчик потупился и спрятался за спиной деда.

— Этим летом восемь исполнилось, девятый пошел, — ответил за него старик.

— Значит, вы должны были отдать его в школу еще в прошлом году?

— Сапар, свет мой, ты же знал его отца — Байбола, — принялся рассказывать старик. — Вы же вроде ровесники. Если я не забыл, он был ненамного старше тебя.

— Да, у нас разница была всего в два года.

— Так оно и было. Вы ведь вместе уходили на фронт. Когда Байбол ушел, этот только начал ходить. От Байбола мы только и получили, что два письма. В первом он писал, что они вместе с двумя-тремя джигитами из нашего аула находятся на учениях. Во втором сообщил, будто отправляется на фронт. Потом от него уже не было вестей. Один бог ведает, жив он или погиб. На беду той зимой и сноха моя заболела тифом. Весной

скончалась. И остались мы с внуком вдвоем. Мало того, несчастный ребенок еще в младенчестве занедужил. Видно, судьба была ему выжить. С тех пор хромает.

Старик снял малахай, вытер пот со лба.

— Ты же знаешь Ибрая? Того, что коров пасет. У нас с ним дальнейшее родство. У него мы и ютимся. А пастух, известное дело, ходит за стадом, кочует по горам, по долам. Летом — на джайляу, зимой — в песках. И мы с ним кочуем. Вот и не смог я в прошлом году отдать мальчика в школу. Хотелось бы мне, чтоб он от сверстников не отставал, учился. Нынче мы опять запоздали. Ждали, когда народ спустится с гор. Вижу, у вас учеба уже началась. Теперь, свет мой, я его тебе поручаю. Он тебе не чужой. Пригляди за сироткой. Бог тебя не оставит.

— Хорошо, Ниязеке, так тому и быть. Ну а куда вы его жить определите?— спросил Сапар.

— У нас в ауле дом старый сохранился. Этой зимой думаю там пожить. При скотине, мы, конечно, не бедствовали. Там-то сытость. Но делать нечего. На кого я брошу мальчонку? С голоду еще никто не умер. Как-нибудь проживем.

— Правильно. Вы, наверное, устали с дороги. Сегодня отдохните, а завтра он пусть с детьми приходит в школу. Раз вы сами будете здесь, наведывайтесь, узнавайте, как он учится,— сказал учитель.

— Ну а теперь, свет мой, вот что. Ведь у него нет ни книг, ни бумаги. Ты бы сам как-нибудь нашел для него то, что нужно. Да продлятся твои годы! А я оставлю денег,— сказал старик, достал из-за пазухи ситцевый платок и стал суетливо развязывать узелок на конце, но Сапар остановил его.

— Не беспокойтесь, аксакал. Бумагой и ручкой я его обеспечу. А учебники можно купить вон в том магазине.— Он указал в окно на видневшийся вдали низкий беленый домик на окраине «Кызылкайрата».— Пусть сам сходит, скажет, что ему нужны учебники для первого класса, и все ему дадут. Вам самому не стоит ходить, отправьте мальчика.

— Ладно, ладно, спасибо. Пусть свет озарит твою жизнь, милоч. Это же совсем рядом, так уж я сам его свожу. Осержан, иди, родной. Ну, всего вам доброго, дети мои!— Старик, горбясь, засеменил к двери. За ним, то и дело оглядываясь, прохромал мальчишка.

От «Жанажола» до школы было километра три. Дом

Серали стоял на пологом пригорке посреди широкой долины Жайлаукудук. Уже много лет здесь было его летнее становье. Берден после уроков увязался за ребятами из центральной усадьбы и заигрался с ними допоздна. Домой вернулся на склоне дня. Над очагом перед юртой булькал казан.

— Ну и ну, сынок, ты где пропадаешь? Уроки вроде давным-давно закончились. Привязали тебя к аулу, что ли?— бросила ему мимоходом мать, входя в юрту с кипящим самоваром.

— Кто там? Берден?— спросил отец, выглянув наружу.— Это старшенький наш. В этом году в школу пошел. Такой он у нас непутевый уродился. Куда вздумается, туда и идет. Вот мать его и ругает, что он после уроков бродит где-то вместо того, чтоб домой вернуться,— объяснил он кому-то.

— Это хорошо. Поздравляю. Не сегодня-завтра сын твой станет человеком. Главное, что у тебя есть наследник,— отвечал кто-то отцу.

«Дома гости»,— догадался Берден. Он вошел и сразу увидел недавних посетителей из школы. «Почему они здесь?— удивился он.— И откуда пришли к нам?» Он прошел к почетному месту, где сидел старик, и степенно подал обе руки для приветствия.

— Долгой жизни тебе, сынок,— ответил гость и с чувством пожал его руку.

— Ну, садись, пей чай,— кивнул отец Бердену на место возле мальчика.

Внученок старика сидел, прижав к себе уже купленные книжки, словно боялся расстаться с ними. Глаза его сияли, когда он изредка взглядывал на Бердена.

Старик, скинув с себя чапан и малахай, остался в одной рубахе. Расстегнув ворот, он с наслаждением потягивал чай. По изборожденному морщинами лицу струился обильный пот, и старик отирал его тем самым ситцевым платком с узлом на конце.

Между ним и отцом Бердена шел неспешный разговор.

Хозяин то и дело радушно предлагал:

— Берите же, Наке, пейте еще.

— Спасибо, спасибо. Живи долго, мой свет. Да множится твое племя,— благодарно кивал в ответ старик.— Осержан, ты бы поел. Бери, милый, не стесняйся,— заботливо придвигал он к внуку лежащие на дастархане баурсаки и ирмшик.

— Ты, батыр, знаешь наше положение. Мы ведь издавна роднимся с вашим аулом, так что не чужие. Кому же знать об этом, как не тебе,— повел речь старый человек о своих печалях.— Теперь вот он один остался. Вся надежда на него. Сам знаешь, это первенец Байбола. Двое младших моих не успели жениться. Так и погибли, не оставили потомства.

— Э-э, знаю, конечно. Что делать? Приходится мириться. На все божья воля.

— Конечно, конечно. И на том спасибо. Я не ропщу вовсе. Хочу, чтоб у мальчика раскрылись глаза, чтоб он хоть чему-то научился, чтоб среди людей жил. Кого винить, если он с пеленок был прикован к постели, зависел от кого-то. Вот и боязлив он не в меру, замкнут. Если он в нашу породу, то не должен быть робким. Из-за этого я и не решился оставить его у кого-то. Буду зимовать здесь. Все-таки мы не в чужом ауле. Надеюсь, голодать не будем. Без помощи нас не оставят.

Отужинав, старый Нияз засобирался домой.

— Наке, мы ведь поблизости живем, приходите к нам почаще. Сейчас в ауле молока не найти. Вы после уроков посылайте мальчика, хоть без айрана¹ не будете,— сказал отец, прощаясь.

Старик и мальчик ушли по узкой тропе к центральной усадьбе. Серали долго наблюдал в открытую дверь, как они уходят все дальше и дальше, а потом сказал, опечаленный:

— Лишь бы небо не покарало нас немощью. Сил былых нет, годы, конечно, берут свое, совсем одряхлел старик. А какой это был человек. С душой зоркой, отзывчивой. Но, коли старость пришла, делать нечего. Вот она до чего доводит, эта старость, будь она неладна.

Старый Нияз поселился с внуком в своем ветхом домишке. Иногда обед им варили сердобольные соседки. Но чаще они пробавлялись тем, что давали старику за работу жители аула. Он всюду являлся вместе с внуком. Если мальчик был на уроках, дед Нияз обычно говорил: «Прихвачу-ка я это для Осержана»,— и уносил с собой завернутый в платок гостинец.

Берден до сих пор помнил, как однажды весной во время окота коз к ним пришел Нияз. Мать начала угощать его:

¹ Айран — кислое молоко.

— Наке, я тут молозива настудила, покушайте. Оно мягонькое, как раз вам по зубам, да и в охотку...

Старик, осыпая хозяйку словами благодарности, торопливо глотал нежно подрагивающее лакомство, а насытись, виновато попросил:

— Келин, не найдется ли какой-то посуды, если мне взять немного молозива для Осержана, а?

В те времена с посудой было туго. Мать Бердена кинулась искать, но ничего не нашла. Студень из молозива она приготовила в единственном чугушке, но унести его старик не мог.

— А вы Осера самого завтра присылайте. Пусть придет после уроков вместе с Берденом и покушает,— предложила она.

— Этот щенок без меня никуда не ходит. Посылай-не посылай, пользы не будет,— ответил старик, все еще с надеждой поглядывая по сторонам. Убедившись, что иного выхода нет, он вытащил из-за пазухи свой платок.— Что, если сюда положить, келин? Здесь недалеко идти. Глядишь и донесу,— словно советуясь, спросил он.

— Конечно, можно, только так вода будет сочиться. Как бы вы одежду себе не испачкали.

— А я осторожно. Буду нести так, чтоб не запачкаться,— сказал Нияз и, отваливая студень кусками, принялся накладывать их в свой платок. Потом он, не стягивая, связал концы платка узлом.

— Ну, спасибо тебе, келин, и дай тебе бог дожидаться радостей от детей своих,— сказал он и, опираясь на палку, с трудом поднялся на ноги.

Платок тут же потемнел от выступившей влаги, в следующую минуту из узелка снизу закапало.

— Смотрите, на полу чапана течет! Надо же, посуды даже не нашлось!— огорченно воскликнула мать.

— Ничего, чуть-чуть потечет и перестанет. В нем же не очень много влаги,— успокоил ее старик, держа руку с узелком на отлете.

— Берден, проводи дедушку. Как бы собаки не напустились. Они, правда, никогда не трогают того, кто выходит из дома. Но собака есть собака. Так что выйди на всякий случай.

Берден поднял опущенную кошму, прикрывающую дверь, пропустил вперед гостя, сам вышел следом.

Майлаяк, огромный рыжий кобель, лежал у самых дверей, но даже не повернул головы, чтобы взглянуть на

вышедших. Черномордая гончая бродила в конце двора и тоже не обратила внимания на них.

— Нет, в этом доме собаки зря на людей не кидаются. Нет у них такой повадки,— удовлетворенно отметил старик, покосившись на собак.— Ну, будь здоров, сынок,— попрощался он с Берденом, выйдя на тропу, ведущую к усадьбе.

Впереди, за зарослями шингиля, верблюжьей колючки, курая, за островками тростника и камыша по берегам арыка поднимались крытые камышом низкие глинобитные домики. Казалось, до них рукой подать, но старик — Берден это знал — затрачивал на дорогу целых полчаса, а то и больше.

У Бердена защемило сердце от жалости к старику.

Вдруг ему показалось, что старик, который еле тащился по тропе, давным-давно не жилец на этом свете, что если в нем еще теплится душа, па то есть важная причина: он не может позволить себе умереть, пока не поставит Осера на ноги. Вот он и цепляется из последних сил за жизнь и ни за что не сдастся смерти.

Осер оказался понятливым и старательным учеником. Но он был слишком робким, застенчивым. Не умел ответить толком даже тогда, когда прекрасно знал урок.

Сапар, как уже говорилось, приходился Ниязу дальним родственником и часто во время большой перемены уводил мальчика к себе, чтобы накормить и обласкать. Осер в такие дни чувствовал себя уверенней, играл вместе с ребятами, смеялся. Но стоило покинуть школу, как он тут же замыкался. Иначе и быть не могло, потому что находилось немало негодников, которым доставляло удовольствие обижать сироту. Но как бы ни издевались над ним, Осер ни разу не взбутовался, не пытался дать отпор. Только брел следом за ребятами и молча плакал.

Летом Нияз часто бывал в доме Серали. И зимой заглядывал не раз. Одно Берден тогда заметил: отец не в пример жителям аула, смотревшим на старого Нияза с обидной жалостью, относился к нему с особой сердечностью. Старик в его доме был окружен почетом и вниманием. Для него специально разжигался очаг, готовилось угощение. Отец заботливо расспрашивал гостя о здоровье, втягивал в долгие беседы. Обычно скупой на слова, Нияз, бывало, разговорится, вспомнит былое. Он мог о многом поведать, этот несчастный и тихий человек.

— Да, какне это были времена, свет мой Серали!— начинал он свои рассказы, благодаря которым Берден

узнал, кто был кем в этом мире, что сделало народ народом и что есть добро, а что — зло.

Мальчику странно было слышать, как его отца, которому уже под шестьдесят, кто-то ласково зовет «мой свет». Но от этих слов отец ничуть не смущался, а усердно потчевал старика: «Наке, берите то. Наке, отведайте это».

— Давно мы не виделись. Хотелось зайти, поговорить с тобой. Славно мы посидели. Хоть душу облегчил,— говорил Нияз, опрокидывая свою пиалу вверх дном. После густого ароматного чая лоб его увлажнился, глаза делались глубже, темней.

— Ну, Осержан, нам пора. Идем, сынок...

— Что, собрались уже, а, Наке? Ладно, тогда бывайте здоровы. Приходите к нам почаще,— такими словами провожал Серали своего гостя, поддерживая его под локоть.

— Спасибо, спасибо... Да воздастся тебе от бога. Будем живы, еще не раз придем. Ну, прощайте. Чтоб душа ваша никогда не ведала зла.

Попрощавшись, Нияз вместе с внуком уходит. После их ухода отец долго не может успокоиться, все бормочет про себя:

— Была большая семья. Кого болезнь унесла, на кого гибель нашла, кто на войну ушел, не вернулся. Одно, другое, и вот выбила смерть всех подчистую. Только одно утешение осталось ему, что мальчй мальчонка. Но куда жив человек, его не покидает надежда. Душа не устает верить. И он тешит себя мыслью о продолжении рода. Видит в мальчишке единственную опору. А как же? Все-таки след на земле. Тем и жив. Что ж, что мал! Вырастет еще. Разве заказано ребенку стать взрослым, а бедному — богатым? Будет жив, никто и оглянуться не успеет,— станет на ноги. Все впереди. Главное, ему есть на кого надеяться.

Старый Нияз скончался тем летом, когда они окончили начальную школу. Берден с другими своими одноклассниками перешел в школу-десятилетку в соседнем ауле. Сапар отвез Осера в райцентр, устроил в интернат. В ауле Осер появлялся только в летние каникулы. Окончив школу, он поступил на курсы трактористов и вернулся в аул механизатором. «Хорошим джигитом вырос внук Нияза, скромным, трудолюбивым»,— говорили про него земляки.

Среди множества домов в «Жанажоле» есть один дом, из которого по утрам в школу отправляются сразу шесть-семь смуглых ясноглазых крепышей. Старшему из них лет пятнадцать, а самый младший, как видно, — первоклашка. В редкие свои приезды Берден встречает их иногда на дороге. Он останавливает их и спрашивает старшего:

— Как твоя фамилия?

— Ниязов.

Берден задает тот же вопрос второму, третьему — всем по очереди — и слышит в ответ:

— Ниязов.

— А ты знаешь, кто такой Нияз? — обращается он к младшему.

Малыш пожимает плечами: «Откуда знать мне?»

— Если не знаешь, то почему же ты Ниязов? — смотрит на него серьезно Берден, еле удерживаясь от смеха.

— Это же папина фамилия, — говорит с упреком тот, что постарше, Бердену, словно удивляясь его непонятливости.

— Нияз — это папин папа, — поправляет его еще один.

— А-а, — тянет Берден. — Тогда все понятно!

Он воскрешает в памяти образ дряхлого старца в драном чапане и малахае. «Бедняга. Если бы он видел это... Когда бы мертвые могли хоть на миг воскреснуть, хоть краешком глаза увидеть, что они оставили после себя! — страстно желает невозможного Берден. — Была ли иная мечта у старого Нияза? Была ли большая надежда? Разве не цеплялся он за жизнь во имя самой жизни, во имя продолжения рода?»

КОРИЧНЕВЫЕ БОТИНКИ

В широкой долине отрогов Каратау разместились в тесном соседстве три-четыре колхоза. Один из них назывался «Жанажол».

Близость аулов обеспечивала оживленный обмен новостями. На праздниках и гуляниях, сходках и собраниях смешивались в толпе жители всех аулов, слухи раздувались и разносились с быстротой молнии. Если судьбы у соседей схожие, привычки и обычаи — одинаковые, общими стали взгляды и интересы, дышат они одним воздухом, пьют воду из одних и тех же источников, они

должны в конце концов сплотиться. Аульчане же даже сроднились, прикипели друг к другу душой. Но и в этой накрепко спаянной семье не обходилось без раздоров и соперничества. Выставят ли колхозы своих коней на скачки или силачей — на поединок, тут, разумеется, каждый болеет за своих. А уж когда встретятся соседи — всяк превозносит до небес родной аул.

Вот такими горячими спорщиками и защитниками были отец Бердена Серали из «Жанажола» и чабан по имени Казы из соседнего колхоза.

Скромная юрта Серали тем летом стояла на краю центральной усадьбы «Жанажола». Для сезонного пастбища чабан Казы облюбовал луговину с курчавкой, откуда после выпаса пригонял свою отару на водопой к каналу, что протекал мимо юрты Серали. Напояв овец, Казы оставлял отару отдыхать, а сам шел пить чай к Серали. Спадала полуденная жара, и он гнал отару на вечерний выпас. Так продолжалось изо дня в день. В этом не было ничего странного, потому что Казы состоял в родстве с семейством Серали.

Казы — круглый, крепко сбитый, подвижный старик — был большим любителем позубоскалить. В споре он доводил собеседника до белого каления. Но и отец Бердена никому не уступал в словесном поединке, расправлялся с любым соперником играючи. Бывало, заговорит-запутает того, собьет с толку и сидит посмеивается. Берден, слушая, как старики состязаются в остроловии, хохочет до колик. Он всегда рад, когда отец проймет Казы своими шутками, и даже гордится этим. Гость обычно еще какое-то время хорохорится, потом, будто и впрямь признав поражение, со вздохом: «Ох, углей бы тебе горячих сыпануть на язык, Серали!» — откидывается на подушку. Но это не значит, что он угомонился.

— Эй, знаешь, какой нынче приплод дали наши табуны? У вас, по-моему, что-то неважно с этим. Как там ваш косяк в Каракога? — спустя минуту начинает он опять подтрунивать над Серали, постукивая стеклянной шакшой¹ о рейку кереге².

— Э-э, что там говорить о крохотном табунке! Важнее, сколько ягнят и телят получено. И если говорить по совести, наш аул снова оказывается впереди. Так было сказано на собрании в районе, — не сдастся отец. — Если

¹ Ш а к ш а — табакерка.

² К е р е г е — решетчатый остов юрты.

хочешь знать, на том собрании сам секретарь райкома усадил нашего председателя на почетное место в президиуме.

Иногда они спорят до хрипоты и никак не могут договориться, но бывает, что приходят к согласию: дескать, как ни крути, добро-то государственное. А раз так, то никуда оно не денется. Все это для народа, а стало быть, для нас с тобой.

В один из дней пришел как всегда Казы и с порога возбужденно спросил:

— Эй, в вашем ауле будто герой объявился?

— Да, есть такое.

— Поздравляю! Я слышал, у героя будто бы очень и очень большие права?

— Да, говорят, что это так. Что ж, выходит, что бедняге Байкену выпала такая честь на счастье его ребятне.

Весть о присвоении чабану Байкену звания Героя взбудоражила весь аул. Слышал о ней и Берден. Со вчерашнего дня только и было разговоров, что означает «герой» и какие выгоды сулит это звание. Раньше не только в округе, но и во всем районе не было никого, кто носил бы звание героя. Возможно, мало кто понимал, что речь идет о Герое Социалистического Труда. Для всех это был просто герой.

Берден слышал также, что новоявленный герой вместе с председателем колхоза Жаксылыком в скором времени поедет в область. Там, говорили, будет большое собрание, где Байкену «вручат героя» вместе с золотой медалью.

— А башкастый молодцом оказался!— восхищенно поцокав языком, сказал Казы.

Он говорил о Жаксылыке — председателе колхоза «Жанажол». Народ прозвал его так не только за крупную, обритую наголо голову, но и за ум, рассудительность, за вдумчивое и серьезное отношение к делу, а еще за привычку поглаживать свой широкий лоб во время разговора. За глаза все называли его не иначе, как «башкастый».

— Его заслуга, сердечного. Такой уж он непоседа. Закваска у парня добрая,— отозвался с похвалой о председателе Серали.

— Но это и для него самого большая честь.

— А как же! Как-никак он председатель! Думаешь, государство этого не видит?

Теперь уже разговор крутился вокруг Жаксылыка.

* * *

У Жаксылыка было двое сыновей. Один уже большой, лет тринадцати-четырнадцати. Второй учился с Берденом в третьем классе. Мягкий по натуре, Жаксылык со своими детьми обращался довольно сурово. Никто в ауле не помнит, чтобы те болтались без дела, как другие ребята. Старшему сыну, озорнику и заводиле, он вовсе не давал спуска. Как-то несколько подростков сбежали с работы. Жаксылык, верхом на лошади, погнал их пешими от аула до тока, что находился на расстоянии ягнячьего перегона. Больше всех, конечно, досталось его сыну.

— Кажется, он от природы человек кроткий, и откуда в нем твердость берется? Даже собственного сына не пожалел,— говорили после этого случая в ауле.

— Ой, в гневе он никого не пощадит.

— Для него важнее всего колхоз, видишь, как...

— А что ему остается делать? Раз доверили человеку управлять людьми, тут уж ничего не поделаешь.

Как видно, земляки вполне разделяли жизненные принципы Жаксылыка.

Да, в этом добром и отзывчивом человеке порой просыпались несвойственные ему твердость и непреклонность. Один случай стал для жителей всех аулов предметом долгих разговоров и восхищения. Школа, где учились дети из «Жанажола», была в нескольких километрах от аула. В свободное от страдных работ время колхоз выделял подводу, чтобы возить детей в осеннюю и зимнюю распутицу.

Как-то шел дождь вперемешку со снегом. Было сыро, сыро. Около полудня ученики младших классов, которые учились в первую смену, возвращались домой. Телега, глубоко увязая в грязи, тащилась кое-как. Наконец она застряла в канаве. Одно из задних колес соскочило с оси и упало, телега завалилась набок. О том, чтобы и дальше ехать на телеге, не могло быть и речи. Пришлось детям слезть и топтать в аул пешком. Нелегко им было месить грязь, глина налипала на обувь, и ноги

становились непослушными. Они даже не шалили, как обычно, не устраивали потасовок, а, сторбившись, брели себе потихоньку, как вдруг услышали за спиной пофыркивание. Это ехал на своем буланом жеребце председатель — Жаксылык, побывавший у чабанов на песчаных пастбищах. От жеребца, огромного, длинногривого, с широким и крепким крупом, валил пар. Весь он от ушей до могучей груди был залит потом, заляпан грязью по самое брюхо, и еле ступал от усталости.

Младший сын Жаксылыка шел вместе с ребятами. Завидев отца, он радостно стал выкрикивать:

— О! Это коке¹ едет, мой коке! Ура! А я теперь на коне доеду, на коне! — Гордый и счастливый, он посматривал на других свысока. Отец же пропустил слова сына мимо ушей и даже не взглянул в его сторону.

— О, ученики, как учеба? Я смотрю, вы совсем джигитами стали! Ай, молодцы! Что, сломалась ваша телега? — одобряюще весело обратился он ко всем ребятам.

— Здравствуйте!

Дети обступили конного и чинно поздоровались с ним за руку.

— Да, сломалась. Коке, возьмите меня с собой, а то я замерз совсем, — капризно затанул его сын.

— Ой, что он такое несет? Ты что, хуже этих малышей? — кивнул Жаксылык на первоклашек. — Они вон и то не мерзнут. Ты же постарше вроде.

Но мальчику хотелось непременно настоять на своем, и он снова заканючил:

— Коке...

Отец резко оборвал сына:

— Хватит! — Взгляд его посуровел. — И не стыдно тебе перед маленькими? Им ведь тоже еще шагать и шагать. Лучше старшие помогли бы малышам перенести книжки через арыки и промоины. Нечего ныть, придешь вместе с ребятами...

Жаксылык подстегнул коня: «Чу!» и вырвался вперед.

Сын, раздосадованный тем, что отец отказался подвезти его домой, чем опозорил навеки перед товарищами, всю дорогу пристыженно молчал.

¹ Коке — отец.

Жена Жаксылыка Укуш, хоть и не отличается строптивостью и язвительным нравом, но упрямства сй не занимать. Конечно, она никогда не выкрикивала злобно в лицо своему мужу слова обвинения или претензии, однако, крутясь по дому, гремя посудой, имела обыкновение поворчать.

— Ему и дела нет до собственного дома. Все едино, есть тут что-нибудь, нет ли. Голодные мы сидим или сытые. Лишь бы работа не простаивала. Только и забот, что колхозные дела. Помешался на них.

Он, конечно, слышит ее речи, да не обращает внимания. Та поворчит-поворчит и перестанет.

— Эй, скажите отцу, пусть чай идет пить,— обращается Укуш через некоторое время к детям, будто ее муж в эту самую минуту не сидит в той же комнате, что и она, а находится невесть где.

Когда они всей семьей садятся за стол, жена, уже настроившись на мирный лад, спокойно и обстоятельно, как если бы пришла с заявлением или жалобой в контору, говорит о домашних делах и заботах. Сообщает, что кончается топливо.

— Ладно, скажу бригадиру. Съездят тут недалеко в Шокат, привезут вам воз шингиля. Думаю, этого хватит до весны. За саксаулом в пески надо ехать. Далеко это, да и свободных людей нет.

Она напоминает, что дети подросли и стали разборчивыми в одежде, хотят приодеться, следят за собой, а на лето у них ничего нет, и если вдруг пригреет солнце, сй не помогут отговорки.

— Ой, зачем этим шенкам одежда? Не все ли равно, в чем бегать?— пытается обратить ее слова в шутку Жаксылык.

— Будет тебе. Ему дело говорят, а он шутки шутить вздумал. Мне не до смеха,— обиженно упрекает его жена.

— Ладно уж,— перестав смеяться, говорит он серьезно.— Что-нибудь придумаем. До лета времени хватает. Будут здоровы, одежда всегда найдется.

Далее жена выражает опасения, что семья, как и прошлым летом, останется без молока.

— Ты бы сказал там на ферме. Пусть нам весной выделяют на время дойки корову. Только из тех, что пораньше отелились. Как же детям без молока? Тебя же

как-никак начальником величают. Неужто хоть на молоко детишкам не заработал?— Так она пилит и пилит мужа, поровня уколоть побольнее.

Жаксылык ничего определенного сказать не может и долго раздумывает, прежде чем ответить.

— Не знаю, как получится...— наконец мямлит он неуверенно и, не поднимая виноватого взгляда, медленно крутит перевернутую пиалу.— Смотри какой будет план по сдаче молока.

— Твой план в одну-единственную корову упирается, что ли?— взрывается Укуш.— Как речь зайдет о собственной семье — то сроду ничего не сделаешь! Что я, для своей родни прошу это молоко?

— Дело не в одной корове,— мягко отвечает Жаксылык.— У нас в колхозе, сама знаешь, и больных хватает, и инвалидов. И многодетных семей достаточно. Мы даже для них не можем выделить корову на сезон. Желающих, знаешь, сколько? И у каждого веская причина. Но колхоз не может раздать всех коров по дворам. Это ни в какие рамки не лезет,— страдальчески морщась, продолжает Жаксылык.— Ну а если я в такой обстановке пригоню на свой двор корову, что люди скажут? Как я буду пить молоко, которого у других нет? Как после такого людям в глаза смотреть? Нет уж, как все, так и мы.

Женщина почувствовала, что настаивать не стоит, иначе муж начнет сердиться, а может и расшуметься.

— Как знаешь,— сказала она упавшим голосом. Жаксылык пожалел жену и сказал в утешение:

— Время покажет. Если все будет нормально и отел пройдет благополучно, молока будет в избытке. Тогда на всех хватит.

* * *

Жаксылык тоже доводился Серали дальним родственником. Семьи их общались между собой. Бывало, и сам Жаксылык заходил, чтобы поговорить с отцом Бердена, поделиться новостями, а иногда и посоветоваться о разных колхозных делах.

Однажды в сумерки к ним домой пришла жена Жаксылыка. Мать Бердена всполошилась:

— Укуш, уж не случилось ли какой беды?

— Да нет, я просто зашла вас проведать.

Отец, который недавно отогнал овец для вечернего

выпаса на луг перед юртой, а теперь сидел за починкой чембура и поглядывал на пасущееся стадо, поднял голову, чтобы спросить:

— Жаксылык в ауле?

— В ауле, коке.

— Говорили, будто он в область едет на собрание.

Выходит, не уехал еще?

— Завтра утром отправляется.

— Что, и Байкен с ним едет?

— Да, вроде бы едет.

— Е-е... — протянул отец, удовлетворенный ее ответом.

— А сама что, по делу зашла или как?

— У вашего брата, коке, обуви нормальной даже нет, чтобы ехать в область. В прошлом году, говорит он, видел у вас на ногах приличные ботинки. Вот, послал меня. Пойди, говорит, и попроси. Секен, наверное, и не обувал их больше ни разу. Лежат, небось, в сундуке. Пусть он одолжит их мне в поездку.

— А-а, как же, есть-есть. Лежат где-то. Эй, поищи-ка их, — велит жене Серали.

— О себе и то не может позаботиться, — Укуш, стараясь скрыть неловкость от такой просьбы, стала ругать мужа. — Ему же постоянно приходится ездить в район, область. И никогда ведь не подумает купить себе или детям что-нибудь из одежды. Ну, хоть бы самое необходимое. Ни за что не подумает. За спешкой и делами и себя забыл, теперь вот от людей стыдно.

— Э-э, свет мой, думаешь, ему не хочется приодеться? Или о детях он не заботится? Некогда человеку. Даже высморкаться и то нет времени. Вы-то дома, где вам понять. Колхозным делам, знаешь ли, конца-краю нет, — оправдывает Жаксылыка Серали. — В район он едет тоже по делу. С одним надо встретиться, с другим поговорить. Пока мотается из конторы в контору, все житейские заботы вылетят из головы.

После этих слов Серали повернулся к жене:

— Двигайся поживей, достань-ка мои ботинки.

— Сейчас-сейчас, — засуетилась его жена.

В Кендысае, который расположен на расстоянии двух-трех дней пешего перехода, некоторые из жителей «Жанажола» имеют родных, другие — приятелей и зна-

комых. Хоть Кендысай и именуется всего-навсего рудником, но для жанажольцев — это крупный промышленный, культурный и торговый центр. В Кендысае добывается свинец. Есть железнодорожная ветка. Магазины там богатые. И чего только в этих магазинах нет! Колхозники, известное дело, наведываются в Кендысай изредка, только когда спешное дело. Зато с наступлением лета в аулах полным-полно гостей. Приезжают шахтеры в отпуск целыми семьями и в одиночку. Хотят отдохнуть, набраться сил, попить кумыс. Частенько останавливаются гости из Кендысае и у Серали.

Те самые ботинки, за которыми пришла Укуш, как раз подарены Серали одним из приезжих шахтеров — его молодым родственником. Подарку были рады. Благодарные хозяева перед отъездом парня до отказа наполнили оба отдела переметной сумы жирным куртом из снятого молока, сладким иримшиком. Мало того, пристегнули к узде его осла козу с козленком. С тех пор и хранятся те ботинки в сундуке. Берден помнит, что отец обувал их раза два, не больше. Как-то вернувшись из райцентра, отец снял ботинки, протер пыль, повертел их в руках и сказал:

— Да, это вещь, конечно. Одна кожа чего стоит. Такую кожу я видел только на кавалерийских седлах. Вот ведь bestия! Хоть по камням в них ходи — ничего с ними не будет, до того прочные! Да, умеет государство шить, ничего не скажешь. Что за мастера!

Налюбовавшись, отец крепко-накрепко связал шнурки и бросил ботинки матери, возившейся у очага.

— Эй, спрячь-ка их. Все-таки жестковатые они, что ли? У меня ноги прямо разболелись, — сказал он и принялся растирать сведенные пальцы, на которых четко отпечаталась каждая складка портянок. В те времена о носках и не слыхивали. Ботинки тоже носили с портянками. Ногам, привычным к мягким войлочным катанкам зимой и замшевым ичигам — летом, в неразношенных ботинках на толстой подошве, конечно, было не слишком уютно. То ли отец решил не мучить себя, то ли хотел приберечь добротную вещь, но, судя по всему, носить ботинки не собирался. Жаль, они были велики Бердену, а то он выпросил бы их у отца и носил бы сам. Берден с завистью смотрел, как поблескивает кожа тупоносых ботинок на толстенной подошве и высоких каблуках.

Иногда, оставшись дома один, Берден известным

лишь ему способом открывал сундук, доставал коричневые ботинки и примерял. Нет, они были ему все так же велики. Ноги, как пазло, и не думали расти. А как было бы славно, если бы ноги росли так же быстро, как, скажем, волосы.

* * *

Выходит, что эти замечательные ботинки заметил и Жаксылык. И теперь его жена уносит их.

— Укуш! — окликает женщину в дверях Серали. — Ты вот что передай Жаксылыку. Ему часто приходится бывать на собраниях, у начальства. Так пусть он оставит ботинки себе. Я сам никуда не хожу. А если и пойду, меня никто не упрекнет, что я без ботинок явился.

— Ладно, коке, скажу, — растроганно ответила Укуш.

Через неделю она принесла коричневые ботинки назад.

— Коке, вы же знаете, что он и нитки чужой не возьмет. Вот сказал, чтобы я вернула. Из этой поездки он привез обувь, — виновато сказала она.

После ухода Укуш Серали задумчиво покачал головой.

— Правильный он человек, что ни говори. Нет в нем жадности. Так оно лучше. Людей-то жадность и губит. Цель у него в жизни хорошая.

* * *

Много лет спустя Бердену вспомнились те коричневые ботинки, когда гостивший у него земляк, рассказывая об аульных новостях, сказал, что у нынешнего председателя два личных автомобиля, два роскошных особняка...

ДЕДУШКА

Солнце летом не торопится завершить свой дневной персход с восхода к закату, а медленно скользит в небесной синеве, пока не сядет за дальними хребтами Мынжылки. Зимой, напротив, спешит, как озябший человек, поскорее укрыться в своем гнезде, едва достигнув гряды Коянбая. В холодные вечера даже от багряного солнца

словно бы веет стужей. Пламенеющая в закатных лучах высокая вершина близ аула постепенно бледнеет и угасает. Опускаются сумерки и окрашивают окрестные горы в густо-синий цвет. Между тем быстро темнеет и наступает долгая зимняя ночь. Резче обозначаются пологие барханы за аулом, а раскинувшиеся до неоглядных далей степные просторы стремительно убывают, и горизонт подступает к самой окраине аула.

День за играми и забавами пролетает для Бердена незаметно, но чем ближе вечер, тем больше овладевает им тоскливая тревога. Окутанная мглой степь имеет колдовскую власть над мальчиком. Оцепенев, он с затаенным страхом вглядывается в даль. В эти минуты он не замечает ни азартных криков своих ровесников, увлеченных игрой, ни женских голосов, зовущих ребятишек домой; глух к лаю собак, к ударам молота в колхозной кузнице, к цокоту копыт и скрипу снега под ногами прохожих, которые в морозном воздухе разносятся особенно отчетливо. «Хоть бы дедушка не мучился ночью,— в отчаянье шепчет он про себя.— Хоть бы не умирал».

Неожиданно прямо над ухом раздается:

— Берден, ай Берден, ты, что ли?

Очнувшись, мальчик оборачивается на голос и видит свою старую бабушку. Та, с опаской обогнув сугроб, подходит к нему.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего.

— Ужин готов. Иди домой. Что стоишь один-одинешенек? А я тебя искала. Думала, ты с ребятами играешь.

Берден послушно идет за бабушкой. Они молча шагают гуськом друг за другом, и тягостные мысли, исчезнувшие с появлением бабушки, возвращаются снова. Мальчик догоняет бабушку и со скрытым волнением спрашивает:

— Аже, а с дедушкой не будет плохо?

Он с мольбой смотрит на бабушку, как будто от ее ответа зависит, будет деду плохо этой ночью или обойдется. Бабушка, разгадав состояние внука, нежно гладит своей невесомой от худобы рукой по плечу и мягко говорит:

— Айналайн, да паду я жертвой за твое отзывчивое сердце. Нет, не будет. Дед твой уже выздоравливает, так что не бойся.

— Ему ведь не станет хуже?— цепляется мальчик

за надежду. Он хотел бы еще раз услышать спокойное и уверенное «нет».

— Выздоровеет он, выздоровеет, айналайн.

И снова Берден шепчет про себя: «Только бы дедушка не болел и жил долго-долго».

Усилившийся к вечеру мороз теперь будто бы пошел на убыль. Полустершейся монетой серебрился в небе серп луны. Как верный телохранитель при господине, чуть правее и ниже сияла крупная звезда. Под ночным небом темнели маленькие, словно съезжившиеся от холода, дома. Из труб курился жиденький дымок, поднимающийся белесыми столбами вверх, чтобы развеяться в мгlistой вышине. Из окон домов еле сочился слабый свет.

В доме Бердена лампу-семилинейку ставили на широкий и низкий подоконник. Возможно, поэтому их окно обычно светилось ярче других, рассеивая темноту двора. Но сегодня окно не светится. Дом засыпало снегом так, что виднеются только крыша и труба над ней. Разгрести завал не хватает сил. С помощью соседей Берден с братом прорубили проход к двери и сделали выемку над окном, чтобы в комнату проникал дневной свет.

Зима нынче совсем не та, что прежде. Тогда, помнится, случались сильные снегопады, неделями дул ветер, забивая низины и расщелины снегом, заравнивая земную поверхность до зеркальной гладкости. Некоторые дома заваливало снегом по самую крышу, а другие заметало так, что из-под сугробов торчали одни трубы. По ним только и можно было разыскать жилье. У жителей аула, привычных к причудам зимней погоды, входные двери открывались внутрь. Раскапывали погребенные под снегом дома всем миром. Пока соседи копали снаружи, хозяева не сидели сложа руки, а рыли ход изнутри. Встреча на стыке всегда превращалась в праздник: шум, ликование, расспросы. Ни дать ни взять два кочевья съехались в одном стойбище.

Странно, но белая метелица, засыпав снегом одни дома, у других не оставляла ни крупинки, выдувая все начисто. А с каким ужасающим ревом катились, играя валунами, горные реки весной, в период таяния снегов. Через речку Беркутты, например, несколько дней кряду не перебраться было ни конному, ни пешему. Беря начало в отрогах Каратау, она стремительно пронеслась по тесному ущелью, а вырвавшись на степной простор, разливалась морем. На вышедших из берегов озерах лето-

вала тьма-тьмушая разной птицы. От одного птичьего грая можно было оглохнуть.

Попробуй рассказать нынешним детишкам про те бурны и разливы — примут за сказку. Да что говорить о них, когда ты сам поглядишь на русло Беркутты, скорее напоминающее теперь старый заброшенный арык, чем бурный поток, подрывавший берега, посмотришь на засыпанную песком пойму реки и засомневаешься сам — было ли такое.

Берден с бабушкой тем временем шли по расчищенной дорожке. С двух сторон высились снежные валы. Если и дальше идти по дорожкам, потратишь уйму времени. Берден, чтобы сократить путь, решил пробираться по целине. Благо, снег плотный, не провалишься. Можно пройти поверху напрямик и спрыгнуть на дорожку прямо перед домом. Он отстал от бабушки и стал карабкаться вверх. Взобравшись, остановился, пораженный открывшейся его взору картиной.

Аул лежал перед ним как на ладони. Вон там, с краю, виднеется крыша дома дедушки Далибая. Рядом живет старик по имени Рахбек. А это колхозная кузница. Возле кузницы — дом кузнеца Куана. Старики дружат между собой. Как выдастся свободное время, сразу собираются вместе. Все вечера напролет могут просидеть за картами. И не надоедает им? А шумят, а спорят! Будто корову проигрывают.

Берден боялся идти домой. Уж больно невесело было у них в последнее время. Вдруг в голову ему пришла счастливая мысль: «А что, если сходить за дедушкой Далибаем? Сейчас он, небось, дома сидит, в карты играет». Бердену казалось, что с приходом деда Далибая в их доме будет не так тоскливо и мрачно. Сам он в его присутствии чувствовал себя гораздо спокойнее.

— А же, я позову дедушку Далибая?

Бабушка мгновенно поняла, чего боится Берден, успокоила:

— А он давно уже у нас.

У Бердена отлегло на душе, он повеселел. Хорошо, когда рядом есть крепкая опора. Успокоенный, мальчик спрыгнул на дорожку и, открыв дверь, уверенно перешагнул порог, на всякий случай прошептал: «Только бы дедушка больше не болел». Тревога, донимавшая его много дней, будто бы рассеялась. А мучился он ею с того самого дня, как однажды ночью дедушке стало плохо.

В доме, где Берден жил с дедушкой, бабушкой, сест-

рой и братом, была всего одна комната. Еще, правда, имелись просторные сени, но они не отапливались. Там хранилось продовольствие, растопка, разная домашняя утварь, а также разобранный летняя юрта. Вся семья ютилась в комнате, где топилась печь, а на плите готовили пищу. Здесь и ели, и спали. С тех пор, как внуки пошли в школу, старый Бекты со своей старухой зимовал в усадьбе. Внуков было трое, младший — Берден — учился в третьем классе.

Дедушка с бабушкой устраивались на почь у печки, а детям отвели угол у окна, где они днем делали уроки, играли, а ночью — укладывались спать. На торе сохранялись порядок и чистота, потому как место это предназначалось для гостей. Их в доме гостеприимного Бекты всегда было много.

Дед слег уже давно. Первое время Берден не придавал значения его болезни. Он даже не задумывался, чем болен дедушка и как долго это протянется. Позже заметил, что старик не спит ночами. По его тяжким стонам мальчик догадался, какие невыносимые боли он переносит. Потом красивое, крупное лицо деда резко похудело, сморщилось, пожелтело, и Бердена уже не покидало чувство тревоги и жалости.

Однажды ночью Берден проснулся от испуганного крика бабушки. Он приподнялся и увидел, как бабушка метнулась к ним, громко позвала:

— Бокен! Берден! Айкен! — но тут же кинулась назад и стала растирать дедушке руки и ноги. Взгляд Бердена упал на лицо дедушки, и он закричал от ужаса. Изжелта-бледное, оно показалось ему до странности костлявым, вытянутым. Вместо глаз чернели впадины. Это было лицо мертвого. Плача, мальчик бросился к деду, обхватил его ноги, закричал:

— Ата! Ата!

Никогда Берден не слышал, чтобы люди так хрипели. Это было так страшно! Но ужаснее всего показалось ему лицо деда. Даже малый ребенок догадался бы, какую смертную муку он испытывает. Все тело старика сотрясалось от судорог. Казалось, дыхание вот-вот оборвется, и деда не станет.

Напуганные дети плакали во весь голос. Бабушка поняла, что от них никакого проку, велела:

— Бегите скорей, позовите кого-нибудь. Мутекена зовите и Далибая. И кузнеца Куана. Скажите, что дедушке совсем плохо. Пусть побыстрей идут.

Они в чем были, в том и выскочили на улицу и, не сговариваясь, рванули в разные стороны.

Берден со всех ног мчался к дедушке Мутекену. Тот жил далековато — во второй от степной окраины улице.

Бердену надо было пересечь пустырь, а там — сплошные ухабы и рытвины. Кто в темноте разберет, где яма, а где кочка, если их заровняло снегом. Луна и то не светит. По плотному снежному насту еще можно пробежать, а по рыхлому снегу бежать трудно, то и дело проваливаешься по пояс, барахтаешься-барахтаешься, потом выберешься кое-как. Прошла, кажется, вечность, пока Берден оказался на окраине. У самого дома Мутекена его истошным лаем встретили собаки. Он обычно боялся их до смерти, а тут и внимания не обратил, подскочил к двери, замолотил кулаками.

Видно, крепко спали хозяева, если не проснулись от такого грохота. Тогда Берден бросился к окну, стукнул раз-другой и тут же услышал, что в доме зашевелились. Кто-то подошел, припал к оконному стеклу. Разглядев человека, засветил лампу и заспешил к двери.

— Кто там? Что вас носит среди ночи?— ворчливо заговорила старуха Мутекена, впуская его в сени.

Бердена трясло от холода и страха, он еле смог выговорить:

— Ата... мой ата...

Не договорив, он всхлипнул.

— Ой, да это никак Берден!— узнала его наконец старуха.— Что случилось, милый? И что ты один среди ночи бегаешь?— участливо спрашивала она. Ласково подталкивая, она завела его в комнату, где на постели сидел старик.

— Что он такое сказал?— встревоженно спросил тот.— Это Берден, что ли? А что случилось?

— Ой-ой-ой, как он замерз, айналайн,— не отвечая ему, ворковала старуха, отогревая руки Бердену, потом прижала его к себе.— Ну успокойся.

Тут он не выдержал, уткнувшись лицом в ее плечо, громко разрыдался. Старики, обеспокоенные, обступили его.

— Дедушке плохо. Бабушка меня послала. Идемте скорей,— наконец сумел выговорить сквозь слезы Берден.

Старик, узнав в чем дело, засуетился.

— Где маси?¹ Где мои маси?— растерянно бормотал он, шаря трясущимися руками по полу. Нашупав обувь, он долго не мог натянуть на ноги.— Где чапан? Где мой чапан?— сердился он. Нашелся и чапан, и старик, одевшись, бросил старухе:— Идем,— и заторопился к выходу.— Ух, дай нам, господи, силы,— вздохнул Мутекен и, переступая через порог, прихватил свою палку, прислоненную к косяку.

Берден шел впереди, а за ним семенили старики. На пустыре Мутекен-ата несколько раз падал, а выбираясь из снега, кряхтел.

Все трое изрядно вывалялись в снегу, пока насилу добрались до дома. Здесь они застали старого Далибая, который подоспел раньше и, опустившись на колени у постели больного, растирал ему ноги.

С больным его связывало не очень близкое родство, но он любил старого Бекты, как кровного брата, и поддерживал с ним самые тесные отношения. В нем было столько доброжелательности и готовности помочь любому, что он смолоду прослыл в ауле наивным простаком. И сейчас он всем своим видом выражал столь искреннее сочувствие и растерянность, что, кажется, пожертвовал бы собой, лишь бы больному полегчало. Пришедших он не замечал, потому что все его внимание было приковано к больному. Он, не прекращая массировать ему ноги, звал его жалким голосом:

— Кария², кария...

Лицо его при этом страдальчески морщилось, голова была втянута в плечи, крупные жилистые руки мелко дрожали. Кажется, этот богатырь с крепкой и широкой грудью словно бы врос в землю, таким он показался маленьким и тщедушным.

— Далибай, ты, что ли? Здесь ты, значит. Ну как он?— опускаясь рядом с ним на колени, спросил Мутекен.

— А-а, пришли, да?— поднял голову Далибай.— Не знаю, лежит вот. Вы попробуйте сделать что-нибудь. Это же по вашей части. Бог милостив, авось, поможет.

Мутекен знал толк в знахарстве. Он нащупал пульс у больного и принялся за массаж, нашептывая слова за-

¹ Маси — мягкая обувь с голенищами.

² Кария — обращение к старому человеку (досл. старец), адеkv... русскому «старче».

говора. Время от времени он, повысив голос, окликал:
— Бекты, ай Бекты!

Казалось, он осторожно будит спящего ребенка. Голос его срывается от волнения. Высокий и плечистый, он так велик, что, даже присев на колени, напоминает прилежшего верблюда. Берден со страхом вглядывается в его хмурое озабоченное лицо с крупным, уныло повисшим носом, ловит его печальный и добрый взгляд, чтобы разгадать, сможет он помочь деду или нет.

У окна, прислонившись спиной к скатанной постели, на которой недавно мирно спали дети, сидел и ежился от холода кузнец Куан. Был он человек хворый, издавна мучился слабыми легкими. Обычно раскашлявшись, он долго не мог уняться, начинал задыхаться. Вот и теперь нет-нет, но покашливает, хотя старается не беспокоить больного. Видимо, прогулка в морозную ночь не прошла для него даром. Заметно, что его познабливает, но он держит себя в руках и старается подбодрить других.

— Чему быть, того не миновать. Спокойствие, сородичи, спокойствие!

Надо ли говорить, как не нравится Бердену его: «Чему быть...»

А деду все так же худо и он мечется в жару. Рядом с ним хлопочут два старика, у изголовья суетится бабушка. Они вместе с ним борются со смертью, отстаивают его жизнь, делают все, что в их силах, а могут они, к сожалению, не очень много. Это ясно даже Бердену.

Дети уже не плакали в голос, как было до прихода стариков, а, поминутно утирая слезы, с тревогой следили за действиями старших. Бабушка, заметив, что они все еще на ногах, бросила вскользь:

— Что же вы стоите? Вы же замерзли. Завернитесь в одеяло и присядьте где-нибудь.

Внезапно деда заколотило в лихорадке. В беспомощности он рвался, пытаясь подняться. Тело его судорожно напрягалось. Старики всполошились, засуетились пуще прежнего.

— Пронеси, господи, — причитала старушка, пытаясь удержать деда за плечи. Берден почувствовал, как у него внутри все похолодело от ужаса. Руки-ноги вмиг ослабли, и он ухватился за подпорку, чтобы не упасть.

Томительно долго тянулись минуты, пока длилась эта страшная схватка со смертью, потом дедушка бессильно повалился на подушки, и наступило затишье.

— Смотрите, тело будто повлажнело. О создатель,

спаси и помилуй. Ему бы пропотеть сейчас, сразу легло бы,— бормотал Мутекен. Помолчав, он с надеждой добавил:— Уже и пульс лучше. Дай-то бог...

Далибай, иссиня-бледный от утомления, смотрел на Мутекена молящими глазами, будто исход зависел от него одного.

— Вот и лоб уже влажный. Э-э... сейчас как хлынет пот. Все, опасность миновала,— удовлетворенно произнес Мутекен, ошупав больного.

Через некоторое время дедушка вдруг слабо застонал и шевельнулся. Он еле разлепил веки и, будто очнувшись от кошмарного сна, обвел комнату мутными глазами. Взгляд его не выражал ничего, кроме равнодушия. Скорее всего, он был оглушен перенесенной болью и ничего не соображал.

— Карий, как же так, карий? Слава богу, хоть глаза открыли. Меня узнаете?— спросил Далибай, склонившись над ним. Дедушка остановил на нем свой взгляд, глаза его потеплели. Ответил кивком: «Да, узнал». Тут из глаз Далибая брызнули слезы, плечи затряслись в тяжелых мужских рыданиях.

— А ну-ка прекрати! Это еще что за новости? Ты мне тут всех детей распугаешь!— будто сердясь, прикрикнула на него бабушка.

Мутекен тоже всхлипнул и с упреком сказал:

— Что же ты, батыр, пугаешь нас? Разве можно так?

— Подумать только! С чего это старики тут расплакались? Прямо хуже детей,— шутливо пожурил их Куан.

Стоило дедушке прийти в себя, как в доме, таком мрачном, неуютном еще минуту назад, сразу посветлело.

— Карий, как вы себя чувствуете? Вам лучше?— спросил, подсаживаясь поближе к дедушке, кузнец Куан. Дедушка кивнул утвердительно.

— Слава богу,— пошевелил он губами, после чего отвернулся и устало смежил веки.

— Теперь не надо его тревожить. Пусть отдыхает. Настродался он сверх всякой меры. Теперь ему заснуть бы. Сразу сил бы набрался. Давайте оставим его в покое, пусть отдохнет,— сказал кузнец Куан, отодвигаясь к окну.

Мутекен и Далибай пересели на торь. Дедушка, видимо, действительно уснул, лежал тихо-тихо.

— Вы бы не мерзли зря, дети, а легли бы спать. Не бойтесь, дед ваш тоже спать будет,— сказала внукам

бабушка.— Завернитесь в одеяла и ложитесь. И ни о чем не тревожьтесь.

— А дедушки не уйдут, тут будут?— с нескрываемым беспокойством спросил Берден. Он верил, что пока старики тут, с дедушкой ничего не случится. Да и им, детям, не так страшно, когда есть взрослые, которые все знают и умеют. Вон, добились же они, чтобы дедушка пришел в себя. Поэтому Бердену страстно хочется удержать их. Только бы они не уходили, а то всеми опять овладеют ужас и тревога. Далибай-ата понял, что мучит Бердена, ласково успокоил:

— Здесь мы будем, айналайн, никуда не уйдем. Будем сторожить твоего дедушку.

— Ой да ты мой маленький,— подхватила его слова бабушка.— Вон о чем он беспокоится! Не бойся, ложись. Дедушки здесь до утра пробудут.

Куан-ата, который не переставая кашлял, попросил разрешения уйти.

— Тут вас и без меня хватает. Пользы от меня никакой, наоборот, всех замучил своим кашлем. Так что я пойду, пожалуй. Приду с утра. Сейчас он вроде утихомирился. Дышит ровно. Ну что ж, будем полагаться на волю аллаха,— сказал он и поднялся.

Кузнец Куан ушел, но с улицы еще долго доносился его отрывистый кашель.

Утром Берден проснулся от громких возбужденных голосов. Бабушка увидела, что он не спит, позвала:

— Берден-ай, ты бы перелег сюда, если не выспался, а то людям пройти невозможно. Иди, ложись здесь,— с этими словами она быстро постелила одеяло у печки, бросила сверху подушку.

Берден понскал глазами дедушку. Тот полулежал, укутанный по грудь в одеяло и обложенный со всех сторон подушками. Глаза его были раскрыты. Берден обратил внимание, что за ночь и без того истощенный дедушка исхудал еще больше. Он был так слаб, что не подоприт его одеялами и подушками — свалился бы, наверное.

Еще только утро, а в доме полным-полно народу. На торе почти все старики аула, а у двери — целая толпа старушек. Конечно, все они пришли справиться о здоровье дедушки. Видимо, до них дошли слухи, что ночью дедушка чуть не умер, вот и собрались спозаранку.

Сестры и брата не было дома. Берден догадался, что они ушли в школу, а его, наверное, бабушка не разрешила будить. Наверное, сказала: «Ладно, один день про-

пустит, ничего страшного». Бабушка всегда так говорит, если, скажем, на улице мороз или сильный дождь.

Судя по тому, что в комнате светло, солнце, наверное, успело подняться довольно высоко. Гребень снежного вала за окном искрится, играет под солнечными лучами всеми цветами радуги. За ним ничего не видно. Лишь ярко голубеет лоскут безоблачного неба над выемкой.

Бабушка внесла самовар из сеней, собрала дастархан, стала поить чаем тех, кто пришел навестить больного. А их с каждой минутой становилось все больше. Побыв немного с больным, некоторые, попрощавшись, уходят, но их место занимают другие, и в доме все так же многолюдно. Берден и не думал, что в ауле поднимется такой переполох из-за болезни дедушки. Ему открылось, что беда сплачивает людей. Сейчас каждый старался сказать дедушке что-то доброе, предлагал свою помощь.

Ближе к полудню дома остались всего пять-шесть стариков, которые решили побыть с больным до вечера.

— Отложим все дела. Все равно их вовек не переделать. Посидим с Бекты,— сказал рыжеватый старик, устраиваясь поудобнее. Худое лицо его с редкими оспинами выражало лукавое благодущие. Сухощавый, ловкий, с веселым и шумным характером, старик этот был прекрасным рассказчиком. Звали его Рахбек. Разговаривая, он часто оглаживал свою жидкую бородавку и подкручивал усы. Приосанившись, садился повыше и, сплюнув сквозь зубы, хвастался похождениями молодости, и выходило это у него так живо и интересно, что у слушателей дух захватывало.

Рахбек с Далибаем — ровесники. Поэтому они все время препираются между собой и подшучивают друг над другом. Если к ним присоединяется кузнец Куан, то веселым перепалкам и розыгрышам нет конца. Чаще всего они проводят время за картами, и тут уже не замечают, как летит время. Играть могут с заката до самого восхода солнца. Разлучить игроков удастся разве что их старухам, которые ворчливо перечисляют все забытые ими дела и ругаются на чем свет стоит, пока не растащат своих стариков по домам. «И что это за нескончаемая игра такая?— возмущаются они.— Ни пользы от нее никакой, ни радости. Хоть бы выиграли что или проиграли... А то попусту тратят время. И как им не надоест?»

Раз старики решили остаться, то бабушка взяла нож

и миску и вышла. В сенях открыла широкий ларь, где хранилась паленая баранья туша, отрезала лучшие куски, вернулась в комнату, пристроила на плите казан и поставила мясо вариться.

Гости вели степенные разговоры о былых временах и недавних событиях аула. Дедушка не участвовал в беседе, но с удовольствием прислушивался к тому, что говорили его старые друзья.

Спустя какое-то время Рахбек, обращаясь к Куану, сказал:

— Эй, ты же близко живешь. Пошли мальчика, пусть сбегает за картами. Чем зря сидеть, сыграли бы два-три кона.

— Ой, ты что? Это при больном-то? Ему же покой нужен,— деланно отказывается Куан, но напористого Рахбека этим не пронять.

— Да карие́ это не повредит. Мы тихонько поиграем, разве не так, Даке?— заручился он поддержкой Далибая.

— Кария́, мы не помешаем вам, если сыграем в подкидного?— со свойственным ему прямодушием обратился он к самому больному. Дедушка, слабо улыбнувшись, кивнул:

— Видишь, кария́ сам разрешил. Скорей посылай Бердена,— решительно насел он на Куана.

Один Мутекен, погруженный в раздумья, перебирал четки, не вмешиваясь в происходящее.

Старики пробыли у них до самого вечера, коротая время за картами и неторопливой беседой. Расходились в сумерки. Перед уходом сказали, что пришлют узнать, как чувствует себя дедушка и, если понадобится, вернуться, чтобы посидеть еще и ночью.

Дед долго не мог оправиться от своей болезни. Жестокое приступы у него повторялись несколько раз. Вчерашней ночью ему снова сделалось плохо. Потому Берден и боялся идти домой. А теперь, узнав, что дедушка Далибай у них, обрадовался. Сколько раз за время болезни дедушки Бердей убеждался, что старики, которые обычно балагурят или благодушно переговариваются, будто собрались просто поболтать, отвести душу, в нужный момент не шадят себя, чтобы помочь больному, не отходят от него ночи напролет. Да и никто в ауле не жалел последнего, чтобы скрасить дни больному старику. Бывало, придет кто-нибудь из друзей дедушки и говорит:

— Кына, подай-ка это старому к чаю. В сундуке у старухи нашел,— развернув свой матерчатый пояс, он достает кусок навата и протягивает бабушке. А то заглянет старушка, принесет горсть урюка или хурмы:

— Летом дочка из Туркестана приезжала. От ее гостинца вот немного осталось. Кария, поди, не чувствует вкуса пищи. А оно кисленькое, и для здоровья полезно.

Дедушка был большой любитель чая, но сладостей не признавал. Он мог выпить целый самовар чаю с крохотным кусочком сахара. Что бы ни подали к дастархану, он ни к чему не притрагивался. Об этом знали в ауле и стар и млад, однако же гостинцы несли, так велико было их желание хоть чем-то помочь больному человеку. Да и как иначе они могли бы выразить ему участие?

В те времена во всей округе не было ни больницы, ни врачей. И простые люди знали единственный способ излечить больного — теплом своей души, своей добротой.

В годы войны дед пас колхозных баранов. Старость, а пуще того необходимость отдать внуков в школу вынудили его после войны сдать отару и переселиться в усадьбу. Благо, ее было кому сдать: вернулись в аул воины. На руках у старика были дети младшего брата, который погиб на фронте, и среднего брата — Серали, прослужившего в годы войны в рабочем батальоне, а нынче работавшего в колхозе козопасом. Это он с женой зимой и летом гонял свое стадо по горам и долам, чтобы прокормить стариков и детей.

Народ еще не оправился от нужды. Берден помнит, что на сорок-пятьдесят дворов было всего два верблюда — у них да еще у Мутекена. Сколько сложностей возникло из-за этого, когда надо было заготовить топливо на зиму. За верблюдами устанавливалась очередь. Жители аула запасали в основном полынь и курай, которые перетаскивали домой на собственном горбу. А чтобы привезти из Шоката или Шабыра саксаул и шингиль — лучшее топливо в степном краю — использовали верблюдов. С ранней осени до первой пороши бедным животным не было покоя. Зато в холода бросишь с вечера в топку два-три поленца, и жар держится до самого утра. А хворост жги охалками — толку мало.

В прошлом году занятия в школе уже начались, а у ребят не хватало ни учебников, ни тетрадей. Дома денег не оказалось. Да и откуда им было взяться, когда никто в те годы на черный день не откладывал и копейки. Дед

пораскинул умом да съездил в Шокат, привез огромную вязанку шингиля. В воскресенье чуть свет разбудил мальчиков и сказал им:

— Поезжайте в Саудакент. Говорят, там с топливом туго. Продадите дрова и купите на базаре все, что вам нужно для учебы.

Ребята оделись, второпях перекусили и вышли во двор. Видят, там верблюдица стоит уже навьюченная. Дед приладил вязанки так, что получился ровный настил, постелил сверху корпеше. Он усадил внуков и проводил их в дорогу.

До Саудакента, где располагался райцентр, было километров десять. Базарная площадь, огороженная высоким забором, находилась на восточной окраине города. Туда ребята добрались только к полудню. Народу на базаре было еще довольно много. Люди ходили между базарными рядами, покупали овощи, фрукты. Кое-где образовались очереди. У раскрытых мешков стояли торговцы джидой, продавали свой товар стаканами. На длинных столах под навесами торговали разной мелочью. У одного из навесов Берден заметил телегу знакомого утильщика, который часто бывал у них в ауле. Бабушка не раз выменивала у него на всякое старье гребешки, иголки, нитки. У глинобитной стены стояли два-три возка с увязанным в снопы клевером. А за ними начинался скотный ряд, где скучали человек пять степняков, пригнавшие на продажу десятка полтора коз и баранов. Больше ничего интересного Берден не увидел.

Приезд мальчиков с дровами был замечен сразу. К ним с разных сторон ринулись пять-шесть покупателей. Что-то говорил на своем языке подошедший первым русский, но Берден его не понимал.

— Эй, ребята, дрова продаете?— спрашивали казахи.

— Продаем, продаем,— обрадованно закивали мальчишки.

— А почему?

Берден с Бокеном переглянулись в недоумении, почесали затылки. Какой-то ловкач заметил их растерянность, быстро смекнул в чем дело, выхватил у Бокена узду и шепнул мальчикам:

— Идемте за мной.

— Куда? Куда?— растерялись ребята, но покорно последовали за ним.

— Да ты что? Дай хоть узнать, почему они продают

свои дрова. Подожди,— возмутились другие покупатели, но тот и глазом не моргнул, вывел верблюда за ворота.

— Вот наш дом,— кивнул он на облупившиеся баракы у базара.— Идемте туда. Я покупаю ваши дрова. Рассчитайтесь с вами по совести.

Ребята, не доверяя ему, нерешительно мялись, на что ловкач этот не обратил даже внимания, а споро зашагал по улице. Мальчики были вынуждены идти за ним. Мужчина подвел верблюда к порогу своего дома, заставил прилечь и снял поклажу. Берден с братом испуганно моргали глазами, а он не торопясь полез в карман, вытащил целую горсть денег, отсчитал несколько бумажек и сунул Бокену:

— Держи, брат, и будь доволен. Больше тебе никто не заплатит бы. Ну, забирайте свои веревки.

Бокен пересчитал деньги и согласно кивнул. Они забрали свою верблюдицу и вернулись на базар. Набили полные карманы джидой, потом отправились в центр, где был книжный магазин. Там купили тетрадей, ручек, недостающие учебники, затем, расхрабрившись, взяли еще и кожаные портфели, каких у них отродясь не водилось, и вышли из магазина довольные своими покупками.

— На оставшиеся деньги купим гостинцы,— сказал Бокен. Бердену было все равно, на что тратить деньги. Такая уйма денег оказалась у них в руках впервые и ему страшно понравилось делать покупки. Теперь они пошли в продовольственный магазин.

— Ты поддержи верблюдицу, а я зайду в магазин,— сказал Бокен. Через некоторое время он вышел с мешочком, туго набитым чаем, сахаром и конфетами. Радостные возвращались они в аул. Всю дорогу Берден думал: «И зачем только дедушка отдает нашу верблюдицу чужим? И так они ее заездили. Лучше бы, как сегодня, возить на ней дрова на продажу. Уже целая куча денег у нас была бы. И что бы нам не делать так?» Ему вдруг стало обидно, что и шубат, который бабушка делает из верблюжьего молока, почти весь достается соседям. Сами они, считай, его и не пьют вовсе. Если верблюдица принесет верблюжонка, в ауле каждый дом обеспечен молоком. Да если бы все молоко доставалось им самим, то они просто утонули бы в нем. Так нет, бабушка только подоит верблюдицу, как к ним являются все, кому не лень. Уносят кто чашку, кто плошку. Кому-то чай надо забелить, кому — молочного попить. А все из-

за деда. Это он твердит: «Дайте им, дайте им». Так что самим ничего не остается.

Приехав домой, Берден сразу поделился своими соображениями с дедом. Тот хмыкнул, озадаченный, посмотрел удивленно на внука, сказал:

— Глуп ты. Глуп и жаден. Это от молодости. Пройдет с годами. А не пройдет...

В глазах его мелькнула жалость к Бердену, и тот густо покраснел, потому что ему вдруг сразу открылось, что нет ничего презренней, чем быть жадным.

Зима пошла на убыль, и дед стал понемногу выздоравливать. Только он так похудел, что на него больно было смотреть. Лицо все еще было бледно до синевы. Но одно то, что дедушка уже мог без посторонней помощи вставать, выходить во двор, было большим утешением для семьи. В доме будто бы стало больше тепла и света, чаще раздавались шутки и смех.

И снова, как прежде, когда дедушка не болел, по вечерам все собирались у огня, и старики рассказывали детям разные истории, а те, в свою очередь, читали им заученные наизусть стихи.

— Ну-ка спойте ту песню, что вы вчера разучили, пусть ата ваш послушает,— просила бабушка.

«Вперед, младое племя»,— запевали они вразнобой, и на лице дедушки, который слушал их с видимым удовольствием, набегал румянец. Допев, ребята умолкали, а дедушка вздыхал и говорил Айкен и Бокену:

— Жаль, ваш бедный отец не слышит вас...

Дедушка задумывался и долго сидел, отрешенный, и никого вокруг не замечал. Сумрачные глаза деда выражали такую сердечную муку, что Берден чувствовал, как по спине его пробегает холодок, и зябко передергивался. Сразу делалось неуютно и грустно. Притихшие, дети ждали, когда дедушка очнется от своих невеселых раздумий. Они знали, о чем горюет дедушка, ведь он не раз рассказывал при них:

— Нас, сыновей, у отца было десять душ. А теперь остались в живых только я вот, самый старший, да его отец,— кивком указывал он на Бердена.— А не станет нас, вон, негодники наши останутся на земле. Они и опора, и надежда наша...

Дедушка печалился, переживал заново давние невзгоды и утраты, а у Бердена щемило сердце от жалости. В такие минуты он был готов отдать все, чтобы де-

душка повеселел. Будь это в его силах, он подарил бы ему весь мир.

О чем только ни рассказывал дедушка своим внукам: и про набеги захватчиков, и про батыров — защитников родной земли, про древних сказителей, виртуозных музыкантов, прославленных палуанов — силачей, о знаменитых скакунах степного края. Он помнил множество легенд и преданий. С дедушкой всегда было интересно, хотя он ни разу не приласкал ни одного из детей. А чтобы баловать их — о том не могло быть и речи. Берден, да и другие дети не то, чтобы побаивались деда, но трепетали перед ним: при нем они шага лишнего не делают, слова резкого не скажут, не то что шалить или устроить потасовку. Каждый старался казаться старше, серьезней. Особенно суровым и несговорчивым становился дед, когда надо было сделать что-то по дому. Двор всегда содержался в чистоте и порядке. Дед вместе с внуками разгребал снег. По два, а то и по три раза на дню чистил стойло верблюдицы, чинил ясли для корма. Он сильно огорчался, увидев дорожку из рассыпанной золы или разбросанный клочок сена во дворе. Среди бесконечных будничных дел дедушка не забывал проверить, как справились дети с порученной им работой, поправлял их, если нужно. Берден не помнит, чтобы хоть кто-нибудь из стариков интересовался учебой детей. А его дедушка всегда следил, чтобы они вовремя сели за уроки. И если он бывал доволен ими, то глаза его светились теплой улыбкой. Дети из кожи лезли, чтобы заслужить один его одобрительный взгляд. Заметив улыбающиеся глаза деда, они пыжились от гордости, словно получили высшую награду.

Сколько было радости в доме, когда дед наконец поправился. Наступала весна, появились первые проталины. Однажды, возвращаясь из школы, Берден издалека увидел во дворе дедушку. Тот копал канавки для талой воды. Берден бросился на помощь.

ЖАЖДА

Уж коли ты сотворен человеком, то всегда будешь жаждать чего-то. Разве жизнь возможна без этого? Тому, кто никогда не испытывал жажды, вряд ли дано осмыслить всю полноту жизни, проникнуть в тайну бытия...

Если ты, мой Берден, знал в детстве лишь потребность пить, а повзрослев, томишься уже жаждой милосердия, то пусть тебе будет утешением, что это удел многих. Верь, что опорой тебе будет терпение и мужество. На белом свете у тебя будет достаточно спутников, единомышленников — людей, близких тебе по духу. Каждому из них, да и всякому человеку, жаждущему добра и света, я желаю утolenия.

Автор

— Апа, ну можно я съезжу к отцу?— надоедал целыми днями Берден своей матери.

— Да он и сам не сегодня-завтра объявится. Ты бы подумал, как ты один поедешь? Не доберешься ведь. Еще и дороги не найдешь,— отговаривала его мать.

— Найду. Как это не найду? Буду ехать все время прямо. Я же знаю. Дорога идет через Тобекон и ведет прямо к Космае. А наши косят сено возле Космаи. Там и искать нечего.

— Сейчас ты до самого покоса ни одного жилья не встретишь. Чабаны все до единого в горах на джайляу. И думать нечего добраться в такую даль. Смотри — какое пекло стоит. В эту жару и погибнуть недолго. А то заблудишься, чего доброго. Не упрямясь, свет мой.

Но Берден и слушать ни о чем не хотел. Он был всецело поглощен своей затеей. Косарей, он знал, молоком не снабжают. А попробуй обойтись без него. Как подумает мальчик, что отцу на покосе и попить нечего, так у него у самого в горле пересыхает. И до того захочется навьючить два бурдюка с айраном и отвезти поскорей отцу, его товарищам. Уж как они, наверное, обрадовались бы. Сам Берден будет просто счастлив повидаться с отцом. Так он по нему соскучился — словами не передать.

Отец обещал ему перед отъездом: «Не в неделю раз, так в десять дней непременно буду наведываться. Самое главное, вы за скотиной смотрите в оба. Одна надежда, что вы тут не одни. В случае чего, люди помогут». С тех пор прошел почти месяц, а отец и не приезжает. Только изредка передаст через кого-нибудь, что людей на сенокосе не хватает, вырваться даже на денек нет возможности. Выдастся случай, он тут же приедет. Берден ждал, ждал, потом чувствует, терпению его приходит конец. Вот и заявил как-то перед сном матери, что намерен

завтра ехать к отцу и пусть она приготовит побольше айрана для косарей.

Калима, у которой первые дети умирали один за другим еще младенцами, старшему Бердену ни в чем не отказывала, но и не особенно потакала, не баловала без меры. Правда, она не всегда умела скрыть свой страх за них, и, пользуясь этим, дети старались всегда настоять на своем.

— А на чем же ты поедешь? Коня, сам знаешь, отец с собой на сенокос забрал. Вон, мне приходится пешком ходить за стадом,— неуверенно произносит она, видимо, уже поддаваясь настоянию сына.

— Выпроси у кузнеца Куана его черную ослицу.

— Нет, на ней не доберешься. Эта проклятая так строптивая, что и шагу у тебя не ступит. Она же только взрослых признает, а детей не станет возить. Ты с ней не справишься.

Берден, раззадоренный, заупрямился:

— Справлюсь. Она у меня еще как побежит. Ты только выпроси.

— Ой, ну надо же! И какая сила тебя туда тянет? Вот ведь пристал,— огорчается Калима, чувствуя, что ей не убедить сына. И тут же принимается честить мужа:

— Ну что за человек! Будто без него колхозное сено не уберут! Торчит там, как привязанный. Он же с самого начала мог отказаться, сославшись на то, что стадо не на кого оставить. Так нет же, никому и слова возразить не может. Кто из чабанов, кроме него, оставил скотину на жену и детей, а сам укатил на сенокос? Ему только намекни, он уже несется исполнять.

Калима долго возмущается безвольным мужем, потом говорит:

— Бедный мальчик, видно, тебя не отговорить. Так и быть, сдохну приведу тебе ослицу, если дадут.

На равнине, поросшей эбелеком, стоят кружком десятка три юрт. Юрта козопаса Серали, отца Бердена — в самом центре кочевого аула. В начале июля председатель колхоза Жаксылык вызвал Серали и попросил его:

— Секе, мы завтра косарей на Казоты собираемся отправить. Сами понимаете, что в основном это женщины да ребятня. Нужен человек, который возглавил бы их. Бригадир на посевной занят. К тому же кто-то должен заботиться, чтобы поля возле аула не остались без полива и прополки. Опять же клевер и кукурузник надо скосить вовремя. Кроме вас и положиться не на кого.

Серали в жизни никому не отказывал, а уж если просит начальство, тем более не скажет «нет».

— Не знаю, право... Надо посмотреть, со своими поговориться. Тебе-то тоже, наверное, некуда деваться. Раз нет другого выхода...

— Ну конечно! О чем речь, Секе? Была бы другая возможность, разве я отрывал бы вас от дела? Летом все же со скотиной меньше мороки. Пасется возле аула, кругом народ. Ну а вам на месяц-полтора все-таки поехать бы на сенокос за старшего. Думаю, Калекен не будет досадовать, если вы объясните в чем дело.

— Что ж она будет досадовать? Не будет. Вот только справится ли?

— Со скотиной? Конечно, справится. Вы за это не беспокойтесь. Все равно шкуру выделывать нам с вами, Секе! Никто за нас это делать не станет. Весной в тех краях был такой разлив, что трава выше пояса разрослась. Я недавно оттуда, своими глазами видел. Нам бы теперь скосить да заскирдовать, и никакая зима не страшна. Вы уж не обижайтесь, что я на самое больное место напиралю.

— Ой, о чем ты? Чего же обижаться? Дело-то общее. Как мы можем называться людьми, если в нужный момент не протянем друг другу руку. Не для себя же ты просишь.

Жаксылык был рад, что в трудный час Серали без лишних разговоров ответил согласием на его просьбу и от души поблагодарил:

— Спасибо, Секе! Да воздастся вам сторицей за отзывчивость вашу!

Дома Серали рассказал о разговоре с председателем.

— Не на день, не на неделю, на все лето засылает. На твоей шее целое стадо. К слову сказать, тоже колхозное, не твое личное. Если б ты был свободный человек...— начала было ворчать недовольная Калима, но Серали резко оборвал:

— Эй, ему тоже несладко приходится. Он попросил, потому что надеялся, что поймут, не оставят его слова без внимания. Я ж не юнец какой-то, чтоб артачиться, когда человеку некуда деваться. На дворе лето. Как-нибудь обойдешься. С утра сама будешь гонять на выпас, а после обеда Берден тут поблизости попасет. Потерпи месяц-другой. Чего уж там.

Калима больше ни слова не сказала. Постирала молча мужнины вещи и начала собирать его в дорогу.

— Коня оставить или с собой взять?— размышлял Серали.— Вдруг он мне понадобится, если можно будет, например, домой выбраться? Надо же вас проводить хоть изредка.

— Хочешь, забирай. Действительно, где там найдешь коня, если ехать домой? Мы уж пешком походим за стадом,— ответила Калима.

Отару летом не приходилось гонять на дальние пастбища, травы было вдоволь и близ аула, и коня седлали нечасто. Потому гнедого было решено отправить вместе с отцом Бердена на покос.

* * *

— Я привела тебе ослицу. Привяжи ее на аркане за аулом, пусть пока пасется. Отправишься завтра с утра пораньше, чтоб до жары быть уже там,— сказала Бердену мать.

— А осленок с ней?

— С ней осленок. Но завтра его надо дома оставить. Он еще маленький, устанет в дороге, не сможет идти. Из-за него и ослица не пойдет. Замучишься с ними. А останется осленок в ауле, тебе надо будет заставить ее как-нибудь довести до туда, а назад она сама побежит. Не успеет свечереть, как будешь уже дома.

— Тогда оставим,— согласился Берден.

— Не знаю даже. Хоть бы одно жилье было по дороге. А то ведь ни одного. Пропадешь ведь от жажды,— вздохнула мать.

— Апа, где-то же там был аул табунщиков. За Космаей он или до нее? Там же наши Нуркен-ата и Кульжан-аже!

— Ну-у, скажешь тоже! Аул табунщиков где, а где Космая? Табунщики сейчас к озерам откочевали. У Исабая они стоят или в Сарыколе. Близ Космай и Казоты в эту пору воды нет и в помине. В Шабакты вода к июлю иссыкает. Если хочешь знать, сейчас даже в колодцах вода соленая. Разве аул табунщиков останется в такое время в этом гиблом месте? Но я слышала, что там сейчас Нурланбай со своей отарой молодняка. Вот и поезжай к нему. Оттуда покос как на ладони виден. Нурланбай дорогу укажет. Обязательно поздоровайся с его матерью. Это твоя бабушка. Как-никак, человек она старый, нельзя ее вниманием обойти.

— Ладно.

Утром ни свет ни заря мать разбудила Бердена. На ослицу навьючила два бурдюка с айраном. К седлу пригорочила небольшую торбу, туго набитую куртом и иримшиком. Подсадила сына в седло и, чтобы ослица не упиралась из-за остающегося дома осленка, повела ее в поводу, проводила их подалее от аула. Потом, отдав Бердену последние наставления, пошла назад.

Никогда Бердену не было так весело и хорошо, он даже не обращал внимания на утренний холодок. Как только перевалил за пологий белесый бархан за аулом, перед ним открылось бескрайнее зеленое раздолье. Стан косарей, куда он направлялся, находился где-то посреди этой равнины. Далеко-далеко, так далеко, что отсюда не виден.

Проселочная дорога, выбегая из аула Бердена, петляет среди скудных зарослей полыни и солонцовых серых пятен и приводит прямо к цветущей долине. Вдали темнеют у дороги два холма. На холмах Берден различает едва видимые постройки. Мальчику те места знакомы. Первый холм — это Тобекон, а второй — Космая. Там зимовки чабанов. Весной в половодье всю долину затопляет, и тогда холмы превращаются в островки. Ранней весной, задолго до разлива, чабанов переселяют в горы. До первых холодов этот край безлюден и тих.

Бердену хорошо известно, что холмы, казалось бы, такие близкие, обладают загадочным свойством отдаляться. Ты едешь, едешь и надеешься, что до них уже рукой подать, а они, недостижимые, все еще вдальке. Потому и не обольщается Берден, что большая часть пути уже позади. От этого особенно утомителен переход через равнинную местность между Тобеконом и Космаей.

Добравшись до Космаи, можно считать, что ты уже у косарей. Но одолеть расстояние между Космаей и покосом тоже не очень просто. Места там совершенно дикие. Берден был готов к этому с самого начала. Он и сейчас ни чуточку не волновался. Наоборот, был счастлив. И голая безлюдная степь, где гуляет ветер, казалась ему прекрасной. Ему всю дорогу представлялось, как отец увидит его и изумится. «А ты откуда взялся? Неужели один приехал?» — радостно спросит он, и его доброе и круглое, как луна, лицо, такое родное, еще больше полюбреет. Косари обступят их и загомонят все разом: «Ай да молодец! Вот это настоящий джигит!» Конечно, они сумеют оценить по достоинству привезенные Берденом

гостинцы. Нет, что ни говори, а все-таки здорово он придумал с этой поездкой!

Берден нетерпеливо пришпоривал ослицу, торопя ее вперед. В руке у него был кусок проволоки, которым он то и дело щекотал ослицу в шею. Это не мешало ему предаваться сладостным мечтам. Время от времени он спохватывался, что ослица плетется кое-как, и принимался понукать с новым рвением. Упрямое животное сопротивлялось всем существом своим, и он с сожалением думал: «Эх, был бы серый осел дедушки Кусаина. Тот скакал бы не хуже коня. Что же я не сказал матери, чтобы она его выпросила. Но Кусекен, наверное, не дал бы своего осла. Он же воду на нем возит. Ну да ладно, лишь бы эта вредина не остановилась. И так доеду. Зато на обратном пути свое наверстаю. Небось назад она на крыльях помчится к своему осленку».

— Ыхы, ыхы! — дает ей шенкеля и снова тычет прутом туда, где у строптивного животного шерсть облезла и образовалась небольшая мозоль. Черная ослица, вытянув шею, резво устремляется вперед, словно ее укусил овод, и Берден со спокойной совестью опять погружается в свои мысли.

«Если маленькое озеро возле Космаи не высохло, наверное, там кишмя кишат утиные выводки. А что если поймать несколько утят и увезти их в аул? Может, прямо сейчас туда заехать? Или лучше по дороге домой?»

Он вспомнил, как прошлым летом мать пасла коз у Круглого озера и поймала там для него серого гусенка. Это был крохотный, как головка веретенца, птенчик с неоперившимися крылышками. Поначалу Берден устроил ему гнездо в старой ушанке и повесил подальше от кошки на кереге. Кормил гусенка молоком и сметаной, позже начал давать размоченный хлеб, ловил для него мух. Что и говорить, он души не чаял в своем питомце. К счастью, гусенок выжил. К концу лета стал совсем большим, нагулял жирок. Важно переваливаясь, бродил по аулу, а Берден, опасаясь, что его разорвут собаки, всюду следовал за ним. На ночь мальчик привязывал своего выкормыша у порога. Однажды ночью гусь исчез. Утром Берден обшарил все окрестности и нашел под кустом тамариска лишь длинную красную шелковую ленту, которую привязывал к лапке гуся. Больше следов не обнаружилось. Так и не узнал Берден, собака утащила его любимца или худой человек. На гуся в ауле заглядывались многие. Он действительно был хорош: крупный, от-

кормленный, с блестящими перьями. Два дня оплакивал Берден своего друга. И потом еще долго не мог примириться с потерей. Как вспомнит про него, сердце зашемит-заноет от жалости. В первые дни Бердену снилось, что гуся раздирает собака, а то какой-то человек потрошит и палит гусиную тушку, и он просыпался в плаче...

Солнце между тем поднималось все выше. Становилось жарко. Берден чувствовал, как припекает затылок и спину. Черная ослица еле тащилась. Берден устал ее прищпоривать. Прикрикнет только изредка: «Ыхы», да лениво ткнет ее прутом. В голове его все еще крутятся радужные мысли. В мечтах он видит себя на сенокосном стане. «Косари раньше без рыбы никогда не сидели. В обмелевшем озере на лугу рыбы водилось видимо-невидимо. И сейчас, наверное, не меньше. Мне бы пяток сазанов привезти с собой в аул. Рыбка в Казоты что надо!»

Мальчик словно воочию увидел крупных сазанов с черными спинками и желтыми боками. Рот наполнился тягучей слюной, он облизнул сухие губы и судорожно сглотнул. Ему сразу же захотелось пить.

Солнце палило нещадно, воздух густел и становилось душно. Если бы ослица шагала поживей, он в это время был бы уже возле Косман.

Но проклятая будто не вперед идет, а назад. Чем больше припекает, тем ниже клонит она голову и все медленней переставляет ноги. Мало того, что едва плетется, так еще останавливаться ей вздумалось на каждом шагу. Станет, а там попробуй стройь ее с места. Лупишь, тычешь прутом, а ей хоть бы что. Возьмет да и спрячет морду между ног, упрется и стоит. А то попятится-попятится да и закружится на месте. Будто ей легче выкидывать эти фокусы, чем чинно идти куда следует. Берден не знал, что делать. И плетками ее бил, и стегал, пока сам не выбился из сил. Мучительно хотелось пить, в горле пересохло. Язык распух так, что не умещался во рту.

Они находились на полдороге между Тобеконом и Космаей, помощи ждать было неоткуда, но мальчик все же озирался по сторонам, будто ждал, что кто-то придет ему на выручку. Кругом не было ни души. Куда ни кинь взгляд, до самого горизонта только голая степь простирается да ртутью переливаются миражи. А за миражами на расстоянии конного забега зависла в воздухе вершина

Косман. Вроде и не так далеко, да попробуй туда добраться.

Середина июля — самая неприятная пора летнего сезона. Палящие лучи солнца и знойный ветер словно раскаляют докрасна весь мир. Пылает небо, пылает земля. Легонькая ситцевая рубашка так и жжет, будто она из расплавленного железа.

Близится полдень. Во всей округе не пайти и кустика, под которым можно было бы укрыться от знойного солнца. Над ровным покровом степных трав не возвышаются ни стебелек, ни веточка. Зато роем носится мошकारа, липнет — не отмахнуться. Совсем заедает. А ослица стала как вкопанная и ни с места. Хоть криком кричи.

— Что же мне теперь делать? Вот проклятье! — разозлясь, он хлестнул ее раз-другой, а она только похлопала ушами, но не шелохнулась. Ткнул ее побольней, закружилась волчком, а вперед — ни шагу. Как быть Бердену? С каждой минутой жажда становится все нестерпимей.

Обычно сообразительный и находчивый Берден в такой ситуации, неожиданной, надо признать, пришел в растерянность. Он не знал, что делать с упрямой ослицей. У него было только одно желание — двигаться вперед, любой ценой достичь цели. А потому он слез и поволок ослицу в поводу.

— Чу, живая душа! Чу!

Ослица нехотя все же последовала за ним. Слабо упираясь, она сделала шаг, затем другой. Он, напрягаясь что есть мочи, тянул ее за собой. Пока он тащил, ослица переставляла ноги, но стоило веревке ослабнуть, как она останавливалась в ту же секунду. «Ну и бывают же такие подлые твари!» — диву давался Берден и снова брался за поводок.

Он чуть не падал от усталости, а еще пуще мучился из-за жажды, но не сдавался. Согнувшись в три погибели, волок эту бесстыжую вредину. От злости ли, от невыносимого ли желания пить, он вдруг разрыдался громко и безысходно. Глотая слезы, думал, как хорошо было бы, если бы отец догадался, в каком отчаянном положении оказался его сын, и вышел навстречу. Потом ему стало казаться, что такое вполне возможно, и сквозь слезы он с надеждой вглядывался в дорогу. Но впереди он не увидел ничего, кроме дрожащего марева. Когда он понял, что надеяться не на кого, стало горько и одиноко, и он не выдержал и снова заплакал. Теперь он громко призывал

отца: «Коке! Ко-о-ке!» Откуда ему было знать, что плач отнимет у него последние силы. Мальчик и не предполагал, как важно сохранять спокойствие. Знай он, разве обрек бы себя на такие мучения, разве не отступил бы перед лицом опасности? На то и ребенок, чтобы не знать. На то и Берден.

Если бы он догадался вновь взобраться в седло да повернуть назад! Стоило бы ему только прикрикнуть: «Чу!» и ослица унесла бы его от неминуемой беды. Он сам бы не заметил, как оказался в ауле. Когда он в первый раз почувствовал, что ему хочется пить, он подумал: «Может, мне развязать один из бурдюков и напиться айрана?» Но снять поклажу, а затем снова навьючить ее на ослицу у него не хватило бы сил. А развязать навьюченный бурдюк, который в эту жару разнесло от плескавшейся в нем жидкости до огромных размеров; он не решался. «Стоит распустить завязки — айран хлынет наружу. Я даже не успею затянуть бурдюк, как он опустеет. Второй потом начнет сползать на землю. Мне его не удержать», — рассудил он.

Позже, мучаясь с ослицей, Берден не вспомнил про айран, хотя жажда дожимала его пуще прежнего. Просто через какое-то время он почувствовал сильное головокружение. Он устал от бесплодной борьбы с упрямым животным, обессилел от слез и криков и уже ничего не соображал. В довершение ко всему им овладел ужас, что ему никогда не добраться до людей. Одно он помнил — надо во что бы то ни стало продвигаться вперед. Тем и держался.

Идти уже не было сил. Но Берден упорно шел и тащил ослицу. В глазах темнело, в голове помутилось. Разбитое тело отказывалось повиноваться. Хотелось упасть и лежать, не двигаясь. Но какая-то сила удерживала его на ногах и влекла вперед. Он смутно сознавал, что если упадет, то ни за что не поднимется. Потому старался не упасть и даже не останавливался.

Еще через час он не чувствовал больше ни жары, ни жажды. Очумелый, брел, пошатываясь, по дороге, и перед его глазами мелькали разноцветные пятна. Уши заложило, и он ничего не слышал. Куда он идет? Сколько времени находится в пути? На эти вопросы Берден уже не смог бы ответить. Он то впадал в забытие, то сознание возвращалось к нему. Что-то он видел ярко и отчетливо, а что-то не воспринимал вовсе.

Он плохо помнит; почудилось ему или это было на самом деле, но перед ним будто бы возникла юрта, а рядом мелькнул человек. Но потом все исчезло и снова появилось. Вроде от колодца кто-то отгонял овец. А Берден как раз направлялся туда. Колодец был в двух шагах, а он все шел-шел и никак не мог дойти. Высоко в небе стояло солнце, а в глазах Бердена было темным-темно.

Наверное, он все же доплелся до колодца. Кто-то, показалось, подошел к нему. Ему же ни до кого не было дела. Он добрался до длинного деревянного корыта, опустился на колени и припал к холодной прозрачной воде. Сперва вода была вкусной, свежей. Потом Берден с ужасом понял, что жажда не проходит. Вода до того теплая, что его затошнило. Пьешь ее, пьешь, а напиться не можешь.

Внезапно сердце екнуло и тоскливо сжалось, как бы вает в предчувствии наказания. Берден похолодел весь и тут же его неудержимо рвануло к земле. Он провалился в черноту. Больше он ничего не помнит.

Непонятно, во сне это с ним происходит или наяву. Лежит он где-то в незнакомом месте. Рядом слышатся чьи-то голоса. Он лежит с закрытыми глазами, но бодрствует. Тело его еще во власти сна, а голова — ясная, свежая. Теперь он даже различает слова. Похоже, говорят о нем.

— Видно, смерть его пощадила. Жить будет долго. Чуть не погиб бедный ребенок. Прямо диву даешься, как он еще сумел добраться до нас,— говорит старушечий голос.

— А я думаю, что за мальчишку принесло и откуда? Балуется, думаю, что ли? Голову аж до земли склонил. Ищет, что ли, чего? Шагнет раз, потом стоит-стоит и снова шагнет,— продолжает мужской голос.— И идти-то толком не идет, но и не останавливается. Ведет в поводу осла. От Космаи до нас всего шаг какой-то, а пока он добрел, и самовар закипел бы. Уже вблизи я разобрал, что нездоров мальчишка, еле идет. Спрашиваю: «Эй, ты чей? Куда направляешься?» А он молчит. Пришел и сразу же к желобу. Мы в полдень скотину пойли, там на дне вода оставалась. Тогда только мы поняли, что бедняга изнывает от жажды. Думаем, как бы не заболел от не-свежей воды. Она же еще и соленая. Оторвал его от желоба, смотрю, а это Берден. Страшный такой, не узнать. Лицо запаленное; распухшее. Почернел совсем. «Ты

что!— говорю.— Иди, дома пресной воды попей». А он обмяк, валится мне на руки.

— Ох и испугались мы,— говорит старуха.

И снова слышится голос мужчины:

— Да, здорово мы струхнули. Мать тут причитает: «Ойбай, ойбай, что мы скажем Серали? Надо же такому случиться!»

— Еще бы не плакать. Говорю, посылай скорей за отцом. Вдруг, думаю, совсем мальчишке плохо будет. Спасибо, хоть Нурлаш не потерял голову от страха. «Апа,— говорит,— не надо заранее пугать родителей. Пульс прощупывается, дыхание есть. Подождем пока». Долгий век мальчику суждено прожить. Столпились мы около него, не отходим. Смотрим, застонал через некоторое время, потом открыл глаза, пить просит. Выпил целую чашку холодного молока и тут же уснул. А потом пропотел как следует, лицо порозовело и дышать стал ровно. Вот с тех пор и спит. Помяни мое слово, долго жить будет, до глубокой старости.

— Нет, ну до чего глупая! Надо было отпускать в такую жару мальчика одного,— ответил кто-то. И тут с Бердена сон как рукой сняло. Это был голос отца. Он раскрыл глаза и увидел своего коке. Тот сидел у изголовья и обмахивал его своим носовым платком.

— Ой ты, мой жеребеночек! Что, проснулся?— ласково коснулся его головы отец.— У тебя нигде не болит?

— Нет, не болит.

Лицо Бердена просияло от радости. Он поймал руку отца, прижался к ней щекой.

— Голова не кружится?

— Нет.

— Это у тебя просто от жажды, от усталости. Ничего, пройдет все.

— Эй, а я думала, что он увидит отца и расплатится. Жаловаться начнет, капризничать. А у него, смотри, ни слезинки в глазах. Вот это джигит!— сказала одобрительно светлолицая старуха в высоком кундуке — головном уборе. Берден догадался, что это мать Нурлана, и встал, чтобы приветствовать ее.

— Живи долго,— благословила его старая женщина.

Серали оказался в этом доме случайно. Не имея вестей от семьи, он наконец собрался съездить домой, а по дороге заехал к Нурланбаю отдать салем старой родственнице. А тут с Берденом такое приключилось.

Расспросив сына о домашних, о новостях аула, он испытующе взглянул на него и спросил:

— Ну как, ты один поедешь назад? Не боишься? Если боишься, я провожу тебя.

— Не боюсь, коке, сам поеду,— ответил Берден.— Назад она как миленькая пойдет. Дома же ее осленок остался. Потом уже прохладно, не то что раньше.

— Какой ты умница у меня,— любуясь сыном, сказал Серали.— Тогда возвращайся один. Дней через десять уже и сенокос закончится. Тогда и я приеду.

Отец подправил седло, подтянул подпруги и, подсадив сына на ослицу, проводил его до дороги. Уезжал Берден довольный. Он был горд, что не раскис, не ударил лицом в грязь перед отцом.

Солнце клонилось к закату. Жара спала, и на широкую равнину Казоты опустилась вечерняя прохлада. Колыхался от легкого ветерка растущий по обочинам дороги овсюг. Замелькали в воздухе разноцветные бабочки с их бархатными крыльями. В сонной тишине стрекотали кузнечики. Проносились ласточки, едва не касаясь верхушек трав. Изредка Берден встречал у дороги диковинных птиц, крохотных, с коричневой грудкой и зелеными крыльями, с переливающимися на солнце перышками.

Черную ослицу не приходилось понукать, она бежала резвой трусцой. На душе у Бердена было легко и радостно. Далеко впереди, у самого горизонта, возвышалась вытянувшаяся цепью горная гряда. Посреди светлой степной полосы у ее подножия виднелось небольшое темное пятнышко — родной аул Бердена. Туда он и спешил на закате дня.

МИРАЖ

Западнее Каратау, на широкой возвышенности, называвшейся Коянды, стояли рядышком два аула — Каунгент и Жанажол, которые так сильно отличались друг от друга по укладу жизни, по роду занятий, по обычаям и традициям, как если бы их разделяли сотни, а то и тысячи километров. По административному делению они относились к двум разным областям юга республики. Возможно, это и явилось причиной того, что, несмотря на близкое соседство, аулы между собой общались мало. И все же в летние месяцы на дороге между этими населенными пунктами замечалось некоторое оживление.

Каунгент, как явствует из названия¹, — дехканский аул. Во всей округе не на чем было бы остановить взгляд, если бы не зеленые купы ив и тополей Каунгента. В однообразно-желтом царстве зноя и суховея этот цветущий островок — едва ли не единственный признак жизни. Жители Каунгента не расстаются с кетменем. Зато к концу лета на аульных бахчах созревают арбузы, дыни, тыквы, разные овощи. Именно в это время конские копыта чаще прокладывают следы из одного аула в другой, вздымая белесую пыль над дорогой. Потому что в ауле Жанажол люди отродясь не держали в руках кетменя, земледелием не занимались, а больше тяготели к жизни вольной, кочевой. Пройди из конца в конец по колхозной усадьбе и не увидишь даже прутика, воткнутого хотя бы шулки ради в землю. А про овощи и говорить нечего. Живут жители Жанажола исключительно за счет скотоводства. Но кому не хочется в сезон полакомиться плодами? Вот с приходом лета и тянутся жанажольцы в Каунгент, разыскивают родных и знакомых, возобновляют старые связи, заводят новые. С этого начинается оживленный обмен приглашениями, народ так и снует туда и сюда.

Лето на селе — горячая страда, и в сезон созревания бахчевых взрослым некогда разъезжать по гостям. А потому верблюдов и ослов, навьюченных пузатой поклажей, сопровождают дети. В доме, куда прибывает путник с ароматным грузом, устраивается праздник. Дым из очага этого дома в такой день не стелется по ветру, а устремляется прямо ввысь. Дом оказывается в центре внимания всего аула. Сюда непременно заглянет каждая соседка, а вечером, как самую важную новость, она сообщит мужу, что таким-то привезли два битком набитых дынями мешка.

Особенно влечет в этот дом ребятишек. Нет для них на свете счастливей тех, кто получил сладкий привет из Каунгента.

В Жанажоле теснее всех связан с аулом бахчеводов Абен. Его жена родом оттуда, и летом к ним один за другим едут гостить ее братья и сестры.

Абен работал на сенокосилке. Они с пастухом Серали — сородичи, к тому же дружны между собой, поэтому летом всегда поселяются рядом. Абен — человек чадолюбивый, но, к сожалению, детей они с женой своих не

¹ Ка у н — дыня, гент (кент) — город.

имели. Живут вдвоем. И всю свою нерастрченную любовь он щедро расточает на аульных ребятишек. Все давно привыкли, что Абен из какой-нибудь поездки всегда привозит разные сладости для детей: изюм, курагу, конфеты. В младших братишках и сестренках своей жены он души не чает. Когда они гостят у Абена, с утра до вечера только и слышно, как он осыпает их ласками.

Наверное, поэтому сын Серали Берден так любит бывать в их доме. Он с удовольствием помогает им по хозяйству. Абен посылает его напоить и стреножить коня, поручает и другие мелкие дела. Чем больше он выполняет всякого рода поручений, тем свободней чувствует себя в этой семье, потому что в доме его считают своим.

Среди ребят, которые играли в альчики, был и Берден. Они устроились за колхозной конторой — самым высоким просторным строением в ауле — и за шумной игрой не замечали, как бежит время.

Солнце было в зените. Тени стали совсем короткими, а жара стояла несусветная. К этому времени косари отпускают коней на волю, а сами расходятся по юртам до вечерней прохлады. В поисках спасительной тени бедные животные бредут с выпаса к домам. У каждого дома или сарая с теневой стороны толкуются, тяжело поводя боками, козы с козлятами. На пыльном пустыре за аулом лежат вповалку верблюды. На Шеген-кудуке, где источник почти иссяк и вода еле сочится, теряясь среди камней, тучами сидят воробьи. Но больше других, кажется, страдают от зноя лохматые аульные псы. Жалко смотреть, как они, вывалив языки, дышат часто-часто и все норовят улечься в узенькой полоске тени под самым кереге.

Ребята, игравшие за конторой, успели проголодаться, да и жажда мучит едва ли не с раннего утра. Посоветовавшись, они отправились в аул. Вдруг один из них заметил:

— Дыни везут.

— Где? — оживились все сразу.

— Во-о-он!

Через большой луг, поросший овсюгом, не спеша шли по проселочной дороге двое: девушка и девочка. За ними семенил черный ослик, навьюченный двумя громадными мешками. Они были уже недалеко от аула. Поравнявшись с юртами, свернули с дороги на тропу.

— Ну-ка, угадайте, к кому они?

— Да, повезло кому-то... Вон сколько дынь везут.

Они долго гадали, кто счастливчик. Каждый лелеял в душе надежду, что желанные гости направляются к его дому.

— Сейчас последим, куда они зайдут, и тоже пойдем туда,— предложил кто-то.

Согласились с этим и сели на завалинку ждать.

— Берден, кажется, они к вам завернули,— сказал один из ребят.

— Нет, это к Абену, наверное,— возразил другой.— У него же в Каунгенте родня.

— К Абену,— уверенно подтвердил Берден, довольный таким исходом. Он уже узнал старшую гостью. Высокая и стройная девушка в пестром шелковом платье узбекского покроя — не кто иная, как свояченица Абена Шаим. Она часто бывает в Жанажоле. Прошлым летом Шаим жила у своей сестры почти два месяца, и Берден ее хорошо знает.

— Ой, это же та самая языкастая кудаша¹.

— Да, точно, она...

— Мой коке говорит: «В нашем ауле нет ни одного стоящего джигита. Разве можно упускать из рук такую красавицу?» Может, в этом году не упустят,— поделился кто-то предположениями.

Шаим отвагой не уступала ни одному мужчине. Веселая, находчивая, красноречивая, она могла заткнуть за пояс любого, кто вздумал бы состязаться с нею в острологии. Возможно, многие джигиты побаивались независимого и своевольного ее характера. Какой-то остряк окрестил ее «языкастой» и теперь так ее называли и стар и млад. Бердену по душе ее приветливый нрав. При Шаим он чувствует себя так, будто у него есть старший брат — друг и заступник. К тому же она знает множество сказок. Потому прошлым летом он так привязался к ней. Вечером, управившись с делами, он бежал к Шаим и просил: «Расскажите сказку». Она смеялась: «А ты останешься у нас? Если останешься, расскажу». Он оставался, и с замиранием сердца часами слушал об опасных приключениях героев. Как сладко засыпалось под сказки Шаим! Она баловала его, как собственного брата, иногда же, вспомнив, что он — юный сват, из озорст-

¹ К у д а ш а — сватья.

ва подшучивала над ним. А уж Берден ее любил, как родную. Все для нее готов был сделать.

— Этот душу отдаст за свою кудашу. Ну надо же! — посмеивалась жена Абена.

Сейчас, увидев Шаим, он радовался всем сердцем, словно она была для него самым близким и дорогим человеком.

Жена Абена еще издали увидела путниц в открытую решетку кереге, вышла навстречу, обняла их, расцеловала, забрала у них поводок и повела осла сама. Только они подошли к юрте, появился Абен. Он привязал осла, снял с него поклажу. Когда они со своими гостями скрылись в юрте, ребята решительно встали и зашагали к аулу. В это время к Абену уже потянулись соседки, заходили туда-сюда.

Ребята у самой юрты замешкались. Берден, не в пример им, смело вошел, громко поздоровался. Шаим его узнала сразу, подошла, обняла, похлопала тепло по спине:

— Ой, ты уже совсем большой джигит! Проходи-проходи. Садись здесь. Сюда, рядом с Зибаш. Зибаш, это твой сват по имени Берден. Вы, наверное, с ним ровесники, — со смехом говорила она, заглядывая ему в глаза.

А Берден только теперь заметил девочку, смугленькую и хрупкую, которая, весело прищурившись, смотрела на него черными блестящими глазами. Когда Берден обернулся к ней, она быстро опустила глаза и подобралась вся под его взглядом. Берден, встретившись с ней глазами, вдруг почувствовал неловкость. Щеки разом вспыхнули. Казалось, все заметили его состояние и не спускают с него глаз, и чем дольше, тем хуже ему становилось, и он весь покрылся испариной. Не поднимая глаз, он начал потихоньку отступать к двери и вскоре оказался среди ребят, которые входили и рассаживались под настоятельные приглашения Абена. Берден вздохнул с облегчением, расправил плечи. Теперь он заметил, что никому до него и дела нет, что все заняты разговором, и окончательно успокоился, расслабился и начал шушукаться с ребятами. Абен подкатил к ним ярко-оранжевую дыньку — «колхозницу» и огромную дыню-торлама.

Они сели кружком, нарезали дыню и принялись уплетать за обе щеки. Берден не отставал от других, с жадностью набросился на истекающие соком нежные ломтики. В какой-то момент случайно глянул туда, где сидели гости, и чуть не подавился. Зибаш изумленно

смотрела, как он уплетает один кусок за другим. Прикусив губу, она чуть заметно улыбнулась и отвела глаза. Берден замер. И как конь, запнувшись, теряет скорость, так и он утратил вдруг аппетит и уже нехотя, с каким-то чувством стыда и приниженности потянулся за следующим куском. Мальчики доели свои порции и поднялись.

— Берден, а ты куда уходишь? Неси-ка сюда свои асыки, поиграем в «хан-талаппай»,— сказала Шаим.

Он уже шагнул было к двери, но тут замялся на месте, не зная, уйти или остаться. Потом подошел нерешительно, положил свой мешочек с асыками перед гостями и присел рядом.

— Что-то ты отвык от меня, не подходишь даже,— ласково упрекнула его Шаим.— Или ты повзрослел?

Ей ответил Абен.

— Конечно, повзрослел. Стесняться начал. Раньше, помнится, он ни на шаг от тебя не отходил, все приставал: «Расскажи сказку».

Берден не столько играл, сколько мучился. Потому и проигрывал постоянно. Руки стали непослушными, били все время мимо цели. Зибаш тоже оказалась неважным игроком. Раза два получилось так, что бита становилась на ребро и они, набросившись на асыки, схватили друг друга за руки.

Шаим заметила:

— Ой, что-то игра у вас не ладится. Сдается мне, что маленький сват стесняется своей кудашаи Зибаш,— смутила его еще больше.

Чем усердней Шаим его подначивала, тем сильнее потел у него кончик носа. Иногда он посматривал на девочку и встречал ее внимательный взгляд. Видимо, она считала его ребенком, потому что в глазах ее был неприкрытый интерес. А сама она держалась, как взрослая. Если и скажет что, то голосом тихим и спокойным. Но большей частью молчала. Если Шаим, пользуясь их скованностью, забирала большую взятку, она ничуть не огорчалась, а заливалась смехом:

— Ой, тетя, конечно, у вас руки вон какие длинные. Вы даже передо мной все загребаете.

Когда она смеялась, глаза ее сияли. Она, видимо, забывала, что должна быть серьезной и сдержанной. И сразу становилось ясно, что не взрослая она вовсе, а обыкновенная девчонка. Но тут же легким и изящным движением головы она откидывала со лба челку и делалась опять чинной и степенной.

Обычно приезжий человек всегда кажется каким-то особенным, он в центре внимания. И в ауле к нему относятся с почтительным благоговением. Это чувство свойственно как взрослым, так и детям. Несмотря на то, что маленькой кудаше было столько лет, сколько самому Бердену, к тому же и ростом она была ниже него, тоненькая и хрупкая, а в своем пестреньком ситцевом платье выше колен казалась и того меньше, он робел перед ней и уж, конечно, считал ее гораздо умней и взрослей себя. Но, кроме почтительной робости и естественного желания угодить юной гостье, он испытывал и другое чувство — что-то похожее одновременно на легкую радость и тягостное волнение. И хотя мальчик не вполне еще освободился от первоначального отчуждения и неловкости, но понемногу повеселел и держался свободней. Он даже настолько осмелел, что в ответ на теплый взгляд Зибаш весело улыбнулся, подтверждая свое дружеское расположение к ней. И когда она бралась тоненькими пальчиками за битую метилась по кону, он от всей души желал ей удачи. Наверное, Зибаш чувствовала это, потому и смотрела ласковыми глазами.

Они увлеклись игрой и засиделись допоздна. Уже и Абен, который прилег после обеда вздремнуть, проснулся и пошел на работу. Бердена звала мама.

— Берден, где ты? Иди скорей! Скотина ушла на выпас, сейчас на клеверище заберется, уходит по ветру! Скорей беги!

— Меня зовут,— сказал он виновато, словно спрашивая у них разрешения.

— Так это ты должен идти за скотиной? Ну беги тогда скорей,— сказала Шаим.

Будь его воля, он бы ни за что не ушел. Он нехотя встал, направился к двери.

— Хватит, посидели, пора и нам приниматься за дело,— добавила Шаим и тоже вышла.

Летом отец гонит коз чуть свет на пастбище, а в полдень пригоняет их к колодцу на водопой. Пока не спадет жара, стадо отдыхает. Потом с наступлением прохлады и до самой дойки стадо пасет Берден. Отец, который после дойки угоняет отару на ночной выпас, в это время отдыхает.

* * *

Единственного коня, выделенного колхозом пастуху козьего стада, Серали летом без особой нужды не седлает. Чтобы не мучиться в зимнюю непогоду, он отпускает

карего на волю подкормиться, а сам в это время ездит на осле или ходит пешком. И в этом году конь его пасется на тучном пастбище с молодняком. Поэтому под седлом у Бердена ходит черный осел. А это суший дьявол. Бердена ни в грош не ставит. Мальчишка может себе пятки отбить, пришпоривая его, а он так и будет еле переступать ногами. До того довел мальчишку, что тот предпочитает обходиться без него. Вот и сейчас Берден из дома выскочил и бегом бросился за стадом, быстро уходящим прямо к клеверищу. Он бежал и кричал что есть мочи, чтобы остановить коз. Наконец ему удалось завернуть их и направить к барханам, поросшим эбелеком.

Забравшись на вершину высокого бархана, он отдышался, а потом стал смотреть на аул. Весь день провел Берден в степи.

Солнце клонилось к закату. В ауле зашевелились. Засновали между юртами женщины и дети. Даже на пустыре среди верблюдов заметно какое-то движение. Когда две девичьи фигурки проследовали из дома Абена к колодцу, туда же потянулись из разных концов аула девушки и молодые женщины. Вскоре возле колодца образовалась толпа. Никто не торопился уходить. Старшие встали в кружок и, видимо, разговорились с новенькими; те, что моложе, бегали друг за другом и брызгали водой.

— Эй, куда ты пропала? Привязали тебя, что ли, у колодца?

— Ты что, ночевать там собралась? Ну ночуй там, раз так!

— Взяла ведра и пропала, а тут казан освобождать надо. Куда теперь переливать?— стал доноситься из аула ропот рассерженных матерей, и тогда толпа начала рассеваться.

В это время Берден направил стадо коз. Они с громким блеянием потянулись вереницей по множеству тропинок, ведущих к юртам.

Ничто летом не причиняет столько беспокойства и так не надоедает аульным ребятишкам, сколько ловля коз для дойки. Айран и сливки из козьего молока получаются отменные, но достаются они большими хлопотами. Берден терпеть не может это занятие. Но с его настроями никто не считается.

— Берден, мы же не знаем, какие козы у Абен-ага.

Ты нам показывай, а мы будем ловить по одной,— попросила его Шаим, которой помогала и Зибаш.

Берден указал им на коз, выделенных семье Абена для дойки:

— Вон та, с белым хвостом... и та, со сломанным рогом...

Указать коз он указал, да гостыи, которым никогда не приходилось ходить за скотиной, вряд ли сумеют поймать хоть одну из них; эти твари до того наловчились бегать от погони, что требовалась немалая сноровка, чтобы поймать их. Заметив это, Берден управился второпях со своими и поспешил к ним на помощь. Он наловчился, и руки у него так и чесались. К тому же, бывалый человек, он давно изобрел такой хитрый способ отлова коз, который действовал безотказно. Надо было делать вид, что ты идешь сам по себе и вовсе не помышляешь о ловле, а оказавшись рядом с нужной козой, бросаться на нее одним прыжком. Движения у него были отработанные, точные, и он ни разу не промахнулся. Зибаш следовала за ним, забирала коз и отводила к Шаим.

У Бердена сегодня имелись все основания быть довольным собой. Тело было легким, ловким, послушным. Все ему удавалось с одного раза. Он поглядывал гордо на Зибаш, а та отвечала одобрительным взглядом.

Когда ему удавалось провести какую-нибудь особенно резвую козу, которая никому не давалась в руки, девочка радостно восклицала:

— Ой, молодец Берден! Как ты легко ее схватил! Так ей и надо!

Берден был счастлив, что сумел угодить ей.

Наступали вечерние сумерки. Только что закончилась дойка, и отец угнал коз на ночной выпас. Пыль, зависшая над аулом плотным облаком, поредела. Тени сгустились, предметы понемногу теряли свои очертания. Шум-гам, которым сопровождался приход стада, умолк, суматоха улеглась. Летний вечер был тих и прохладен. Степь словно впала в оцепенение, устав от дневных забот и невыносимого зноя, и ничто не нарушало ее покоя, кроме звона цикад.

В это время жители степного аула, оспаривая у ночи несколько часов, брались за котлы и самовары. Перед каждым домом пылал очаг, выбрасывая высокое пламя, какое дает курай. А через час-другой эти огненные языки, рассеивавшие ночную мглу, гаснут, и землю укрывает крошечная тьма. И тут на востоке, как запоздалый

путник, появляется луна. Раз взошла луна, то из каждого дома с шестами в руках идут к окраине ребята. За ними приходят с веревками взрослые. Все принимаются сооружать качели — алты-бакан.

В этот вечер после обычных приготовлений к играм, двух девушек отправили к Абену пригласить Шаим и юную гостью.

Полная луна льет свой бледный свет, навевая дрему. Безмолвствует аул, погруженный в сладостный сон. И только бодрые и звонкие голоса молодежи, резвящейся за аулом, разрезают тишину. Юноши и девушки на качелях, поют, а дети играют в «Черное ухо» и другие подвижные игры.

Шаим была с теми, кто на качелях, а Зибаш бегала с ребяташками. Она ничуть не дичилась, сразу сдружилась со всеми. Но держалась все же поближе к Бердену. Если «черноухий» пытался сделать ее своей добычей, она, громко вереща, пряталась за спиной Бердена. Схватится крепко-накрепко за руку и не отпускает. Берден, разумеется, стоит горой, чтобы защитить ее от нападков врага, вьется выюном, отбивается что есть мочи. Когда враг отступает, они с облегчением переводят дух.

Как они радуются в этот миг, словно избежали настоящей опасности! Оба сильно увлечены игрой и не помнят, что происходит — условность. Особенно Зибаш. Берден-то помнил, что девочка ищет защиты именно у него, что она выделяет его среди других.

Вернулся Берден домой после игры под утро веселый и довольный и даже не чувствовал, как устал и замерз. Дверь юрты была закрыта на крючок, он просунул руку, откинул крючок, тихо вошел в спящий дом.

Только теперь он ощутил острейший голод. Нашарил в темноте мешочек с хлебом среди посуды, и в это время проснулась мать.

— Ну и ну! И надо было тебе мерзнуть до этого часа! Ни отдохнуть как следует, ни поспать. Смотри, не наступи в темноте на ребенка. И вообще ложись, хватит греметь посудой!

Он долго не засыпал, вспоминая, как им здорово игралось в эту ночь. Потом перед глазами появилась Зибаш с ее милой челкой, все время спадавшей на лоб.

Отец Зибаш работал на шахте в Кендысае. От Каунгента до Кендысае один день езды. Если смотреть из аула Бердена, то на западе, далеко-далеко, виднеется горная гряда. Это самые высокие горы Каратауского

массива. Называются они Мынжылки — тысяча коней. Иногда, окутанные дрожащим маревом, они словно перемещаются ближе, и тогда сдвоенные их вершины, похожие на верблюжьи горбы, видны отчетливей. За ними и находится Кендысай, о котором Бердену приходилось слышать много интересного, но бывать там не довелось ни разу.

Пройдет немного дней, и Зибаш, приехавшая погостить у тети, отправится за перевал в шахтерский аул. Об этом Бердену вчера сказала сама Зибаш.

— Скоро мы с тетей Шаим вернемся в Кәунгент, а потом приедет папа и заберет меня домой.

Берден успел привязаться к Зибаш, и весть о ее скором отъезде подействовала на него угнетающе. Он и сам не смог бы объяснить, почему ему так больно думать о расставании. Казалось, уедет Зибаш, и станет совсем грустно и одиноко. Но он никому не сказал о своих переживаниях.

— А на следующее лето ты приедешь сюда? — спросил он у девочки.

— Откуда мне знать? — ответила она. — Отпустит меня папа — приеду, не отпустит — не приеду.

Накануне отъезда Зибаш сын сапожника Досыма привез невесту, и в ауле состоялся большой той. К торжеству начали готовиться с рассвета. У Досыма родственников и друзей тьма-тьмушая, а знакомых и того больше. На свадьбу сына он пригласил всю округу, не поскупился на расходы. Еще с вечера поставили для гостей две-три юрты, и с раннего утра туда начал стекаться народ. Жители аула от мала до велика тоже были тут. После праздничного угощения все отправились за аул, где должны были начаться конные состязания.

По праздникам и торжественным дням Абен выезжал на коне по кличке Козыкурен. Иногда он выставлял его на скачках. Громкой славы в бегах Козыкурен не заработал. Самыми главными его достоинствами были сила и выносливость. Низкорослый, кряжистый, с богатой гривой и пышным хвостом, с блестящей густой шерстью, этот карий жеребец был ловким и собранным, как кошка. За мощную грудь, крепкие ноги и литые мышцы хозяин называл его Таскурен.

— Таскуруну короткие дистанции не подходят. Он проскачет полсотни верст, и под мышками у него будет сухо. Вот если бы устроить такую байгу, чтобы скакали

целый день с утра и до вечера, тогда он показал бы себя,— не раз хвалился Абен своим конем.

Это было истинной правдой. Те, кто видел Козыкуруна в деле, признавали, что такого сильного коня они еще не встречали.

— Ну надо же! Сколько он ни проскачет, а с темпа не собьется. Не скажешь, что он может скорость развить большую или рывок сделать сильный, но вот, что такое усталость, он не знает. В жизни не видывал такого неутомимого коня.

Когда Козыкурун участвует в состязаниях, Абен сажает на него Бердена. И сегодня он еще утром предупредил мальчика:

— Берден, надень сапоги, а то ноги натрешь.

— Ладно, ага,— обрадованный, засуетился Берден. Он перебрал мысленно всех коней, которые смогут принять участие в предстоящих скачках, прикинул их возможности. Со стороны, наверное, никто коней выставить не будет. Пока еще жарко, а в такое время скакунов не используют. Поэтому из соседних аулов признанных призеров не пригонят. «Их еще не взяли из табуна. Всякие игры и соревнования начнутся перед осенними праздниками, а пока кони остаются на воле,— думал Берден,— сегодня поскачут одни рабочие лошадки». Чем дальше размышлял Берден, тем сильнее в нем разгоралась надежда на победу, и сделалось радостно и тревожно, но он тут же одернул себя: «Нечего загадывать заранее. В скачках и без того примет участие немало коней. Глядишь, какая и выскочит вперед. Хоть бы не подкачать, хоть бы прийти первым...»

Как вспомнится Бердену, что среди болельщиков будет и Зибаш, так его то в жар бросает, то в холод. Хорошо бы, толпа кинулась чествовать его как победителя. Ну а если он опозорится?

Все утро он не находил себе места от волнения.

— Ну, ребята, по коням,— услышал Берден голос распорядителя, и сердце его затрепетало. Все тело вдруг обдало жаром. Не помня себя, он вскочил в седло. Толпа гудела, наседая. Смотреть по сторонам было боязно. «Только бы не опозориться, только бы победить»,— твердил он про себя.

Они добрались до указанного места, сделали разминку, немного отдохнули, потом, проверив подпруги, встали на старт. «Айт-чу!»— раздалась команда, и они пустили коней во весь опор. Коня скакали, сбившись

плотной кучей. Из-под копыт летела густая пыль. Берден, который был с подветренной стороны, чуть не задохнулся. Зажмурив глаза, он несколько раз налетал на других всадников. Звук ударов и звон стремян действовали отрезвляюще. Он стал править так, чтобы переместиться вправо. Выбравшись из кучи, он осмотрелся и увидел, что идет в хвосте, но настегивать коня не стал, а только выпустил немного узду и наподдал коленями. Тот до середины дистанции шел размеренным галопом. За это время его обошли два скакуна, а несколько коней, державшихся впереди, стали понемногу отставать и оказались сзади. Тогда Берден прищипорил коня и раза два взмахнул камчой. Козыкурен будто ждал сигнала, втянув шею, ринулся вперед. Не сбавляя взятого темпа, он поравнялся с теми, кто вел скачку. Теперь Берден его не насиловал, предоставил волю идти ровным шагом. Он чувствовал, что Козыкурен не сбивается с ритма и скачет без напряжения. Если снова пустить в ход камчу, он может ускорить бег. Но наездник решил пока приберечь силы коня.

Кони растянулись длинной цепочкой. Карий уже начинал покрываться испариной. Их опережали только трое участников, но и те не могли увеличить разрыв. Немного погодя Козыкурен нагнал двух из них и пошел с ними вровень. Возможно, соперники уже выдохлись. Не было похоже, чтобы они могли вырваться вперед. Заметив это, Берден почувствовал облегчение. Он решил повременить с рывком, скакал с противниками стремя в стремя. По бегу лидера он определил, что и у того силы на исходе, но обходить его не торопился. И только когда показался аул, он снова пустил в ход камчу. Козыкурен в мощном броске вырвался вперед и понесся наметом. Засвистел ветер в ушах. Берден заметил краем глаза, как караковый конь, весь в пене, обернулся, злобно приложив уши и кося яростно выкаченными глазами, а потом медленно проплыл назад.

А между тем уже донесся многоголосый шум аула. Вот на обочине замелькали пестрыми пятнами болельщики. На финише неистовствовала толпа мужчин, женщин, детей. Из всей массы Берден заметил только Зибаш. Она, радостно смеясь, махала ему рукой.

* * *

Той продолжился вечером. Съев и выпив положенное, налюбовавшись байгой и борьбой, наговорившись

власть, старики отправились по домам. Настал черед веселиться молодежи.

В шестикрылой белой юрте невесты не стихает гомон и смех. Время от времени раздаются звуки домбры и сыбызги — свирели. Веселье только разгорается. Девушки и джигиты пока еще держатся церемонно, перебрасываются скупыми фразами, присматриваясь друг к другу. Юнцы, которые только на том основании, что у них пробился пушок над верхней губой, причисляют себя к молодежи, дружно дымят «Прибоем», утверждаясь в новой для себя роли взрослых людей.

Есть здесь и перестарки — по каким-то причинам не женились вовремя и ходят в холостяках; встречаются пройдохи, которые, оставив жен дома, прикидываются свободными. Один из них открыл по обряду лицо невесты, и белый занавес, скрывавший пол-юрты, был наконец поднят. Девушки, теснившиеся за занавесом, смешались с сидящими в другой половине, после чего негромкий гомон перешел в шумное веселье, как вода, не сдерживаемая шлюзом, с ревом устремилась бы в русло канала.

Снаружи юрту облепила аульная детвора, которой не нашлось места внутри, глазела сквозь решетки кереге на невесту.

Берден после скачек долго прогуливал Козыкуруна за аулом, чтобы тот остыл как следует, потом оставил его заботам Абена, а сам поспешил туда, где развлекалась молодежь.

Заглянул в юрту, увидел пристроившихся у самого порога ребят и присоединился к ним. Словно состязаясь друг с другом в искусстве пения, джигиты и девушки без умолку пели. Берден поискал глазами Зибаш. Она сидела с правой стороны, рядом с Шаим. Девочка заметила его приход, улыбнулась широко и радостно. Видно, все, что происходит, доставляло ей истинное удовольствие. Разгоряченное ее лицо выражало неопишуемый восторг, глаза лучились.

И Бердену в этот день было весело и хорошо. Он упивался своей победой, чувствовал себя героем дня. Казалось, праздник этот будет длиться вечно. Все сегодня было иначе, чем всегда. Уже и полночь наступила, а веселье все нарастало. Самым замечательным на этом торжестве было то, что Шаим и Зибаш переглядывались иногда с Берденом, как с единственным близким человеком среди сидящих, и он все время ощущал свою не-

зримую связь с ними. Но потом пришла жена Абена, с порога окликнула сестру и сказала:

— Вам завтра в дорогу. Утром придется вставать рано. Надо хоть поспать немного. Пойдемте домой.

Берден почему-то вышел за ними. Шаим, заметив, как он мнется, но не смеет подойти, ласково пожала ему руку:

— Ну, Берден, мы завтра рано выезжаем, с тобой уже не увидимся, так что будь здоров. Не забывай нас.

Бердену привиделось в молочном свете луны, что и Зибаш сказала что-то, беззвучно шевеля губами. На самом деле Зибаш молчала. Только, когда уходила, обернулась, посмотрела погрузневшими глазами, улыбнулась через силу.

— До свидания.

Погом Берден вернулся в юрту, но яркий, волшебный праздник вдруг померк, потускнел. Песни и шутки он уже слушал без интереса, смеяться и шалить расхотелось, и вообще, напала такая усталость, что захотелось домой.

Около дома он бросил взгляд на соседнюю юрту. Решетка кереге была завешана циновкой из чия, сквозь просветы которой сочился свет керосиновой лампы. Двигались чьи-то тени. Похоже, там готовились ко сну, стелили постель. Берден не мог оторвать глаз от освещенного квадрата, от мелькающих на нем теней. Через некоторое время лампа мигнула и потухла. Теперь он видел только темный силуэт юрты. И в душе его будто что-то угасло, и воцарилась мгла. Он подошел к дому, припал к стене.

Матери со сна показалось, что о стену трется коза, но она услышала всхлипы, выскочила наружу:

— Кто это?— испуганно спросила она и тут увидела, как сын ее, поникший и жалкий, стоит, прислонясь к стене.

— Ой, ты что тут делаешь, сынок? Тебя обидели? Кто тебя обидел? Кто?

— Никто не обижал.

— Так что же ты тут стоишь тогда? Смотри, уже глубокая ночь, а ты стоишь. Ну, пойдем, ложись лучше спать. Хватит, набегался, наигрался.

Она привлекла его к себе и повела домой.

Когда Берден проснулся, гости Абена уже собрались в дорогу. Сперва Берден услышал голоса, потом повернулся лицом к открытой двери и увидел перед юртой

Шаим и Зибаш. Женā Абена навьючила на черного осла корджуны. Потом привела козу с козленком, привязала ее к уздечке осла. В следующую минуту они, гоня перед собой осла и козу, уже уходили по тропе, ведущей к дороге. Козленок бежал за ними. Жена Абена проводила сестру и племянницу до дороги. Они остановились и попрощались. Дальше Шаим и Зибаш пошли сами, а жена Абена повернула назад.

Берден встал, вышел и сел в тени. Не отрываясь, смотрел он вслед уходящим. Уже у него рябило в глазах, а он все глядел, пока они не превратились в точки. Приходилось напрягать зрение, чтобы не потерять их из виду. Потом и точки исчезли, словно растворившись в воздухе. Ближился полдень, стало жарко, а мальчик еще долго оставался на месте, с жадной тоской всматриваясь в далекий горизонт, где струился прозрачный мираж.

* * *

Берден давно живет в большом городе. Приезжая иногда в родной аул, он по привычке, приобретенной в те незапамятные времена, может часами смотреть на запад, где среди широкой равнины темнеют вдали купы деревьев Каунгента, а еще дальше видна горная гряда, скрывшая за собой шахтерский поселок Кендысай.

УМИТЖАН

Умитжан училась классом ниже Бердена — в девятом. Каждый раз при встрече она шаловливо косилась на него и чему-то усмехалась. От этого взгляда Берден терялся и, хотя до этого смотрел ей прямо в лицо, но тут поскорей отводил глаза в сторону. Как бы ему ни хотелось посмотреть ей вслед, он не смел повернуться, пока она не оказывалась метров за десять. Потом он, конечно, клял себя на чем свет стоит, что упустил такой момент, и долго провожал взглядом ее тоненькую гибкую фигуру.

В Умитжан было что-то особенное, что делало ее непохожей на других аульных девушек. Все в своенравной девчонке притягивало ребят: и милая непосредственность, и непривычная дерзость и независимость характера, удивительная лёгкость движений. Ее огромные черные глаза, всегда смотревшие на всех весело и открыто, вдруг становились кроткими и наивными, и вся она

становилась маленькой и беззащитной. Лично на Бердена больше всего действовал этот лукавый взгляд, который, как он полагал, предназначался только ему.

Он и раньше ловил на себе заинтересованные взгляды ровесниц. Но никогда он не испытывал такого мучительно-сладкого беспокойства, как после встречи с Умитжан.

В последнее время Бердена не оставляло чувство тревоги и ожидания. Он постоянно томился желанием увидеть Умитжан. Что бы он ни делал, выразительный взгляд черных глаз не шел из головы. Казалось, они мают его, и от этого в душе у него всегда творилось что-то непонятное.

В конце концов он не выдержал, решил рассказать обо всем своему другу Кабышу.

— А ты напиши ей, я передам,— деловито предложил тот после первой же фразы, лишив его возможности исповедоваться в подробностях.

— Вдруг она не захочет взять...

— Нашел о чем переживать! Ну и что из этого? Так и молчать всю жизнь? Надо, чтобы она узнала, что ты неравнодушен к ней. Тогда уже и говорить будет легче.

На другой день Берден еще до начала уроков вручил Кабышу аккуратно сложенное письмо — два тетрадных листа, плотно исписанных стихами и прозой.

— Только отдашь по дороге домой,— предупредил он друга.— В школе не надо.

После уроков они дождалась Умитжан, пропустили ее вперед, а сами пошли следом. Потом Берден остался ждать возле клуба, а Кабыш отправился выполнять свое обещание. Вернулся он очень скоро и сильно сконфуженный.

— Что случилось?— нетерпеливо спросил его Берден, хотя по вытянутой физиономии Кабыша уже догадался, что затея их с треском провалилась.

— Не взяла. Пригрозила, что завтра завучу расскажет.

Расстроившись, Берден некоторое время молчал, а минуты через две хмуро потребовал:

— А как это было? Расскажи с самого начала.

— Я бежал за ней почти до самого дома. Догнал. Ну и говорю ей: «Умитжан, стой». Она остановилась. Я говорю ей: «Вот Берден передал»,— и сую письмо. А она сразу: «Ты что? Вот я завтра завучу скажу, будешь знать...» Повернулась и пошла. Я за ней. «Умитжан, ну

возьми», — говорю. В это время дверь скрипнула. Смотрю, ее мать выходит. Я, естественно, ноги в руки и назад.

Утром Берден проснулся от предчувствия беды. Завтракал нехотя. «Неужели Умитжан действительно скажет завучу?» — билась в голове беспокойная мысль. Этот ханжа и брюзга вечно выслеживал старшеклассников и, если ему удавалось перехватить подобную записку, он, конечно, делал все, чтобы выставить автора на посмешище, будь то парень или девушка. На каждом собрании он снова и снова возвращался к своей жертве, чтобы еще раз довести ее до слез.

Бердену всю дорогу представлялось такое собрание. Перед глазами мелькали картины одна страшней другой: вот он стоит перед всей школой и ежится под осуждающими, а то и насмешливыми взглядами, вот на трибуну поднялся завуч, закусил удила и понес: «Товарищи! Мы, оказывается, воспитываем женихов и невест. А я считал, что в нашей советской школе учатся сознательные, дисциплинированные и примерные школьники и школьницы. До учебы им и дела нет. Они, подобно героям «Тысяча и одной ночи», слагают друг другу любовные послания. Вот, например, сидит один из них. Сералиев, встань! — Завуч сверлит его взглядом. Все поворачиваются и смотрят на Бердена. — Это вот стихи его сочинения», — продолжает завуч и начинает зачитывать его письмо.

«Какой позор!» — ужаснулся собственным вымыслом Берден.

Чем ближе подходил он к школе, тем сильнее колотилось сердце. Впервые он не желал, а страшился возможной встречи с Умитжан. Но ему все равно проходить мимо 9-го «б», который занимается в первой классной комнате слева по коридору. Он прикидывал, как бы ему прошмыгнуть незамеченным, но, как назло, у дверей 9 «б» стояла Умитжан. Столкнувшись с нею лицом к лицу, Берден смешался, покраснел. Ему стоило огромного труда сделать непроницаемое лицо и с достоинством кивнуть ей. Она стояла и внимательно смотрела на него. Он быстро проскочил мимо; что-то заставило его обернуться, и тут он мельком заметил, что нет в ее глазах ни гнева, ни презрения. Напротив, только ласковый интерес. И лицо удивленное, нежное, смущенное. Взгляд ее значил даже нечто большее, чем обычно.

«Как же так? — озадаченный, думал он, садясь за свою парту. — Она же вовсе не сердится. Почему она вчера сказала, что пожалуется завучу? Или это Кабыш-

врунишка сочинил? Не смог передать и придумал, чтобы оправдаться. Да нет, зачем ему врать?..» Он долго ломал себе голову, с какой целью она прикинулась перед Кабышем рассерженной, но так и не додумался ни до чего.

Шестым уроком в этот день была физкультура. Все ребята быстро собрались и высыпали во двор. Берден задержался в классе и вышел последним. На крыльце он снова столкнулся с Умитжан. Та стояла с портфелем и, видимо, собралась уже домой.

— У вас физкультура?— вежливо поинтересовалась она.

— Да. А у вас нет больше уроков?

— Идет уже. Я отпросилась. Сегодня мы с мамой на отгон едем,— доверчиво ответила девушка.

Одноклассники Бердена за это время успели построиться в две шеренги, а он все еще торчал на крыльце, откуда его сейчас не стянул бы и трактор.

— А ты почему не на площадке?— спросила она.— Смотри, ребята уже играют.

— Я тоже отпросился,— бойко соврал Берден. Он и сам не заметил, как это у него вырвалось.

— Значит, ты сейчас домой идешь?

Он помедлил с ответом. Учебники остались в классе; с урока он не отпрашивался, за что завтра ему непременно влетит. «Ладно, будь что будет»,— махнул он на все рукой и решительно сказал:

— Пошли.

Они шли молча. Берден чувствовал себя неловко, очень боялся показаться скучным и неотесанным человеком, что, однако, не мешало ему испытывать радостное волнение от близости девушки.

— Умитжан,— заговорил он наконец, собравшись с духом.

Девушка повернулась, выражая готовность выслушать, что он скажет.

— Вчера Кабыш ничего тебе не говорил?

— Говорил,— ответила она застенчиво. Щеки ее мигом вспыхнули. Всю ее самоуверенность как рукой сняло. Глаза сразу сделались кроткими, просящими.

— А почему ты не взяла? Или... — «Или я не нравлюсь тебе?» хотел он сказать, но вовремя спохватился.

— Не хотела брать,— кокетливо сверкнула она глазами, снова становясь прежней — капризной и избалованной Умитжан.

— Но почему?

Лицо у Бердена сделалось таким несчастным, что девушке стало его жалко.

— Ты обиделся?— нежно и лукаво сказала она.— Мне просто не хотелось, чтобы Кабыш завтра растрезвонил обо всем по всей школе.

У Бердена отлегло на душе.

— А если бы я сам принес, ты взяла бы?— спросил он с надеждой. Голос его предательски дрогнул.

— М-м,— весело кивнула она головой, скосив на него сияющие глаза.

Они обменялись нежными улыбками.

Они шли по аулу и говорили о всякой всячине, лишь бы не расставаться, лишь бы побыть друг с другом как можно дольше.

— И когда вы вернетесь с отгона?— спросил на прощание Берден.

— Через два дня. Пока?

— Пока.

Весь день у Бердена радостно билось сердце; возбужденный, он не мог ни на чем сосредоточиться; руки дрожали, как после нервного перенапряжения. Поужинав, он заперся в дальней комнате и долго разглядывал фотографию Умитжан, которую она ему подарила. «Когда же она приедет? Два дня... ужас, как долго»,— думал он.

Берден уже несколько дней не был в школе. Так уж повелось, что весной он непременно болел. Бабушка любила повторять: «Наш Берден слабенький, не то что другие ребята. Выйдет легко одетый и тут же сляжет». Он терпеть не мог, когда бабушка говорила такое. И что она кудачет наседкой? Он уже не цыпленок. Нашла тоже слабенького. От стыда можно сгореть! А он как-никак редко кому из ровесников уступает в силе. Они и сами знают, что в борьбе он любого через плечо перекинет. Просто у него склонность к простудным заболеваниям. Вчера Берден чувствовал себя настолько хорошо, что хотел уже пойти на уроки, да бабушка не пустила: «Не ходи, пока окончательно не выздоровеешь, а то осложнение будет». Ей, конечно, было невдомек, почему внук рвется в школу.

После полудня, когда ребята возвращались из школы, он оделся и вышел на улицу. Долго кружил возле дома Умитжан, нетерпеливо поглядывая в ту сторону, откуда она должна была появиться. Через некоторое время в конце улицы показалась Умитжан.

Берден всегда раздражался, когда джигиты с бес-

стыдной откровенностью разглядывали девушек. Но если они пялились на Умитжан, он страдал вдвойне. Мало того, что пялились, но еще и отпускали всякие шуточки. Тогда он вообще чуть не лопался от злости. Его страшно огорчало, когда на их пошлости Умитжан отвечала милой улыбкой, словно ей нравились их заигрывания. Не то, чтобы он ревновал, просто было стыдно за нее. «И чему она радуется?» — возмущается он. Если Умитжан к тому же еще и скажет что-нибудь, у него сразу начинается шуметь в голове, и он просто немеет от ярости. Умитжан, заметив, что он переменялся в лице, делала наивные глаза и беспечно улыбалась. «Интересный ты, Берден. Что же мне, ни на кого и смотреть нельзя? Не разговаривать ни с кем?» Этого было достаточно, чтобы он раскаялся. «Нехорошо получается с моей стороны, — казнил он себя. — Действительно, что в этом такого». Все недоразумения быстро забывались. Слишком он был простодушным и чистосердечным, чтобы долго таить обиду.

К сожалению, и сейчас, когда Берден наконец дождался Умитжан, несколько парней, которые до этого спокойно стояли и курили на другой стороне улицы, дружно повернулись к девушке. Она поравнялась с ними, и тут же, как водится, начались приставания.

— Девушка, а сколько у вас было уроков? — ни к чему ни к городу ляпнул один.

— Эх ты, портфель бы помог донести. Никакой культуры в тебе, — лез из кожи другой.

Каждый говорил, что на ум взбредет.

— Ай, сестрица, до чего же ты хороша! — крикнул еще один ей вслед.

Берден почувствовал, как у него вскипает кровь от этих наглых взглядов и плоских шуток, от смиренной позы Умитжан, от ее неуместной улыбки. Настроение резко упало, и поздоровался он с Умитжан не особо приветливо.

— Ну что, выздоровел? — спросила она обычным своим дружелюбным тоном. — Когда в школу пойдешь?

— Не знаю пока, — ответил он холодно.

Умитжан оживленно рассказывала о школьных новостях, об открытом уроке, который прошел у них сегодня, он слушал ее без интереса. Разговор явно не клеился, и вскоре они замолкли.

— Придешь вечером на концерт? — спросила его Умитжан, когда они дошли до ее дома.

Школьники подготовили большой концерт в честь дня выборов, и ему хотелось пойти посмотреть, но из упрямства он сказал:

— Нет.

— Почему?

— Не хочется.

Девушка прикусила нижнюю губу, посмотрела на него недоуменно. Он молчал, и тогда она гордо вскинула голову и бросив пренебрежительно: «Ну, пока» — быстро повернулась и зашагала к дому.

А через несколько дней настроение у Бердена было испорчено. Он и сам заметил перемену в Умитжан, а тут еще Кабыш подсыпал соли на рану: «Неужели ты не замечаешь, как этот морячок Саткул ходит по пятам за ней?»

Саткул до призыва в армию был парень как все. Вот разве повыше других. Помнится, особой храбростью, да и другими достоинствами не отличался. Даже, пожалуй, был робок и нерешителен и, если случалась драка, всегда держался в стороне. Зато, приехав на побывку, сразу оказался в центре внимания. А как же? Матросская форма сидит на нем как влитая, выправка что надо, вот он и щеголяет день-деньской перед аульными зеваками.

Как услышал Берден слова Кабыша, так чуть не задохнулся от обиды. Вечером он пришел в клуб. Народу здесь собралось много. На сцене пел школьный хор. Берден нашел свободное место в одном из задних рядов и сел.

Парень рассеянно слушал концерт, но вот слова ведущего заставили его очнуться:

— Сейчас перед вами выступит ученица девятого класса Кайратова Умитжан.

Из-за кулис вышла Умитжан. Лицо ее разругнилось, ярко лучились огромные черные глаза. В каждом ее движении было столько грации и изящества, что Берден залюбовался девушкой. И как он раньше не замечал, что она такая красивая?

Умитжан исполнила несколько песен. Пела она очень хорошо, и ее тепло встретили зрители.

Теперь Берден с нетерпением ждал, когда она появится в зале. Через некоторое время Умитжан, уже переодетая, вошла в маленькую боковую дверь и направилась к девушкам, стоявшим у стены. Берден начал было пробираться к ней, но тут увидел Саткула. Тот появился от-

куда-то из средних рядов и тоже продвигался в ту же сторону, куда и он. Подошел по-хозяйски, встал рядом. Нагнулся, сказал ей что-то на ухо, девушка будто бы улыбнулась.

«И о чем только они могут говорить?» — неприязненно подумал Берден и отвернулся.

Выйдя из клуба, он решил разыскать Умитжан, которая куда-то исчезла, и пошел по направлению к ее дому.

Ночь была темная. Сырой воздух сохранил запах прошедшего дождя. Улица освещалась кое-как. Лишь в нескольких местах слабо помигивали лампочки, которых едва хватало, чтобы высветить крохотный круг под собой.

Берден дошел почти до середины улицы, когда увидел идущую впереди пару. Умитжан он узнал сразу. А второй... Он весь похолодел. Второй шел, обняв ее за талию. Чувствовалось, что им хорошо, что они никуда не торопятся. Почему-то он не ушел, а бессознательно продолжал идти за ними. Потом очнулся, остановился. Если можно было бы провалиться сквозь землю, Берден провалился бы. Он весь дрожал от стыда и унижения. Вдруг захотелось подбежать, ударить соперника, свалить на землю. Он видел, вернее, слышал, как парень обнял девушку и стал целовать.

— Перестаньте,— тихо и не совсем уверенно говорила Умитжан.

Сколько простоял вот так, бесцельно, бездумно, он не помнит. Помнит только, как те, беззаботно болтая, уходили все дальше и дальше и растворились в ночи. А вместе с ними удалялось навсегда его детство...

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?

Едва солнце поднялось над горизонтом, как сразу же стало жарко. В воздухе разлилась тяжелая духота. Дышалось с трудом. Все вокруг давным-давно пожелтело, и заливной луг в низине, где в эту пору шел сенокос, казался особенно зеленым. Оттуда вереницей тянулись телеги, груженные сеном.

Возле старика, отдохавшего в тени незавершенного стога, полулежал, опираясь на локоть, круглолицый парнишка лет шестнадцати — его внук Берден. Он помогал старому Бекты укладывать привезенное сено в стога.

Судя по тому, что старик постелил под себя свой

чекмень из верблюжки, он, видимо, тоже собирался прилечь. Но пока он, скрестив ноги, сидел в извечной позе степняка и смотрел вдаль. Потемневшая от пота его бязевая рубаша прилипла к костлявой спине. Он поминутно отирал мокрое лицо большим ситцевым платком.

Некогда высокий, статный, старик и ростом осел, и сильно исхудал. Семьдесят лет сделали свое дело — оставили неизгладимый след в его облике, однако и теперь старик выглядел совсем неплохо. Каждое движение было полно сдержанности и благородства. Длинная седая борода смягчила природную суровость бледно-смуглого лица.

Старик в задумчивости поглаживал бороду, и она струилась меж его длинных и тонких пальцев.

Парень, покусывая травинку, рассеянно разглядывал деда. Он впервые обратил внимание, какие у него правильные и выразительные черты лица. При всей худобе старика нетрудно было заметить, что он хорошо сложен. И тут Берден вдруг подумал, как дед, наверное, был хорош в молодости. В душе внука вспыхнула гордость, и он смотрел уже на деда совсем другими глазами — любовно и уважительно.

Издали доносилась еле слышная песня. Она звенела тоненько и протяжно, словно, воспаряя в поднебесье, изнемогла от зноя и духоты. То пели женщины. По эту сторону зеленого луга посреди желтеющей равнины на проселочной дороге медленно ползли возы с сеном, волоча за собой длинный белый хвост пыли. На возах светлели женские платки. Там и рождалась эта долгая песня, не раз звучавшая в широких степных просторах. В ней пелось о любовной тоске и несбывшихся надеждах. Чистая и нежная мелодия трогала до слез.

Эти женщины были все на одно лицо. Загоревшая под июльским солнцем их кожа напоминала цветом кору таволги, обветренные губы покрылись от суховея белым налетом, на лбу, на носу, над верхней губой блестели бисеринки пота.

Вот головной воз достиг околицы, и навстречу каравану высыпала ватага босоногих ребятишек с чайниками и ведерками в руках. До полуденного чая было еще далеко, а в такую жару всегда хотелось пить, и дети, зная это, выносили на дорогу питье для своих истомленных жаждой матерей.

Заметив ребятишек, женщины перестали петь. Ка-

раван остановился. Дети тянулись на цыпочках, подавая наверх сосуды; матери, нагнувшись, принимали их из рук малышей, осыпая их ласками.

Старик, очнувшись от тяжелых дум, навеянных грустной песней, потеплевшими глазами следил, как дети поили матерей, и тихо улыбался.

— Эх, жизнь! Даже не верится, что еще вчера, когда отцы их уходили на фронт, они были грудными младенцами. А теперь, гляди-ка, как выросли! Совсем людьми стали. И то слава богу. Даруй нам, создатель, мир и покой...

Старик почувствовал удовлетворение от того, что надежда почти всегда сильнее отчаяния, что жизнь продолжается. Он нашел опору в сегодняшнем благополучии и смиренно радовался тому, что видит.

Мимо них в это время проехал мужчина средних лет, кряжистый, с крупной, кудрявой головой.

— Здравствуйте, аксакал!— поздоровался он со стариком.

— Будь здоров, свет мой!

Когда всадник оказался у дальних стогов, старик спросил:

— Берден, это не наш новый парторг проехал?

— Он самый, дедушка.

— Что знаешь, то тут же забываешь. Я же его недавно видел, а вот забыл уже. Думаю, что за малый здороваешься со мной? Выходит, недаром говорят, что к старости мозги жидкими становятся, как вода. Одно слово, что жив, а так ни на что уже не годен.

«Неужели дедушка совсем сдал?»— изучающе смотрел Берден на старика. Да, глубокие морщины, впалые щеки, заострившиеся скулы явно выдавали его возраст. «Дедушка, действительно, уже не тот, что прежде. И как я раньше этого не замечал?»— удивленно думал Берден. Но признавать, что дед одряхлел, не хотелось, и он, сравнивая со стариками аула, нашел его куда лучше других. Те сетовали, что оставили верховую езду. А старый Бекты до сих пор, садясь на коня, не хватался руками за седло. «Нет, он еще бодрый, старым его не назовешь»,— утешил себя Берден. Да и кому это нужно, чтобы его дед старел? Тем более, у Бердена есть свои причины не желать этого. В душе его давно живет заветная мечта, которую он держит в тайне от родных и друзей. Берден надеется когда-нибудь написать книгу. Эту первую свою книгу он хотел бы собственноручно подарить дедушке.

Старый Бекты повертел бы книгу в руках и, радостно улыбаясь, понял бы, что внук сделал ему самый большой подарок, что в этот день исполнилась мечта всей его жизни. Конечно, Берден знает, что это случится не скоро.

— Парторг — это будто бы очень большая должность, а, сынок? Этому тоже учатся в особом институте? — спрашивает старик погруженного в собственные мысли внука. — Сколько лет надо, чтобы выучиться на парторга?

Берден не сразу нашелся, что ответить старику. Объяснять, что не всякий выпускник института становится парторгом, что на такую работу людей выдвигают по деловым и другим качествам и образование тут играет не последнюю роль, что, в общем, есть и специальные партийные школы, объяснять это — долгая история. К тому же дед любит в ответах краткость, поэтому Берден просто сказал:

— Есть, разумеется.

— А вот наш Бокен в каком учится? Кем будет, когда окончит? — спросил Бекты про старшего внука, учившегося в Алма-Ате.

— Инженером будет, ата.

— А ты где будешь учиться? На парторга не хочешь?

— Ата, я писателем стану. Книжки буду писать.

Старик считал, что нет в мире высшей премудрости, чем книга. Он доволен стремлением внука, но и встревожен тоже.

— Говоришь, книжки писать собираешься? Это слишком сложное дело. Наверное, для этого нужно очень много знаний. Это, может, не всякому под силу. Ну да пусть будет по-твоему. Лишь бы ты был жив-здоров. Да сбудется твоё желание. А с нас довольно будет и того, если никто не скажет о тебе худого слова, если ты не запятнаешь чести нашего рода. Кем бы ты ни был, лишь бы человеком стал. Будь честным! У нас в роду никто грязными делами не занимался.

Бекты говорил это тоном внушительным и серьезным, чтобы сказанное дошло до сознания юноши. Изредка он украдкой поглядывал на Бердена, проверяя, как тот его слушает. Встретив внимательный взгляд живых карих глаз, он убеждался, что внуку интересно, и продолжал:

— Деда моего, рассказывают, весь народ чтил и уважал. По самым сложным и запутанным делам к нему обращались, и он всегда судил по чести, по совести. За

всю жизнь ни один не жаловался, что он вынес кому-то несправедливый приговор. Говорят, он никогда долго не рассусоливал. Скажет — точно ножом отрежет. За то, наверное, и уважали его. Позже, состарясь, он уже не ездил разбирать тяжбы. К тому времени отец мой уже поднабрался опыта в судебных делах. Пришлось ему самому разрешать однажды какой-то большой спор. А после разбирательства, оказывается, судье полагается вознаграждение. Дают ему двух коней и два мешка риса. Ну, он отказывается. Нет у нас, мол, такого, чтобы плату взимать. Отец не брал и мне не велел. Те, кто с ним ездили, говорят: «Ладно, коней не бери, но рис — это же сущий пустяк. Возьмем хоть его с собой». Навьючили эти два мешка и повезли в аул. Сын приезжает в аул и идет к отцу поздороваться. А тот встречает его упреком: «Я более двадцати лет разбирал тяжбы и двух горстей риса ни с кого не взял, а ты в первый же раз два мешка отхватил? Нет, ты не сын мне, выродок», — и отвернулся от него.

Старый Бекты разволновался от своего рассказа, ушел в себя. На лице его блуждала задумчивая улыбка.

— Вот так, мой свет. Ты потомок славного рода. Помни, что предки тебе завещали доброе имя. Удачи тебе во всех твоих начинаниях. А главное все же — быть человеком.

Парнишка, не отрываясь, смотрел на помолодевшее от возбуждения лицо деда.

Он напишет книгу и подарит ее ему. И все будет так, как наказывает дед. Только вот легко ли стать человеком?!

ДУХИ

Берден взял отпуск и собирался на завтра уехать вместе с семьей в аул. Вечером, вернувшись домой, стал готовиться в дорогу. Перед отъездом надо было привести в порядок бумаги, и он долго рылся в ящиках письменного стола. Вытянул один из нижних ящичков и заметил на дне, в глубине, одну вещицу, и замер от неожиданности. Отложил бумаги, вытащил ее на свет. Это был маленький, не больше спичечного коробка, флакон синего стекла, чуть ли не доверху налитый жидкостью. Блестела позолотой металлическая крышка, на дно был приклеен крохотный кружок золоченой бумаги с надписью «Духи». Повертев флакон, Берден надолго задумался, припоминая.

Ему представился аул в песках; день, когда он уезжал поступать в институт; нежное смуглое лицо и теплый взгляд юной женщины в неуклюжей фуфайке и коричневом платке. «Да, славное то было время,— вдруг затосковал он.— И почему человеку дорого все, что связано с юностью?»

Стоило вспомнить молодость, как он погружался в сладкие грезы. На душе становилось светло и грустно. Каждая кочка, каждый кустик в степи, из которой он когда-то, остервенев от одиночества, готов был бежать куда глаза глядят, казались бесконечно милыми и родными.

Берден открыл флакон, прикоснулся ладонью к горлышку и понюхал. Запах был терпким, горьковатым. «Надо же! Все еще не теряет аромата,— отметил он, рассеянно сжимая в руке флакон.— Так что мне с ним делать, а?»

После некоторых колебаний он улыбнулся про себя: «А почему бы не отдать духи ей самой? Что тут такого? Она мне не чужая, женге¹ все же. Расскажу, как купил их, как хранил столько лет. Пусть посмеется. Будет хоть что вспомнить, повеселиться можно».

Решив так, Берден положил флакон вместе с вещами, которые собирался взять с собой.

В тот год, когда Берден окончил среднюю школу, отец, который много лет проработал чабаном, ушел на пенсию. Но расставаться со своей отарой он не хотел. Это было привычное ремесло, унаследованное от отцов.

— Ладно, перееду я, скажем, в аул. И чем мне заниматься? А куда мы подеваем нашу скотину? В ауле ее и держать-то негде. Я еще и сам в силах забраться на коня. И ты помог бы нам с отарой, свет мой. Пожил бы с нами,— твердил он Бердену. По его настоянию сын оставил гараж, куда устроился, чтобы набрать положенные для поступления в вуз два года трудового стажа, и впрягся в кочевую жизнь.

Всю зиму проработал Берден вместе с отцом чабаном. Колхоз тогда объединился с соседними хозяйствами в один совхоз. Их бывший председатель — молодой парень по имени Жакуп — стал заведующим фермой. После смерти первой жены Жакуп несколько лет вдовствовал,

¹ Женге — жена старшего родственника.

а в прошлом году привез себе из Сузака молодую жену. Жакуп, направленный руководством совхоза на двухгодичные курсы, уезжая, оставил молодую жену с родителями. Всю свою семью он перевез и поселил по соседству с отцом Бердена.

— Уезжаю надолго. Своих специально перевез к вам поближе. Все-таки Берден здесь и в случае чего поможет моим старикам. Да и веселей вам будет вместе, — сказал он отцу Бердена.

Все лето они прожили на виду друг у друга, а осенью вместе снялись с летнего пастбища. Сентябрь и октябрь провели с отарами на скошенных лугах, а к зиме откочевали на зимовку к границе больших песков.

За Каратау, состязаясь с горными хребтами, убегают вдаль песчаные гребни, образуя заметную издали обширную возвышенность. Примыкающие вплотную к зеленым склонам Косеге бугристые и грядовые пески носят название Шокат. Почвы здесь плодородные. Они богаты всеми травами, какие только растут в пустынной зоне. На земле этой с ее теплой зимой — раздолье для скота.

Прихватывая восточный край Шоката, до самых песков раскинулась широкая долина. В эту долину по весне сливаются свои воды все горные реки, и летом в этом краю голубеют озера, зеленеют высокие травы. Вдоль пограничной полосы между долиной и барханами Шоката поставлены в отдалении друг от друга зимовки чабанов с крытыми кошарами. Поздней осенью, когда сено свезено и уложено в стога, сюда прибывают со своими отарами чабаны и до первой зелени остаются здесь.

В том году соседи выбрали для зимовья врезавшийся клином в мелкие сыпучие пески край долины, где стояла пара глинобитных кошар, крытых камышом. Чуть поодаль высились два стога. Между кошарами и стогами расположился низенький дом с плоской крышей, состоявший из двух комнат, разделенных небольшим коридором.

Это и был аул, в котором предстояло прожить всю зиму их семьям. Соседи заняли каждый свою половину. К вечеру отец Бердена заколол овцу и пригласил соседей на ерулик¹.

¹ Ерулик — традиционное угощение, устраиваемое в честь приезда новых соседей.

За праздничным ужином старики долго обсуждали хозяйственные нужды и заботы.

— Пока стоит теплая погода, нужно как следует подготовиться к зиме,— говорили они между собой, но так, чтобы слышали Берден и Тынымкуль.— Пусть дети завтра же принимаются за работу. Дел невпроворот. Надо починить кошары. Чтобы скотина не разоряла прежде времени стога, надо поставить заграждение из шингиля. Кошары чистить, там еще прошлогодний навоз лежит. Ой, как много дел нам предстоит.

Поручения сыпались одно за другим. Стоило одному умолкнуть, как другой подхватывал, чтобы напомнить еще об одном совершенно неотложном деле.

— Ну и вам нечего целыми днями чай гонять да языками молоть. Тоже могли бы руки приложить, помочь хоть чем-то детям,— недовольно встряла в разговор старуха.

— А без нас, видно, вы и шагу ступить не можете.

— Ты посмотри. Выходит, что мы с утра до вечера только и делаем, что мелем языком. Когда это мы бездельничали?

— Съездят разок верхом отогнать отару, а думают, горы свернули. Посмотрели б мы, как вы обошлись бы без нас...— не отставали старушки.

Берден и Тынымкуль дней десять от зари до зари трудились не покладая рук. Целую неделю рубили на Шокате шингиль и доставляли на верблюдах в аул, огородили стога. Подремонтировали жилище и кошары. Управившись с делами и отдохнув дня два, они снарядили в дорогу верблюдов посильней, чтоб съездить на центральную усадьбу за солью, чаем, сахаром и мукой на две семьи. Зимние месяцы долги, нужно было запастись продуктами.

Выехали с зимовки, когда забрезжил рассвет, а добрались трусцой до совхоза лишь к полудню. Пока закупили все, что нужно, пока нагрузили на верблюдов, наступил вечер. Ехать обратно предстояло ночью, поэтому они еще раз тщательно проверили поклажу.

Погонять верблюдов не стали, ехали неспешно. Позади засняли мигающие огоньки центральной усадьбы. Луна еще не взошла. Все вокруг окуталось мраком. Степь лежала глухая, безучастная ко всему. Похоже, ночная дорога действовала на них угнетающе.

Они ехали по широкой шоссейной дороге, хорошо видной и в кромешной тьме, и молчали. Время от

времени верблюдица, которую вел на поводу Берден, тоскуя о своем верблюжонке, оставленном на зимовке, оглашала степь трубными звуками, от которых у путников волосы вставали дыбом. Они зябко сжились и вздыхали.

— Берден, рассказал бы что-нибудь, хоть дорожку скоротать...— первой заговорила Тынымкуль.— Если ехать молчком, до аула, пожалуй, и не доберемся.

От рождения замкнутый и немногословный, Берден промолчал. Да и что скажешь просто так, ни с того ни с сего. Но чем дольше длилось молчание, тем больше он мучился, понимая, как глупо и нелепо молчать. Однако так и не смог заставить себя сказать ни слова.

— Ночная дорога, как сон, как наваждение. Есть в ней что-то завораживающее,— снова заговорила Тынымкуль.— И почему, интересно, человек ночью не чувствует себя так же свободно, как днем? Кажется, ночью на человека действует какая-то неведомая сила. И ты невольно подчиняешься ей, не можешь противостоять этой силе. Ты беспомощен перед ней. Как странно это, а?

По спине Бердена пробежали мурашки, и он вздрогнул. С ужасом огляделся вокруг. Понял, что то, о чем говорила Тынымкуль, испытывает и сам.

— Я вообще не люблю ездить по ночам,— продолжала Тынымкуль, намереваясь, очевидно, рассказать какую-то историю.

— Недаром говорят, что ночью дороги длинные,— чтобы поддержать разговор, вставил Берден. Но погруженная в свои мысли Тынымкуль не обратила внимания на его замечание.

— Я тогда в четвертый класс ходила,— сказала она задумчиво. Постромки, пропущенные над подстилкой, были коротки, и колени ее были высоко подняты, поэтому казалось, что сидит она нахохлившись.— Отец мой ушел на войну, когда я еще не родилась. Так и не вернулся. Сестра у меня есть старшая. С матерью втроем и жили. У нас в ауле была только начальная школа. Сестра тогда уже в седьмом училась, в интернате, жила в райцентре. Только на каблуки приезжала. Так что дома были я и мама.

— А ты где школу окончила, в райцентре?— прервал ее Берден.

— Нет, потом наша школа стала семилетней. Там и училась. Окончила седьмой, дальше не пошла. Старшую сестру замуж выдали. Матери одной трудно было.

Вот я и бросила школу, стала ей помогать,— ответила ему Тынымкуль, а потом продолжила прерванный рассказ.

— Осенью это было. Мать на выходной попросила в колхозе волов с упряжкой, хотела съездить в горы на мельницу. Пришла я с уроков, мы и выехали, чтоб попасть туда к ночи, переочевать, а с утра пораньше смолоть муку и вернуться засветло в аул. Ночь выдалась темная-темная. Я раньше никогда не ездила по ночам. Только мы отъехали от аула, а меня уже страхи одолевают, сижу тряусь вся. А чтобы мать не заметила, все расспрашиваю ее о чем-то. Начнет она говорить, и мне будто полегче становится. А все равно жмусь к ней. Кажется, этой дороге конца не будет, и утро уже никогда не наступит. И будто нет никакой надежды, что мы когда-нибудь выберемся из этой кромешной тьмы. Мать, наверное, заметила, как я трушу, прижимает к себе, укутывает в чапан. Поправляет что-то все время: то полу подоткнет, то запахнет поплотней чапан. А я даже по сторонам глядеть боюсь. Прислушиваюсь, как катятся со скрипом колеса по песчаной дороге, да как щелкает бич, смотрю только вперед на волов. Весь мир такой чужой, пугающий. Потом я взглянула на маму и заметила, что она пристально смотрит куда-то. Я повернулась туда, думаю: «Что она увидела?» А там далеко-далеко узенький язычок пламени. Представь, как это действует: где-то во тьме горит огонек. Я так и обмерла от страха.

— Мама,— спрашиваю,— это окно светится?

— Откуда я знаю, милая. Там вроде нет жилья.

— А откуда свет?— храбрясь, снова спрашиваю я, чтобы заглушить ужасную догадку. У самой душа замирает: а что если это огни шайтана?

— Не знаю, миленькая,— говорит она бодро, чтоб успокоить меня.— Наверное, святые это огни. Здесь же много мазаров. А в изголовье у святых, говорят, всегда зажигаются свечи.

— Мама, а почему они зажигаются?

— Потому что так положено. На то они и святые...

— Мама, я боюсь.

— Ну что ты, милая! Как можно!

— А огонь до нас не доберется?

— Нет, это же далеко. Ты этого огня не бойся. Его не всякому дано увидеть. Это великое благо. Хорошо, нам повезло. Тому, кто видит святой огонь, грехи отпуска-

ются. А дети долго жить будут. Так что не бойся. Лучше обрати лицо в ту сторону и попроси: «Духи предков, даруйте мне долгую жизнь». А еще попроси, чтоб отец целый и невредимый вернулся поскорей домой,—говорит мама.

Как ни успокаивала меня мать, но унять сжимающую мне сердце тревогу ей не удалось. Через некоторое время я, устав от тревожений, видимо, заснула. Проснулась в испуге от крика матери. Раскрыла глаза и пришла в ужас от грохота и рева. Казалось, что от них сотрясался весь мир. Я ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Лежу, как мертвая. Обвела глазами вокруг себя, а меня со всех сторон обступили чудища, громадные, в небо упираются. А рев все нарастает. Ну, я изо всех сил крикнула:

— Мама!

Тут ко мне мать подбегает, растерянная, мечется туда-сюда.

— Не бойся, милая, не бойся. Я тут. Ну, вставай-вставай.— Тянет меня за руку, помогла мне сесть. От ее голоса я, конечно, пришла в себя, спросила:

— Мама, что это? Где мы?

— А мы уже в горах, милая. Мельница уже близко. Только вот мы в реке застряли. Колесо перекопилось, вот и стоим.

Я осмотрелась, стала понимать, что к чему. Телега стояла посреди грохочущей реки, с берегов нависли высокие скалы.

Мама разулась, подоткнула повыше юбку, полезла в воду и стала тянуть волов вперед.

— Бей!— кричит мне.

Я встала и ну настегивать волов изо всех сил. Они вначале стояли, как вкопанные, потом стали потихоньку тянуть. И сразу телега закричала, подалась вперед. Еле-еле выбрались мы на другой берег, тут мать остановила телегу и только отжала намокшую одежду, как сверкнула молния и полил дождь. Мешки накрыли старым чапаном, кошмой, которые мы прихватили из дома, а сами промокли до нитки. У меня зуб на зуб не попадал. Приехали к мельнику, я как вошла в дом, так и упала. И провалялась без памяти дня три или четыре.

Долго я не могла оправиться от болезни. Только прилягу, как сразу проваливаюсь в темноту и где-то далеко-далеко зажигаются огни. Я бегу к этим огням. Уже

устану, обольюсь потом, а бегу. А огни мерцают, дро-
бятся, множатся, сливаются, и уже весь мир течет жид-
ким огнем. А я барахтаюсь в том огне, гребу, выбиваюсь
из сил. Когда я приходила в себя, то видела над собой
плачущую маму: «Бедняжка моя, что с тобой? Что мне
делать теперь? Что делать?»

После этих приступов я слабела очень, на глазах ху-
дела. Мама меня и в райцентр к врачам возила, и к мул-
ле заговаривать водила. Немало она повозилась со
мною. А как наступило лето, болезнь стала проходить.
До сих пор не знаю, что тогда со мною случилось, но с
той поры боюсь ночной дороги, тревожно так и нехорошо
мне делается.

Тынымкуль ушла в свои воспоминания, умолкла.
Ночь на редкость тихая, безветренная, безмятеж-
но подремывала. Мрак будто бы слегка рассеялся, а
слева на горизонте разлилось красноватое пятно света.

— Луна всходит,— нарушил молчанье Берден.

— А-а, ну-ка... Да, в самом деле всходит,— подтвер-
дила Тынымкуль, повернув налево голову. И словно обо-
дрясь, сказала с облегчением:— Чем в непроглядной
тьме, лучше, конечно, при луне ехать.

Понемногу в воздухе разлилось голубоватое сияние,
степь посветлела, а ночная тьма легла черной тенью под
придорожными кустами. Резче обозначились холмы и
пригорки, овражки и прогалины. Круглый, как мельнич-
ный жернов, мир притих, замер под небесным куполом.

— Нам бы добраться до аула, пока луна не скроет-
ся. Надо же, как ясно светит!— заметила Тынымкуль.
Голосок ее прозвучал намного веселее, чем до этого.—
Только б не исчезла.

— Куда там! Луна исчезнет только с рассветом. А мы
вот-вот будем дома. Жаль, поклажа тяжелая, а то пу-
стили бы верблюдов рысью, сразу несколько километров
покрыли бы!

— Ты что? Как можно? Грешно гнать их, бедных.
Мы же не торопимся. Доедем как-нибудь. Ты бы спел
лучше, Берден, чем молчать всю дорогу.

— А что я спою, если ни одной песни не знаю. Чего
не умею, так это петь.

Некоторое время они ехали молча, потом она вдруг
негромко затянула протяжную народную песню. Она
редко исполнялась в тех краях, и голос Тынымкуль ока-
зался на редкость чистым и красивым, поэтому Берден
весь обратился в слух. После первых нот, робких, и пе-

уверенных, песня, набирая силу, взметнулась ввысь. Берден, изумленный, жадно впитывал каждый звук. Сердце взволнованно билось. Он забыл обо всем на свете, словно песня ввела его в волшебный и несказанно прекрасный мир. Сон это или явь? И отчего так хочется плакать? Но вот пролились теплые лучи, согрели душу, и уже не плакать хочется, а радоваться, смеяться. Он весь был во власти песни, грудь наполнилась любовью и нежностью, горячей благодарностью и жаждой подвига. Во все глаза смотрел он на Тынымкуль, и чем больше он смотрел на нее, тем больше восхищался ею.

Высоко в небе сверкает золотым шаром полная луна. Под ней, купаясь в серебре, простирается равнина Сор-танды. Хрупкая всадница едет на сказочной верблюдице по широкой сверкающей дороге, а девственные просторы внимают чудесному напеву. Все вокруг замерло. И даже верблюдица не оплакивает разлуку с верблюжонком, зачарованная печальной мелодией, не слышно вскриков неугомонной вышн.

Эта картина навсегда запечатлелась в памяти Бердена. Стоило ему захотеть, и, немеркнувшая, она оживала перед глазами так ярко и светло, словно все это было только вчера.

Тынымкуль была его ровесницей. Но кое-что испытав на своем веку, она рано повзрослела и казалась много старше него. Веселая, открытая, услужливая, она умела расположить к себе и старого, и малого. И если замкнутый по натуре Берден быстро привязался к ней, то, наверное, причиной тому была ее сердечность.

Вернувшись из поездки, они вдвоем почти неделю запасали на зиму топливо — ездили в пески за саксаулом, рубили и грузили, доставляли в аул. Пока не выпал снег, возили издалека лед для питьевой воды. И везде вдвоем, всегда вместе. Свекор и свекровь Тынымкуль ни разу не поинтересовались, где они ходят и чем занимаются. Не усомнились, не заподозрили. Наоборот, считали Бердена своим, баловали, как собственного сына. Поэтому он мог заявиться к ним в любое время. Днем ли, ночью ли, заскучав, он шел к Тынымкуль. Они играли в «хан-талапнай»¹ и другие игры, могли засиживаться за полночь. Старики в то время мирно спали. Тынымкуль, когда у нее было настроение поговорить, становилась прекрасной рассказчицей.

¹ Вид игры в бабки.

Среди зимы пришлось отобрать из двух отар самых слабых овец, чтобы оставить их в ауле. Отары были под присмотром стариков. Уход за теми, которых содержали в кошаре, поручили молодежи. Из камыша соорудили разгороженный на две половины загон.

Днем овец держали в загоне. Туда же им носили сено и корм. Берден с утра и допоздна возился во дворе, ухаживал и за своими, и за соседскими овцами.

Старики целыми днями пропадали на пастбище. Угоняли отары на утренней заре, а возвращались в сумерки. Старухи пили с утра чай, потом, заткнув за пояс свои веретенца, шли на посиделки к соседям.

В ауле остаются только Берден с Тынымкуль. Если выпадает свободный час, Берден идет к Тынымкуль. Там иногда без дела не сидит. Или прядет, или белье стирает, или возится с тестом — печет баурсаки. Он пройдет на почетное место, приляжет, облокотившись на подушки, и наблюдает за ней.

Она хватается за чайник и предлагает:

— Заварить чай?

— Нет, спасибо, я дома попил.

— И как только люди могут пить и есть в одиночку? Ну что тебе стоит прийти попить чай вместе со мной? И что ты вечно скромничаешь? — мягко упрекает его Тынымкуль.

Обычно он ничего не отвечает. Они какое-то время молчат, потом он просит:

— Тынымкуль, спой песню.

— Ой, что ты? С чего мне петь, разве мы на вечеринке? — смеется она.

Он продолжает уговаривать.

— Ой, хватит. С какой радости мне петь, когда тут дел по горло. Лучше я поскорее dokonчу работу. Не то придет мать и спросит: «Ты до сих пор возишься, свет мой?»

— Тынымкуль, ну спой, — умоляет он. — У тебя же только руки заняты.

— Ай, да будет тебе. Ты со скуки маешься, а я при чем? — все еще отнекивается она.

— Ну ладно, раз не хочешь петь, тогда я пойду, — говорит он холодно и делает попытку встать.

— Посидел бы еще, ты ведь только зашел. Куда торопишься? — смотрит она в лицо Бердену, пытаясь угадать, не обиделся ли он в самом деле.

Берден опускается на подушку. Помолчав, она взгля-

дывает на него: «Ну, раз ты просишь...» И вот звучит ее прекрасный голос. Тренетно и нежно выводит он старинную мелодию, но вот песня набирает силу и радостно устремляется ввысь.

Берден, весь поглощенный песней, погружается в мечты. Он и сам не мог с определенностью сказать, о чем ему грезится в эти минуты, какая надежда заставляет его сердце так сладко сжиматься и отчего у него перехватывает дыхание, когда он слышит пенне своей подруги. Он смотрит на нее неотрывным взглядом, и в глазах его нежность и сожаление, искреннее тепло и непонятная грусть.

Но женщина, заметив его состояние, вдруг перестает петь и шутливо спрашивает:

— Эй, глупая твоя голова, а про скотину ты забыл, что ли? Что это с тобой? Совсем задумался, ушел в себя. Ты много не думай, а то, не дай бог, свихнешься. Ты и так у нас парень задумчивый.

Но спустя минуту она, уже посерьезнев, просит:

— Скажи, о чем ты думал сейчас? Мне казалось, что ты вот-вот расплачешься... Скажи, правда, о чем? Если я не ошибаюсь, у тебя есть любимая девушка. Ты страшно любишь ее. Скажи, кто она? У тебя есть ее фотокарточка? Покажи.

— Я сколько раз тебе говорил, что нет у меня никакой девушки. Вечно ты придумашь что-нибудь.

— А мне кажется, что есть. И очень хочется ее увидеть. Какая она? Красивая, наверно, а? Хочешь, я представлю ее себе и расскажу, какая она.

Берден невольно смеется.

— Ты прямо как дитя, Тынымкуль.

— Как пророк, скажи.

— Как ты можешь представить то, чего вообще нет на свете.

— Есть. Я говорю, что есть. Где-то ходит. Просто ты ее еще не встретил.

Берден смеется еще пуще.

— Вот это верно. Только как ты сможешь описать мне ту, которую я и сам еще не встретил.

— В общем, я уверена, что ты влюблен в кого-то, — она обратила к нему раскрасневшееся лицо и заглянула в глаза. Берден мгновенно вспыхнул до корней волос и опустил глаза.

— Ага, признал, да?! — злорадно воскликнула она. — А сейчас я дознаюсь, кто она! От меня не скроешь!

Берден поднял голову, встретился глазами с ее горящим взглядом, и сердце его бешено заколотилось.

— Так ты говоришь, что я непременно должен быть влюблен? Хочешь, скажу, в кого?— взбудораженный, спросил он отважно. Молодая женщина, заподозрив что-то, оборвала свой смех, посмотрела умоляюще.

— Нет-нет. Не надо. Не сейчас. Я позже сама спрошу. Тогда скажешь. Ладно?— кротким голосом попросила она. Потом мягко напомнила:

— Уже время повть овец. Что ты сидишь?

В душе Бердена творилось нечто невообразимое. Он молча вышел. Перед загоном повалился на наваленные горой стебли и лежал не в силах справиться с волнением. Чувствуя себя преступником, он горячо расканивал в необдуманных словах, но в то же время мучился сожалением, что не высказался до конца. Он и сам не понимал своего состояния. Хотелось все бросить и бежать, оказаться как можно дальше отсюда, чтобы никого не видеть и не слышать. Оглушенный нахлынувшими чувствами, он застыл в неподвижности.

Сено с початого стога для больных животных приходилось таскать каждый день. Они забирались вдвоем наверх, разрыхляли слежавшееся сено и сбрасывали вниз. С хрустом воизвив вилы, отваливали пласт, а затем, поднатужась, сталкивали его на землю. Зеленая горьковатая сенная пыль забивала нос, горло, проникала в легкие. Тынымкуль на вид тоненькая, хрупкая, была очень сильной, в любой работе не уступала Бердену. С вилами справлялась играючи. Ловкая, ладная, в туго повязанном платке и фуфайке, она работала наравне с Берденом. Гладкий лоб и вздернутый нос покрывались каплями пота, лицо раздумывалось. Запыхавшись, она позволяла себе маленькую передышку. При каждом вздохе тугая грудь вздымалась, из-под расстегнутого ворота фуфайки шел парок. Отдохнув минуту-другую, она снова азартно принималась за работу: «А ну-ка!»

Скинув вниз очередную кошку сена, они, прикинув, что этого достаточно, усаживались на стогу, чтобы отдохнуть, остыть немного. Потом Берден первым прыгивал на землю и помогал спуститься Тынымкуль.

Однажды случилось так, что она, соскользнув вниз, сделала неловкое движение и упала. Он бросился помогать. Тынымкуль навалилась на него всем телом, обвила шею руками. И даже тогда, когда уже твердо стояла на ногах, не разомкнула рук. Лицо ее было близ-

ко-близко, так близко, что он ощутил ее дыхание. Его бросило в жар. Запах разгоряченного женского тела, смешанный с горьковатым ароматом сухих трав, кружил голову. Берден не удержался и поцеловал ее. Она рванулась из рук. Он, вздрогнув, будто бы очнулся, поднял голову. Все еще в дурмане, он шагнул к ней, но она отступила, предостерегающе сказала:

— Не балуй. Нельзя.

Но он уже не слушал ее, и она взмолилась:

— Айналайн, хватит, ты что? Не дурак же ты в самом деле?— Берден подчинился.

Больше они не перемолвились ни словом. Молча принялись таскать сено. Сделали два-три захода, перенесли все сено к загону, задали корм овцам. Вынесли и сложили за оградой отходы, оставшиеся со вчерашнего дня. Положили в кормушки свежей соли. Закончив дела, направились к дому, и тогда вдруг Тынымкуль повернулась к нему и сказала:

— Берден, я тебя люблю, как родного брата.

Она собиралась сказать еще что-то, но умолкла, смешавшись. Молчание затянулось, потом она подняла на него печальные глаза.

— Ты когда уезжаешь?

— На следующей неделе. Завтра поеду в центр, получу деньги, документы.

— Значит, уезжаешь? Станешь студентом и обо всем забудешь.

— Почему? Зачем ты говоришь такое? Как я могу забыть тебя?

— Ты правду говоришь?

— Конечно.

— Я тебе верю. Ты хороший,— сказала она благодарно.— Я как услышала, что ты уедешь учиться, так места себе не нахожу. Так привыкла к тебе. Знаешь, иногда мне кажется, что нет у меня на свете никого ближе, чем ты. Правда-правда... Ты уедешь, а я буду совсем одна.— Голос ее дрогнул.

Ему стало жалко молодую женщину, вынужденную жить в глухой степи в окружении одних стариков. Она действительно нуждалась в утешении, и он заботливо спросил:

— Жакуп вроде говорил, что к зиме учеба закончится и начнется практика и что он приедет сюда. Скоро вы на центральной усадьбе будете жить.

— Не знаю. Даже если он приедет, мы, наверное,

все время будем на отгоне. У него же работа такая. Ладно, что будет, то будет... Да. А тебе я желаю всего самого доброго. Не забывай нас,— сказала она срывающимся голосом. Берден ничего не ответил, а бессознательно перебирал в руках свернутую кольцами веревку.

Они шли рядом и молчали. И уже возле порога Тынымкуль, словно прощаясь, потрепала его по плечу:

— Ну ладно, будь здоров.

Глаза ее были полны ласкового участия. Берден почувствовал, как больно заняло сердце. «Какая же ты хорошая, Тынымкуль. Прощай»,— растроганно прошептал он про себя.

Берден три месяца проучился на подготовительных курсах, сдал вступительные экзамены, дождался зачисления и решил до начала занятий съездить в аул на три-четыре дня. Душой он уже был там. Радовался, как ребенок. Перед глазами вставал погруженный в заботы и хлопоты осенней поры родной аул. Он представил, как встретится с друзьями, одноклассниками, с родственниками. Праздничный хоровод мыслей все время возвращался к Тынымкуль. «Что она делает? Будет ли рада тому, что я поступил? И где сейчас находится наше кочевье? Кочуют ли они вместе с нашими или отделились?» Вопросам не было числа...

В радостном оживлении он вспомнил о том, что едет из большого города и надо привезти гостинец для Тынымкуль. Купив билет на вечерний поезд, он пошел в центральный универмаг выбирать подарок. В кармане оставалось всего несколько рублей, которые он сберег на дорогу. У него упало настроение, когда он прошелся по торговым залам. Хорошие вещи были ему не по карману, а дешевку брать не стоило. Но потом он утешился тем, что она прекрасно знает, каково студенту в чужом городе. «Дорого внимание,— решил он.— Возьму эту безделицу и все»,— и выбрал духи в флаконе из синего стекла.

Когда Берден приехал, семья их была еще на летовке в горах. Юрта стояла на взгорье. Отец пас отару на горных лугах, где недавно закончилась уборка овса. Оказалось, что Жакуп вернулся в аул и приступил к работе. Все лето две семьи жили на джайляу вместе, а недавно соседи переселились на центральную усадьбу, где расположился пункт стрижки. И как Бердену ни хотелось

навестить их, но путь туда был неблизкий, а времени у него было в обрез.

Встретиться ему с Тынымкуль в тот приезд так и не пришлось. Синий флакон он увез с собой. За годы учебы он два раза навещал своих родственников. Духи у него были всегда с собой — лежали в нагрудном кармане, но так и не нашел способа вручить их той, кому они предназначались.

Отпуск он оформил с начала июля. Но его долго удерживали в городе неотложные дела, и приехал он в аул только в середине лета. Жара была в самом разгаре. В поезде он ехал с комфортом, а добираясь из областного центра в аул автобусом, смертельно устал. Выехал он еще до полудня, а дома оказался поздно вечером.

Брат со снохой, заранее оповещенные о его приезде, основательно подготовились и, по всей видимости, затевали грандиозный ужин.

— Не утруждайте себя понапрасну. Давайте только попьем чай. Потом я хочу лечь, отдохнуть, совсем жара измотала, — остановил он их.

— Эй, ты не забыл еще, что был чабаном? — сказал брат, уходя утром на работу. — В сарае стоит молодая овечка. Вы со своей женой зарежьте и разделайте ее. Вечером надо пригласить соседей и родню. Они уже слышали о твоём приезде, пусть отпразднуют с нами.

Во дворе большого дома под шиферной крышей была поставлена юрта. После полудня хозяйка несколько раз побрызгала все кругом водой и навела идеальный порядок во дворе. Весь день Берден, прячась от жары, провел в затемненной комнате, а когда тени удлинились, вышел во двор посидеть на скамейке. Жара еще не спала, и даже в тени была невыносимая духота. И все же здесь было легче дышать, чем в комнате.

Пока Берден перебрал скопившиеся на подоконнике веранды за летние месяцы газеты, время склонилось к вечеру. Уже и солнце село, и зной поутих. Вот и дорога запылила под ногами первых гостей. Берден, беседуя с гостями, ловил себя на том, что постоянно прислушивается к тому, что происходит на улице, будто ждет кого-то. Наконец он услышал знакомый голос и обернулся. В дверь входил Жакуп. Берден встал, чтоб его приветствовать.

Тынымкуль ходила у летней кухни. Завидев Бердена, она радостно воскликнула:

— Ой, глядите — Берден! Как здоровье? Как дома? Детишки живы-здоровы? Наконец-то посчастливилось и тебя увидеть в наших краях. Ну что, приехал, выходит, в родной аул! Правильно... Чем старше становится человек, тем больше его тянет в родные края, говорят. А ты что-то год от года все реже здесь появляешься, а? — не удержалась она от легкого упрека.

— Значит, я так и не стал старше, — пошутил Берден.

— Что ты такое говоришь? Ты на себя посмотри. Куда уж старше... — начала было она, но Берден перевел разговор на другое.

— Слышал я, что вы переехали на центральную усадьбу. С новосельем вас...

— Спасибо. А все из-за учебы ребят. Старшие уже повзрослели, оставаться у чужих не хотели. К тому же и у самого здоровье уже не то, хотел найти работу полегче. Дом себе построили. В прошлом году вселились. Так что и мы стали городскими, ходим под ручку по гостям, — рассмеялась она.

Тынымкуль сильно изменилась, показалась ему постаревшей. Прежде высокую, стройную, ее согнуло время; упругое, легкое, молодое тело высохло. И хотя лицо ее было по-прежнему озарено внутренним светом, но, обожженное солнцем, было слишком темным. Даже голос ее, раньше такой мелодичный, что сразу располагал к ней любого, стал надтреснутым.

Бердена вдруг охватило тяжелое чувство, похожее на жалость. Радость встречи с родными угасла. «Это от повседневных трудов, наверное. Больно она услужливая, трудолюбивая, ни минуты покоя не знала. Да, время никого не щадит», — подумал он.

Среди ночи, проведив гостей, он не стал заходить в дом, а пошел на поле и долго стоял там.

В этот вечер ему было очень грустно. Не было того ощущения необыкновенной бодрости и особого настроения души, которое сродни радости. Наоборот, какая-то ущербность, тревога, что от тебя ускользает что-то, уходит безвозвратно...

Он сунул руку в карман, и в руке его оказался тот самый флакон. Он вытащил, повертел его, потом сжал изо всей силы и снова опустил в карман. Расправив плечи, взглянул вверх. Все небо было усеяно звездами. Прямо перед собой он увидел Большую Медведицу. Вспомнил, что шоссейная дорога, ведущая из централь-

ной усадьбы на зимовье, пролегает как раз в направлении Большой Медведицы. И снова перед его мысленным взором ожили крохотный аул и песчаные гребни Шоката.

ВЫ ЗНАЕТЕ АКТЕНГЕ?

Поезд «Казахстанец» приближался к большому городу — конечному пункту туристического маршрута по Средней Азии. Туристы должны были провести там целую неделю, а потом вернуться в Алма-Ату. «Через час-другой будем на месте», — любезно сообщила Бердену его попутчица. Он уложил чемодан, надел пиджак и вышел в коридор скоротать оставшееся время у окна. Смотрел на утомительно однообразные дали, где, догоняя друг друга, убежали к горизонту песчаные гребни барханов. Пейзаж этот напомнил ему юг Казахстана, где он родился и вырос, и на душе у него потеплело.

«Поразительное сходство, — думал он. — Все в этой жизни повторяется, даже картины природы». Внезапно из-за высокой песчаной гряды вынырнул и поплыл навстречу небольшой поселок. Это оказалась обычная железнодорожная станция — одна из многих, встретившихся на пути. Мимо некоторых из них поезд пронесся, не сбавляя хода, а тут вдруг замедлил и остановился рядом с вокзалом — одноэтажным желтым зданием под железной крышей. И хотя двери его вагона пришлось на крохотный асфальтированный пятачок перед вокзалом, Берден и не подумал выходить. Все так же стоял и смотрел в окно. Станция ничем не отличалась от других. У вокзала, как обычно, было два-три киоска, где путникам могли предложить старые газеты и журналы, забродивший лимонад, черствые пирожки. И здесь, как и везде, на перроне торговали разной снедью. Разложив перед собой свой немудрящий товар — арбузы, дыни и испеченные в тандыре¹ лепешки, сидели на расстеленных прямо на земле мешках древние старухи. «Ничего интересного», — вздохнул Берден. Но тут его внимание привлекла ватага ребятишек лет восьми-десяти, крепких, загорелых, босоногих. Набежали невесть откуда и мигом рассыпались вдоль состава. У каждого — полные руки крупных зеленых плодов, которыми они, как видно, на-

¹ Тандыр — печь.

били карманы. Подбегают к открытым дверям вагонов, сбывают свой товар пассажирам и убегают куда-то за здание вокзала, чтобы вернуться снова с плодами. Торговля шла бойко, и они переглядывались с гордыми и счастливыми улыбками. Берден тоже невольно улыбался, наблюдая, с какой охотой они занимаются своим ремеслом. Присмотревшись получше, он разобрал, чем торгуют ребяташки. Такие плоды Берден видел уже в парке Самарканда. Это был конский каштан. Каштаны — высокие деревья с огромной кроной, напоминающие наши вязы, Берден встречал и раньше, но как они плодоносят, увидел в первый раз. Экскурсовод объяснила, что бывают съедобные каштаны, а конский каштан несъедобен, и местные жители используют его только как средство от тараканов. Помнится, туристы тут же принялись подбирать плоды, а те, кому не досталось ни одного каштана, полезли за ними на деревья. Берден тоже поднял тогда два-три каштана. Теперь они лежали на дне чемодана. Экскурсовод, сама не подозревая, сослужила добрую службу ребяташкам, заранее разрекламировав их товар. А гигантский каштан, весь усыпанный плодами, рос прямо за вокзальным зданием. Наверное, это был не единственный каштан в округе. В веселом изумлении смотрел Берден на маленьких торговцев: «Ах, шельмы! Далеко же вам приходится бегать за товаром!»

Впрочем, это невинное лукавство придало им в глазах Бердена еще больше обаяния. Он с завистью думал, как незатейливы радости детства, как непосредственны и забавны ребячьи проделки.

Путники поначалу охотно поддерживали торговлю, видимо, из интереса к милым крепышам или действительно нуждаясь в этих каштанах, и ребята сбывали свой товар с завидной быстротой, но потом покупатели поостыли, а вскоре их вовсе не стало. Тогда ребяташки начали раздавать каштаны даром. Совали их в руки каждому, а когда не осталось охотников и до бесплатных каштанов, бросили плоды на землю и начали гонять их вместо мячей. Это вызвало взрыв веселья среди пассажиров.

— Да, товар у них что надо! Хочешь — продавай, хочешь — в футбол играй!

— Что и говорить, дети есть дети!

Похоже, поезд и не думал отправляться в ближайшее время, и Берден решил пройтись по перрону. Сошел со ступенек, помедлил, раздумывая, потом не торопясь

направился к тем самым сорванцам, гонявшим по асфальту каштаны. Кто-то из детей заметил его, перешепнулся со своими, и те тут же оставили игру, пошли навстречу незнакомцу. Не дичились, не жеманились, подошли, открытые, приветливые, обступили Бердена, и не успел он и рта раскрыть, как кто-то из них первым задал вопрос:

— Агай, вы откуда приехали?

— Из Казахстана.

— О, из Казахстана!— радостно просияв, загомонили мальчики, многозначительно переглядываясь.

И поговору, и по лицам Берден сразу определил, что мальчики — казахи. Ему давно было известно, что в этом регионе живет много его земляков, и не было ничего удивительного в том, что ему подвернулась такая встреча. Он с интересом расспрашивал детей, на каком языке они обучаются, как им даются школьные дисциплины, где и кем работают их родители.

Ему понравились дети, такие живые, любознательные, смешленные. На вопросы Бердена они отвечали наперебой, причем старались, чтобы ответы были подробными и точными. А с каким жаром они расспрашивали самого Бердена! Вот вперед протискался серьезный мальчуган, который до этого прятался за своими товарищами — курносый чернявый парнишка лет восьми с круглой, большой головой. Постоял, помялся и спросил застенчиво:

— Агай, а вы не знаете Актенге из Казахстана?

— А кто это?— озадаченный, спросил Берден.

— Женщина одна.

Берден расхохотался. Ребята задавали самые разные вопросы, и на каждый Берден отвечал обстоятельно и серьезно, но последний вопрос прозвучал так нелепо, что Берден не смог удержаться от смеха. Смеялся так, что на глазах выступили слезы.

— А кто она тебе? Сестра?

Мальчика смех смутил настолько, что, потупившись, он втянул голову в плечи, готовый провалиться сквозь землю. Он даже не в силах был ответить на вопрос Бердена. Однако надо было что-то сказать малышу, который ждал ответа. Но что бы ему ответить? Сказать: «Не знаю»? Но так не хочется разочаровывать мальчишку! Берден стал говорить о бескрайних просторах Казахстана, где живет множество людей. Конечно же, Берден не везде бывал и не всех знает. Чтобы найти человека,

нужно знать не только его имя, но и адрес. Тем более, что часто встречаются люди с одинаковыми именами и даже фамилиями.

— И все же, кто она тебе? Сестра? Где она живет?— спросил он снова.

Малыш, не поднимая глаз, едва слышно ответил:

— В Казахстане.

Берден еле сдержался, чтобы снова не рассмеяться. Было ясно, что другого ответа от малыша не добиться.

— А кто она тебе?—с улыбкой спросил он мальчика, но тут же осекся, заподозрив что-то неладное. И как он не догадался раньше, что мальчик вовсе не так боек и весел, как его друзья? Есть в нем какая-то приниженность, что-то робкое и жалкое. Бердена бросило в жар при мысли, что он оскорбил малыша своим смехом. Да-да, теперь-то он видит, что ребенок еле сдерживает слезы. В черных его глазах затаилась давняя боль. За всем этим кроется нечто столь серьезное, что тут явно не до смеха. Он привлек к себе мальчика, намереваясь поговорить с ним по душам, и как можно мягче спросил:

— Как тебя зовут, милый?

— Байбол,— подбодренный, чуть громче, чем раньше, произнес мальчик.

— Берден! Поезд трогается! Беги!— донесся в это время крик.

Он обернулся на голос, увидел, что состав вдруг пришел в движение, снова взглянул на малыша, смотревшего на него с такой надеждой во взоре, что стало больно, но медлить было нельзя: поезд набирал ход, и, махнув рукой, Берден понесся догонять свой вагон. Он вскочил на подножку и, схватившись за поручни, откинулся назад, чтобы еще раз посмотреть на малыша. Ребята толпились на том же месте, где он их оставил. Чуть в сторонке стоял Байбол. И хотя разглядеть его было невозможно, Бердену показалось, что на лице мальчика написано безнадежное уныние. И снова Берден почувствовал острую жалость к ребенку, которого, он понял, гнетут детские печали. Его вдруг осенило, какая тайна кроется за вопросом мальчика. Недаром он не захотел сказать, кем ему доводится эта самая Актенге. Как бы не оказалось, что это его мать, ведь у судьбы множество дорог, на которых недолго разминуться и родным. «Наверное, так оно и есть»,— подумал Берден, и у него защемило сердце от жалости к ребенку. За занятой

болтовней с ребятами он проглядел нечто очень важное. Сейчас, перебирая мысленно все подробности встречи, он вспомнил, как робко и нерешительно вел себя с первой минуты Байбол, сколько было в его глазах надежды и смятения, тоски и отчаяния. А он, настроясь на шуточный лад, не сумел сразу перестроиться, когда прозвучал этот неожиданный и показавшийся ему смешным вопрос: «Вы не знаете Актеге из Казахстана?»

Поезд мчался все быстрее. Уже остался позади вокзал, а перед его глазами неотступно стоял смуглый мальш, который, казалось, с обидой и недоумением спрашивал: «Что ты, взрослый человек, нашел смешного в простом вопросе?» И от легкого настроения, навеянного беседой с веселыми мальчишками, не осталось и следа.

«Интересно, остановится поезд на обратном пути на этой станции?— думал он с тревогой.— Хорошо бы еще встретиться с этими ребятами. А если не остановится? Или сделает остановку в такое время, когда детей там не окажется?» Самое главное, чтобы поезд постоял там хоть пять минут. Тогда Берден непременно разыщет кого-нибудь, кто рассказал бы ему историю Байбола. Может, он сумеет чем-то помочь мальчику...

* * *

Не имевший четкого графика движения, поезд «Казахстанец» на обратном пути надолго застревал на какой-нибудь станции, пропуская встречные скорые пассажирские поезда, или мчался на всех парах, чтобы не задерживать товарняки с важным грузом, спешившие следом.

Берден обрадовался, узнав, что поезд на памятной ему станции остановится и простоит там целых двадцать минут.

Едва поезд подъехал к станции, как Берден прыгнул и чуть ли не бегом бросился к вокзалу. Быстро обошел маленькое здание, выбрал пожилого казаха в форме железнодорожника и поздоровался с ним. После взаимных приветствий Берден назвал себя, после чего они, как давние знакомые, расспросили друг друга о житье-бытье. Железнодорожник оказался человеком на редкость доверчивым и простодушным. Когда Берден заговорил о встрече с мальчиком, он не насторожился, как это бывает с людьми подозрительными, а с готовностью поддержал разговор. Они прошли к длинной скамье в конце зала, чтобы их беседе никто не мешал.

— Выходит, ты не чужой. Так-так. Что ж, это хорошо,— приветливо улыбнулся железнодорожник. Сняв форменную фуражку с кокардой, он по привычке почесал свою крупную, обритую наголо шишковатую голову.

— Надо же! Ну и народец эти дети, я вам скажу. Не забывает ведь, а?— покачал он укоризненно головой.

Берден понял, что это относится к Байболу, но виду не подавал, ждал, что будет дальше.

— Э-э, брат Берден, вот как выходит в жизни.— Железнодорожник, задумавшись, помолчал с минуту.— Отец его мне родственником близким приходится,— вздохнул тяжело.

— Отец Байбола?— спросил Берден, хотя уже точно знал, что речь о нем.

— Да.

— Он что, здесь живет?

— Да, на этой самой станции. Тут же на дороге и работает.

— А Актенге — его мать?

— Мать, мать,— нехотя промолвил железнодорожник.— Он ведь не первого тебя спрашивает.

— Она, наверное, уехала куда-то? А где она сейчас живет?

— Уехала. Когда еще. Тому уже пять-шесть годов прошло. Вот не знаю только, где она сейчас... Если человек, грешным делом, начнет блажить, то его трудно остановить. Бес ее попутал или худой человек с толку сбивал, но так вот случилось у них. А то ведь жили не лучше, но и не хуже других, и дальше жить могли,— с сожалением сказал железнодорожник.

Времени оставалось в обрез, и Берден нетерпеливо забросал его вопросами:

— А как они расстались? Что послужило причиной? По чьей вине? А женщина эта из здешних? Как они вообще поженились?

На железнодорожника торопливые его вопросы не оказали должного действия, он все так же сидел, уставясь перед собой, и не спешил с ответом.

— Как расстались? Обыкновенно,— вяло проговорил он. Он, видимо, раньше не задумывался над этим и только сейчас впервые пытался докопаться до причины развода. Помолчав немного, задумчиво произнес:

— Девушка была не из этих мест. А парень — единственный сын одного из наших уважаемых аксакалов.

Уважали его, конечно, не за богатство, не за чин высокий, как было в старину. За старость, за доброту его, за опыт жизненный. Парень отслужил, вернулся, говорит: «Учиться поеду». Ну, бедный старик расстарался, достал денег, отправил его. Видно, не судьба была парню стать ученым, вернулся осенью, не вышло у него с институтом. Да не один вернулся, а с невестой. Она тоже поступала учиться, приехала из каких-то дальних мест и не прошла. Нынешней молодежи что? Ей море по колено. Где ее аул, а где наш? Так нет, понесло ее к нам.— Железнодорожник умолк, наверное, прикидывая в уме, какое расстояние разделяет аулы. Судя по тому, как округлились его глаза, а брови поползли вверх, представилась ему даль невообразимая, так что он в изумлении зацокал языком.

— Ну сейчас расстояния — не помеха,— сделал попытку вернуть его к разговору Берден.

— Так-то оно так,— легко согласился его собеседник.— Ну вот... кхм,— прокашлявшись, он достал из кармана платок, выморгался и продолжал.— Ну вот. Никто ее не спрашивал, откуда и зачем она явилась. Раз прибыла, то устроили шумный той, порадовались счастью молодых. Отправили ее родным письмо. Так, мол, и так, породнились с вами. Родных-то у нее — только мать одна. Наверное, дочка даже не сообщила ей, что замуж собралась. Да, что там говорить! Ребячество одно! Отправилась учиться — оказалась замужем. Ладно, это рассказывать... Ты же не в гостях сидишь, чтоб не торопясь все это выслушать, разве не так, брат мой Берден?

— Разумеется, агай! Поезд тронется, придется бежать.

— Конечно это не подвода твоя, чтобы взять и распрячь, да сидеть сколько надо. В общем, браток, суть вот в чем. Месяца через три после свадьбы приезжает к нам в аул наша сватья. Нехорошо человека чернить за глаза, но, да простит мне бог, у кудаги нашей оказался чертовский характер, уж до того вздорная баба, слов нет. А уж мы стелились перед нею! Как же — издалека гостья, да и обычай наш привечать сватов — обязывает. Вот и угождали, как могли. А она ничего этого не ценит. Такое тут стала вытворять. И то не по ней, и это, городит всякую всячину. Зять им, видите ли, не ровня. И народ ей не нравится будто бы, и земля наша не по душе...

— А что, у парня есть какой-то недостаток?— осторожно спросил Берден.

— Да нет, мы как раз считали его лучшим среди джигитов.

— Тогда сватья ваша поступила опрометчиво. К тому же дочь ведь ее вышла замуж по своей воле?

— Да я ведь то же самое говорю. Как можно охавать землю, народ? Это же свято... Прошел месяц, куда-ги стала собираться домой и заявляет нам, что дочку свою заберет с собой. А в дочке ее, как выяснилось, кроме красивой наружности, ничего не было. Она же мало что в жизни видела, а какое воспитание могла дать ей эта вздорная баба? Вот она стала метаться. То мать послушает свою — домой засобирается. А то вдруг остаться надумает. То одно говорит, то другое, всю семью старика заморочила. Ну мы тут всем миром навалились, насели со всех сторон, уговорили-таки. А кудаги, чтоб не ерепенилась, одарили щедро, снабдили дорожными припасами, проводили с почетом.

— Правильно вы сделали,— одобрительно кивнул Берден.

— В тот раз мы ее уломали,— без всякого воодушевления отозвался железнодорожник.— Ладно. Так вот, на следующий год родился у них этот самый Байбол. Сватья потом каждый год стала наезжать. Как ни приедет, опять заводит разговор, чтоб дочку забрать. Взбаламутит всех. Между тем у аксакала нашего старуха померла. У келин уже двое малышей народилось. Вот когда она свою вторую родила, мать снова наведальась и прямо так говорит зятю и дочке: «Я одна, сейчас здоровья у меня нету. За мной уход нужен. Переезжайте жить ко мне». «Раз так, то вы переезжайте сюда, к нам поближе. Как я брошу отца одного? Куда его на старости лет поташу? Разве он согласится в таком возрасте покинуть родной аул?»— объясняет ей зять. А теща ему: «Да разве это земля? Я тут ни за что не соглашусь жить». Келин тоже будто непрочь уехать из этих краев, угрожает мужу: «Если ты не можешь оставить отца, то и я не могу бросить больную мать одну. Уеду без тебя». Джигит, загнанный в тупик, советуется с отцом. Тот, конечно, расстраивается: «Я одной ногой в могиле стою. Что ж ты заставляешь меня перед самой смертью скитаться на чужбине? Сколько я еще протяну? Вы уж похороните меня возле моей старухи, а потом можете ехать куда хотите».

После этого джигит твердо стоит на том, чтобы не переезжать. Да и то, мужчина он или не мужчина? Мы

тоже его поддержали. Келин тут разозлилась вконец. «Разведусь,— говорит.— Заберу детей и уеду с матерью». Уперлась на своем. Знал бы ты, как старик переживал, когда услышал, что она детей заберет. Обратился к нам. «Народ мой, помоги. Отдайте ей все, что она пожелает, только пусть она Байбола не забирает». Рыдает, как малый, слезы по бороде бегут.

Берден представил, как плачет аксакал, вздрогнул, пробормотал с жалостью:

— Несчастный старик...

— Пусть земля ему будет пухом, такой это был замечательный человек,— с грустью сказал железнодорожник.— У старика две верблюдицы были дойные с верблюжатами, срочно свели их на базар, продали. Потом мы всем аулом в ногах у них валялись, упросили оставить Байбола. В то время ему лишь четвертый годок пошел. Видишь, какая память оказалась. Помнит, ищет ее. Для ребенка, конечно, лучше родной матери не бывает. Плохая или хорошая, но нет для него никакого дороже ее.

В эту минуту раздался голос дежурного по вокзалу, гнусавой скороговоркой объявившего, что поезд отправляется через три минуты.

Берден быстро вскочил, попрощался с новым знакомым:

— Ну, всего доброго, агай. Спасибо вам за рассказ. Будьте здоровы.

— Счастливого пути, браток. Желаю тебе благополучно встретиться со своими.

Берден поспешно зашагал к своему вагону и тут увидел на перроне тех, с кем уже и не чаял встретиться. К счастью, среди ребят был и Байбол. Он все озирался, словно надеялся высмотреть кого-то в толпе пассажиров. Берден окликнул мальчишек, те узнали его, сорвались стайкой, подбежали. Зашумели, дружно выкрикивая приветствия. Чуть поотстав от них, подошел Байбол, поздоровался, пряча глаза. У Бердена сжалось сердце, когда он увидел, как серьезно и печально лицо малыша. Неужто этот несмышлениш способен на глубокое страдание? Как в таком возрасте можно постоянно помнить о своем горе? Нет, надо, непременно надо хоть чем-то порадовать мальчишку. Но чем? Если бы что-то от него зависело... Ему самому полегчало бы, если бы он смог доставить мальчонке хоть минуту радости. Подарить ему что-то надо. Но что? Берден обвел глазами киоски, но

ничего стоящего на витринах не обнаружил. Поезд вот-вот тронется. Может, дать малышу денег, чтобы он купил себе что-нибудь? Да нет, неудобно. Ага, нашел! Берден быстро полез во внутренний карман пиджака, вытащил трехцветную шариковую ручку.

— Байбол, милый, ты очень славный мальчик. Можно, я подарю тебе это на память? Учись хорошо, ладно?

Он протянул ребенку ручку и погладил его по голове.

Байбол медлил, не зная, принять ему дар или отказаться. Лицо его выражало крайнее удивление.

— Бери, айналайын, это тебе. Ну же...

Медный колпачок ручки сверкнул на солнце. Мальчик протянул руку, взял подарок, и лицо его порозовело от удовольствия, глаза засветились радостью. Берден облегченно перевел дух и бросился догонять отходящий поезд. Уже в вагоне он выглянул в окно и увидел, как, прощаясь, неистово машут ему руками мальчишки, как, растерянно улыбаясь, стоит среди них Байбол с его подарком, потом, опомнившись, тоже машет ему, и закивал в ответ.

Станция осталась позади. Поезд набирал скорость. Берден прошел в купе, сел, и перед ним снова возникло лицо Байбола, возникло таким, каким оно было в ту минуту, когда он спрашивал: «Вы не знаете Актенге из Казахстана?»

Берденом овладела безысходная тоска, словно он повинен в безутешном горе мальчишки. «Да, делать нечего», — пробормотал он.

Его из оцепенения вывел натужный гудок тепловоза, который, казалось, отчаялся одолеть безбрежное песчаное море. За окном, насколько хватало глаз, набегая друг на друга, пронеслись волнистые гребни барханов.

МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ ТОЙ ПЕСНИ

Миновала середина лета. Полынная степь побурела, а на заливных лугах зелень подернулась легкой, словно наспех нанесенной желтизной. В эту пору дожди здесь выпадали редко. Да и откуда им было взяться в самый разгар июля.

На Таскудуке, где недавно закончили сенокос, расположился небольшой аул. Одна из пяти-шести юрт, поставленных как придется, принадлежала чабану Абильде.

Дня два назад на краю долины, в стороне от аула, возле старого загона появились еще две юрты.

Вначале Абильда решил, что прикочевали чабаны соседнего совхоза, издавна делившие с ними пастбища, и не придавал событию никакого значения. Но уже вечером от кого-то, кто успел их навестить, он узнал имена новоселов и разволновался. Теперь беспокойство не оставляло его ни днем, ни ночью. И еще какое-то чувство тревожило его. Непохоже, чтобы это была радость.

Он знал: так бывает, когда наткнешься на вещь, которая дорога как память о счастливых днях.

Со вчерашнего дня у Абильды не раз возникало желание сходить к новым соседям, да повода не находилось. Хотел пригласить новоселов на ерулик, но решил, что надо повременить, пока кто-нибудь другой не пригласит их первым. Жена непременно упрекнула бы: «Что, молодость свою вспомнил?»

Было жарко. К полудню у Таскудука появились стада. Абильда завел мотор и наполнил водой длинный цементированный желоб — поилку для овец.

Ни дуновения ветерка. От духоты кружится голова.

К тому же тысячи копыт подняли над площадкой у колодца густую пыль, и она зависла неподвижным плотным облаком. Вдохнешь воздух и чувствуешь солоноватый вкус земли.

С трудом управившись с водопоем, Абильда отогнал отару на выпас, а сам вернулся к колодцу освежиться и немного отдохнуть. Не успел он ополоснуть лицо холодной водой, как за спиной звякнуло ведро, пронзительно вскричал верблюд, и женский голос, уговаривая его, произнес: «Шек-шек». Абильда резко повернулся и встретился с внимательным взглядом. Смотрела женщина средних лет, полная, белолицая. Эти миловидные черты лица были ему хорошо знакомы.

— Балаим?

— Да это же Абильда! Родной ты мой! Как ты, жив-здоров?

Она бросила поводья мальчику лет шести-семи, что топтался возле верблюда, быстро подошла к Абильде, с чувством пожала ему руку. Абильда, ошеломленный радостью, тепло улыбаясь, разглядывал женщину. С удовольствием отметил в ней спокойную уверенность и не утраченное с годами изящество в движениях. Да, она была все еще хороша собой. И женщина пристально смотрела на изрезанное морщинами лицо Абильды, темное от загара, на поседевшие виски и ставшее тшедушным тело, словно искала в этом немолодом человеке сходство с приветливым и ласковым джигитом, который когда-то увлек ее горячим чувством.

— Постарел ты,— сказала она сочувственно после долгого молчания.

— Ех-хе, в этом мире многое совершается против нашей воли,— с легкой грустью вздохнул Абильда.— Это твой младшенький?

— Да, старший в городе учится.

— Я слышал о вашем приезде, но, к стыду своему, никак не соберусь поприветствовать вас.

— Ничего страшного. Мы ведь недавно тут, только только успели развязать узлы и прибраться. Даже колодец еще не вырыли, видишь, воду возить приходится.

Абильда помог наполнить две фляги, навьюченные на приземистого черного верблюда-атана¹. Балаим попрощалась, посадила мальчика на верблюда, взяла поводок и пошла по тропинке к своему аулу. Еще долго

¹ А т а н — выхолощенный верблюд-самец.

белел ее платок вдаль, а он стоял и смотрел ей вслед. И вспомнилось ему давнее и почти забытое. Перед глазами в который уже раз возникала пароконная телега, на которой уезжала, поминутно оглядываясь, молодая женщина в желтом платочке.

Сердце вдруг зануло. А ведь с тех пор прошло ни мало ни много два десятилетия.

* * *

Это были первые послевоенные годы. Молодой лейтенант Абильда демобилизовался из армии и вернулся в родной аул. Ему тогда едва перевалило за двадцать пять. Да, то была пора чудесной молодости с ее благими порывами и увлечениями. Перед самым призывом на фронт его стареющие родители настояли, чтобы он взял в жены дочь старинных знакомых. «Будет нам утешением и опорой без тебя»,— сказали они. Когда Абильда вернулся, жена работала продавщицей в магазине.

Через несколько дней Абильду вызвали в район: «Ты ведь секретарем был в сельсовете? Работа тебе знакомая. Так что будешь председателем аулсовета!» Так он получил назначение в свой колхоз «Жанажол».

Балаим со своей матерью появились в колхозе «Жанажол» в конце зимы. Они были родом из этого аула. Брат ее Сейдильда перед войной работал в райцентре директором средней школы. Там же в первый год войны выдал свою сестру замуж. Вскоре и Сейдильда, и муж Балаим ушли на фронт, и оба не вернулись. Мать Балаим решила переехать из райцентра в свой аул, чтобы жить среди родни.

Балаим окончила десятилетку, работала несколько лет в районных учреждениях, неплохо знала делопроизводство. Абильда предложил ей место секретаря аулсовета. На другой день в комнате напротив библиотеки у самого порога за стареньким столом и сидела юная женщина — новый работник аулсовета. Чувствовалось, что конторская служба ей не в новинку. Первым делом она привела в порядок бумаги. С ее приходом в запущенной комнате стало больше чистоты и уюта. Такое начало пришлось по душе Абильде. Он не разглядывал молодую женщину, мельком здоровался и уходил к себе. В тот день в контору зачастили посетители. Некоторые даже нашли повод побывать в кабинете по нескольку раз. На людях Абильда и вовсе не смотрел в ее сторону. К кон-

цу рабочего дня посетителей поубавилось. Абильда облегченно вздохнул, откинулся на спинку стула и с любопытством посмотрел на нового секретаря.

Она была еще совсем молодая, держалась неприужденно, с достоинством. Почувствовав взгляд Абильды, она оторвалась от бумаг и повернулась к нему. На белом лице мягко лучились огромные черные глаза. Из-под платка, завязанного на затылке, змеясь, падала до щиколоток толстая коса. Абильда почувствовал, что забылся, заглядевшись на молодую женщину, с трудом стряхнул с себя оцепенение и попросил подать первую пришедшую на ум бумагу.

* * *

Пришло время жатвы. На уборку урожая в колхозе вышли все от мала до велика. Балаим тоже работала в поле. Однажды около полудня приехал на поле и Абильда.

Пшеница в тот год уродилась богатая. Полновесные колосья гнулись к земле, ходили тяжелыми волнами. Под жарким солнцем стебли пшеницы до самого корня отливали темным золотом. Народу в поле собралось много: в большинстве своем это были девушки и женщины.

Смотришь с коня — они кажутся вспыхивающими там и сям яркими головками мака. Жниц друг от друга разделяет метров двадцать. Солнце палит нещадно. Духота невозможная. Среди желтой нивы, сомкнувшейся на горизонте с небом, нет и пяточка тени, где можно было бы укрыться от солнца. А между тем на всем поле не найдешь ни одного человека, который бы присел отдохнуть.

Балаим председатель увидел в первых рядах. Поздоровался с ней мимоходом. Разыскал учетчика, расспросил, как идет жатва. В конце разговора парень взмолился:

— Вы же еще побудете здесь. Можно, я съезжу на вашем коне в аул? Председатель колхоза собирался в район, а мне надо непременно повидаться с ним перед отъездом.

— Поезжай.

Абильда пешком обошел жнецов. Приближался обеденный перерыв, а учетчик не возвращался. Абильда вспотел, хотел пить. Он расстегнул гимнастерку, снял ремень. Дошел по краю поля до Балаим, присел:

— Пить хочется, сил нет.

— А там, под снопами, у нас есть кислое питье,— сказала Балаим и принесла бурдюк. Спрятанный под снопы рано утром напиток был прохладным. Абильда залпом выпил целый тостаган, и на лбу его выступили крупные капли пота.

— Уф,— перевел он дух.

— Пейте еще.

— Спасибо. Напился.

Балаим крепко затянула отверстие бурдюка, отнесла его на место и снова принялась за работу. Ее пестрое ситцевое платье промокло от пота и обтягивало тело, подчеркивая каждый его изгиб. Голенница стареньких сапог плотно обхватывали икры ровных и крепких ног. На голову повязала желтенький платочек. Косы собраны тяжелым узлом на затылке. Выбиваются из-под платка непокорные пряди, липнут к потному лбу, вискам, шее. Время от времени женщина, выпрямившись, оттирает рукавом пот со лба и бросает взгляд в его сторону. На тугих щеках играет румянец, в глазах ласковая усмешка, взгляд прямой и открытый.

Она слегка запыхалась от работы, и ее упругая грудь тяжело вздымается при каждом вздохе, подрагивает от резких движений, невольно притягивая взгляд. Верхняя пуговица на платье расстегнута, и под вырезом белеет полоска нетронутой загаром кожи.

Абильда и сам не заметил, как залюбовался статной красавицей. Так и смотрел бы на нее, не отрываясь.

— Балаим, дай-ка мне свой серп. Отдохни немного.

— Лучше посидели бы.

— Давай, стыдно мне будет уехать, не потрудившись хоть немного,— пошутил он.

— Тогда я пока буду вязать снопы,— сказала Балаим и принялась вязать снопы заготовленными заранее клеверными жгутами.

Абильда уже через несколько минут весь обливался потом. Он снял гимнастерку, бросил на снопы. Некоторое время увлеченно работал, но вскоре свело от усталости руки.

— Вы, наверное, устали с непривычки. Поначалу всегда трудно,— подошла к нему Балаим,— ну-ка, дайте мне серп.— Она, нежно и насмешливо щурясь, протянула руку, и он вернул ей серп. Заметив, как потрескалась кожа на ее длинных и тонких пальцах, а возле ногтей появились заусеницы, он ласково взял ее руку.

— Смотри, потрескались...

— Ничего, закончится жатва, все заживет.

Она не отняла руки. Абильда заглянул в ее глаза, она смотрела вопросительно, будто ждала, что он еще скажет. Над бровью прилип клеверный листок. Он осторожно снял его пальцем.

— Отпустите!— она тихонько высвободила пальцы.

Абильда присел на снопы,

— Как живется, Балаим?

— Слава богу, неплохо.

— Мама здорова?

— Уехала к старшей дочери. Уже должна бы вернуться. Боюсь, не заболела ли.

В это время учетчик привел коня. Абильда отряхнулся, надел гимнастерку, поправил седло на коне, подтянул подпруги. Повертелся еще немного. Уезжать не хотелось. Он все поглядывал на Балаим, пока она наконец не спросила:

— Ну что, поедете?

— Да... Балаим...— Он порывался что-то сказать, но внезапно замолк, полез в карман за папиросами. Достал пачку «Прибоя», вытянул одну, прикурил.

— А в поле курить не разрешается,— сказала Балаим лукаво.

— Ах да, я забыл.— Он бросил папиросу, старательно втоптал ее в землю.

— Балаим... я вечером зайду к вам.

Женщина, низко опустив голову, молчала. Что-то несветлое мелькнуло в ее лице. И вся она как-то сразу поблекла, увяла.

— Почему ты молчишь, Балаим?

— Нет, Абильда... Лучше не приходите.

Балаим сказала так и отвернулась. Джигит тоже вдруг погрузился, поник. Он-то знал, что испытывает к этой женщине не только сочувствие. Нет, все гораздо серьезней.

* * *

Ночь выдалась безлунная. Было так тяжело и душно. Воздух словно загустел от мошкары. Назойливый звон комаров действовал на нервы. Абильда, стреножив коня, выпустил его на клевернице и возвращался домой.

Вот и окраина аула. Тут проходит боковая улочка.

Абильда остановился, чтобы прикурить, а закурив, остался стоять. Взгляд его был прикован к крайнему домику. Тот низенький домишко не был окружен, как другие дома в ауле, дворовыми постройками. Не было возле него ни стожка, не чернела скотина. Такой он был одинокий и сиротливый. Светилось низкое, почти вровень с землей, окошко. И такая неодолимая сила влекла его к этому дому, что он не мог уйти. Подойти он не отважился, стоял в стороне и мучился сомнениями. Помаившись еще с полчаса, он быстро прошел мимо окна к двери. Тут смелость снова оставила его, и он потоптался под дверью, не решаясь постучаться. Вернулся к окну, заглянул в щель между занавесками. Балаим сидела, прислонившись к печурке, и что-то шила. Волосы она заплела в две косы. Платок лежал на плечах. На ней было то же платье из пестрого ситца, что и днем. Белели до колен ноги.

Он шагнул к двери, постучался.

— Кто там?

— Это я. Абильда.

— Абильда?

Она замолчала. Дверь не открывалась. Абильда растерялся. Что-то больно стеснило грудь. Он помолчал немного, потом подавшись вперед, сказал первое, что пришло на ум.

— Балаим, я должен сказать тебе что-то.

За дверью было тихо. Молчание становилось невыносимым. Хоть бы слово сказала в ответ. «Вдруг она ушла?»— испугался он и снова позвал шепотом:

— Балаим!

Звякнул крючок. Абильда потянул за ручку, и дверь со скрипом отворилась. Он переступил порог и замер. Балаим, прислонившись к косяку, смотрела на него.

— Зачем это?— спросила она испуганно.

В сенях было темно, только из приоткрытой двери в комнату сочился слабый свет. Он схватился за косяк и коснулся нечаянно ее руки. Рука была холодной. Смутьившись, он заспешил на свет. Вошел в комнату и присел на стоявший в углу сундук у дверей. Балаим вошла следом, встала, прижавшись к подпорке посреди комнаты.

У передней стены на полу приготовлена узкая постель. Возле печки лежит рукоделье с воткнутой наспех иглой, а рядом — целый ворох разноцветных ниток. У него сжалось сердце от скудного убранства комнаты. У боковой стены на сколоченной из старых досок лавке

сложены постельные принадлежности. Висит на гвоздях верхняя одежда. Больше в комнате ничего нет. Только на окнах новенькие занавески. Лампа-семилинейка льет тусклый розоватый свет, освещая убогое жилище.

— Что это значит? Зачем вы пришли?— сказала дрожащим голосом Балаим.

Он заметил печаль в ее огромных глазах. Винула ли она его, или ей было горько и обидно за одинокую свою судьбу?

Абильда с трудом выговорил:

— Балаим, ты не думай, что я обнаглел, лезу напролом, раз ты вдова... Я знаю, что ты не какая-нибудь вертихвостка. У меня и в мыслях не было...— Он смешался, замолчал. С ужасом подумал: «Что я такое несу? О чем я?» Его бросило в жар. Сгорая от стыда, он уронил голову, готовый убить себя.

Балаим посмотрела на него. Было что-то трогательное в его покорной и робкой позе, в жалком выражении густо покрасневшего лица. Она относилась к нему с симпатией. Когда и как возникла симпатия, Балаим и не знала. Возможно, теплое чувство к Абильде жило в ней с первого дня знакомства, а может, возникло только что. Ей всегда нравилось, когда этот светлолицый джигит с непокорными черными вихрами смотрел на нее. С тех пор, как она приехала в аул, не было для нее ближе человека, чем Абильда. И сейчас она ощущала трепет. Что-то заставляло ее сердце тревожно колотиться. Страх или радость? Счастье или беду сулит ей эта встреча? Она так устала от одиночества, ей опостылела эта серая жизнь без тепла, без ласки. И сейчас в ней проснулась надежда, что должно что-то измениться, что не все еще потеряно.

Абильда так и сидел, устремив неподвижный взгляд в земляной пол. Черные пряди волос упали на широкий лоб. Она подошла к нему, отвела руками волосы со лба, прислонилась головой к его голове. Волосы его пахли солнцем.

Абильда крепко обнял ее, прижался лицом к груди...

Шла осенняя стрижка овец. Абильда был на пункте стрижки, когда за ним примчался бухгалтер из сельсовета.

— Там уполномоченный из района прибыл. Ждет тебя в колхозной конторе,— сказал он Абильде.

Как раз в аул отправлялась телега, груженная шерстью. На ней Абильда и добрался до конторы. Уполномоченный встретил его неприветливо. Не ответив на приветствие, он сразу начал выговаривать.

— Ты садись, Абильда. Мы считали, что ты один из лучших джигитов в районе. Ценили тебя, деловой, мол. А ты что тут воду мутишь?

Абильда сразу сообразил, о чем тот говорит. Молчал, а на душе было скверно. Будто раздели его донага и выставили на позор.

— Мы, понимаешь, доверили им ответственную работу. А они вот что вытворяют. Если на то пошло, то найти на твое место другого — раз плюнуть. Давай, кончай. Заявления на тебя пишут всякие. И чтоб с той женщиной у тебя впредь и разговору не было.

Уполномоченный некоторое время напускал на себя строгость, потом по-дружески посоветовал:

— Других радостей, что ли, не хватает? Ты же на ответственной работе. На тебя люди смотрят.

Абильда вышел из конторы подавленный, осунувшийся от тяжелого разговора. Мысли разбегались в разные стороны. Он чувствовал себя загнанным в тупик. Куда идти, что делать — ничего не соображал. Долго стоял перед конторой, обдумывал случившееся, но так ничего и не придумал. Он еле прилепился к Балаим, рассказал о беседе с уполномоченным. Насилу заставил себя вымолвить: «Прости, мы никогда не сможем быть вместе».

Балаим молчала. Не упрекнула, не заплакала.

Все терпеливо выслушала, потом подняла полные слез глаза и сказала:

— Прощай.

Абильда ушел. В голове засело одно: «Все кончено». Он произнес эти слова вслух и испугался. В нервном ознобе повторял про себя: «Неужели все действительно кончилось?» Тогда он никому в этом мире не нужен, он лишний среди людей. Сознать это было так больно, что на глазах выступили слезы. Сейчас бы ему никого не видеть и не слышать. И вообще исчезнуть бы бесследно с лица земли.

С этим сумбуrom в голове он не догадался послать кого-нибудь на выгон за своим конем. Ушел снова на пункт стрижки пешком, хотя расстояние было неблизким. Прямо в лицо ему светило солнце. Но он не замечал ни жары, ни жажды, от которой пересохло в горле. С утра у него не было и маковой росинки во рту. От голода, а

может, и от жары накатывала дурнота. Однако он и на это не обращал внимания. «Пусть», — твердил он со злостью и шел вперед. Запустил руку в карман, вытащил пачку и хотел было закурить. Она оказалась пустой, как пуста была его душа.

Прошло время, и в ауле пронесся слух, что Балаим выходит замуж за вдовца — заведующего фермой. Слух подтвердился.

На прощальный вечер Балаим пригласила соседей и своих ровесников. Народу собралось много. Явился и Абильда. Для тех, кто не уместился в доме, пришлось постелить кошму во дворе.

Абильда то и дело посматривал на Балаим, но та ни разу не взглянула в его сторону. Хлопотала по хозяйству ухаживала за гостями. Абильда был невесел. Он не принимал участия в застольной беседе, не прислушивался ни к теплым пожеланиям, ни к словам благословения, которыми гости так и сыпали. Пил наравне со всеми, и в разгаре вечеринки вовсе загрустил, чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Он откровенно следил взглядом за Балаим. Войдет ли она, выйдет ли — он не сводит глаз.

Кто-то затянул песню. Директор местной школы-семилетки Сапа сыграл несколько раз на сырнае. Подали горячее, а когда мясо было съедено, Сапа пристал к Балаим, чтобы она спела напоследок для своих друзей. Балаим хорошо пела. Абильде страстно захотелось услышать ее песню. К счастью, просьбу Сапы подхватили другие.

— Правильно. Это же твой праздник. Почему бы тебе не спеть?

— Теперь мы не скоро услышим твой голос.

Балаим подседа к женщинам у нижнего края дастархана. О чем думала женщина, сказать трудно, но она пела и, не отрываясь, глядела на Абильду. За весь вечер она впервые обратила на него внимание. Песня началась с высокого, открытого звука. Балаим красивым и печальным голосом выводила:

Когда звала тебя, не шел, все отводил свой взгляд.
В разлуке нашей, милый мой, не сам ли виноват?
Печали воли не давай, ведь жизнь не вся прошла.
Надежду в сердце сбереги — и все пойдет на лад¹.

¹ Перевод стихов Л. Степановой.

В голосе ее слышалась едва заметная дрожь. В бездонных глазах светилась глубокая тоска. Абильда отвел взгляд, он не мог смотреть на нее в эту минуту. «Это для меня. Обо мне ты сейчас поешь»,— подумал он. Подумал и совсем сник.

Гости, прощаясь, начали расходиться. Вместе со всеми вышел и он. Долго бродил, как потерянный. Ночью не мог уснуть. Ворочался, вздыхая тяжело. И жена не спала. Он попросил воды.

— Может, соли для тебя развести,— горько сказала она, не шелохнувшись.

Рано утром он поехал на луг к косарям. Вернулся после обеда. Подъезжая, увидел, как из аула резво выкатилась пароконка с небольшой поклажей, сложенной посередине возка. Впереди сидел мужчина в форменной фуражке табачного цвета, а рядом примостилась женщина в желтеньком платочке.

Абильда остановился как вкопанный. Пока телега, перевалив за холм, не исчезла, он не тронулся с места. Женщина, возможно, надеялась, что он догонит, чтобы попрощаться, и все время оглядывалась, пока не скрылась с глаз. А он в каком-то затмении повернул коня и поехал назад. Очнулся от лая собак и увидел снова аул косарей.

«Я ведь только что отсюда, зачем я вернулся?»— удивился Абильда. Он подстегнул коня и пустился в обратный путь. Вблизи от аула поднял голову, огляделся. Конь как раз пересекал большую дорогу. На ней четко отпечаталась колея от пароконной телеги. Он резко осадил коня. Долго всматривался в перевал, за которым скрылась телега, в белесую даль, будто надеялся вернуть безвозвратно потерянное. В мире для него больше не было ни радости, ни утешения. Он был неудобным, как большая, пустая холодная комната. И не отдавая себе отчета, Абильда ринулся по дороге к перевалу. Он ни о чем не думал и ничего не чувствовал, кроме тугого встречного ветра. Не заметил даже, сколько проскакал. Вдруг он ощутил, что конь его, весь в пене, хрипя, поднимается вверх по склону.

«Неужто они уже дома?»— мелькнуло в голове. Тут его конь остановился на вершине холма. За холмом открывался большой аул. В это самое время пароконная телега въехала в аул и запетляла меж домов. Балаим как будто почувствовала, что он рядом, на холме, обернулась назад. Посмотрела в последний раз. Она сняла

платок с головы, взмахнула им. Непонятно было, может, перевязала она платок заново, но ему хотелось верить, что она махнула, прощаясь с ним. В глазах затуманилось. «Эх, жизнь!» — выдохнул он. Слова эти поднялись из глубин его сердца, вывороченные какой-то страшной силой вместе с корнями...

Потом он долго не находил покоя, мучился, тосковал. Иногда выпьет, расчувствуется и поет со слезами: — Зачем расстался я с тобой, моя любимая...

* * *

Женщина, ведущая в поводу верблюда, уходит по широкой равнине все дальше. Уже и силуэт ее размыт миражами. А Абильда все стоит и смотрит ей вслед.

За много лет после того наполненного счастьем лета он увидел Балаим впервые.

ЧЕМБУР

Только в конце мая и можно увидеть этой край в полной его красе. Быстро распускаются тюльпаны, ирисы и маки, чтобы отцвести, облететь за считанные дни. Не дует в степи ветер, не донимают дожди. До июльского зноя далеко, и погода стоит чудесная. Льет с высокого небосвода и ласковый свет, прогревает землю, и она цепенеет в сладкой истоме. Красота и приволье вселяют радость, благодушие и спокойствие.

В такую вот пору на полынной равнине, пересеченной двумя сомкнувшимися углом пологими барханами, один из которых тянется на запад, а другой — на север, обосновался большой аул. Обширное это пространство называлось долиной Жайлаукудука.

Солнце поднялось над горизонтом довольно высоко, но утро джайляу еще дышит прохладой. Чистый и свежий воздух бодрит тело, веселит душу. Нежится степь, купается в расцвеченных солнечными лучами воздушных струях, сверкает всеми красками. Над аулом прозрачной дымкой зависла пыль, поднятая прошедшим недавно стадом. Дымка расползается, тает на глазах. Стада еще виднеются вдали, скользят к дальним пастбищам. Тянутся в разных направлениях от аула вереницы коз и овец. Несколько верблюдов, важно переставляя ноги, уже спустились к зарослям колючек в низине за аулом, дру-

гне медлят, лениво вытягивают шеи и по-прежнему остаются там, где хозяева стянули с них узду, отправляя на выпас. Верблюжата, привязанные в тени на площадке для молодняка, волнуются от их близости и кричат, призывая маток. Медленно удаляется стадо коров. Щелкая суставами, тяжело ступают коровы, направляясь к круглой ложбине с высокой травой, но вдруг круто забирают в сторону и устремляются резкой рысцей к клеверному полю. Никто и ахнуть не успевает, как раздается крик охранника Жупарбая. Вот он, без жалости прищпоривая худого рыжего мерина под собой, скачет им наперерез.

— Ой! Да чтоб отец твой!.. Разве это скотина! Истребить бы всех до единой, чтоб им подохнуть! Ай-ай-ай, назад!

На склоне крохотного огороженного распадка резвились отлученные от маток ягнята и козлята. От истошных воплей Жупарбая они ринулись в панике в глубину загона, сбились тесной кучей.

Легкие на подъем, аульские псы всполошились разом, залаяли наперебой, вынеслись всей сворой за околицу, но при виде скакавшего тяжелым галопом всадника разочарованно умолкли: «Ах, да это же Жупарбай» и разбрелись кто куда. После этой привычной утренней суматохи аул затих.

Выпроводив скотину на пастьбу, жители аула, как обычно, расходятся по домам. Перед каждой юртой начинает дымиться самовар.

Большая серая юрта старика Серали — пастуха колхозных коз — стоит в центре аула. В этот час козы на лугу перед аулом шиплют травку, а сам Серали неторопливо пьет чай вместе с женой да поглядывает в открытый дверной проем на свое стадо. В глубине юрты посапывают спящие в одной постели ребяташки.

Выглянув в очередной раз наружу, Серали заметил, что со стороны центральной усадьбы появился верховой, стал гадать, кто может приехать в аул в такую рань.

— Э, да это, никак, Байжигит едет.

— Он самый, — подтвердила его жена Калима. — Келин вчера говорила, что он в центр уехал. Кто-то там будто бы сына женит, так он на свадьбу подался.

— Ох, и любит же он гулянки. Небось, перебрал там основательно. Глянь, как его развезло.

— Как же ему, дурню этакому, быть на свадьбе да не напиться.

Они словно были недовольны гостем. Но говорили то-

ном, в котором не было осуждения. Вряд ли они испытывали к нему неприязнь. Лица их не выражали ничего, кроме добродушия.

— Сюда завернул. Теперь рассядется тут и начнет болтать, людей отвлекать от дела, — незлобливо ворчала Калима.

Жене Серали едва перевалило за сорок пять, однако ранняя старость отметила лицо этой трудолюбивой и кроткой женщины густой сетью морщин. Тот же Байжигит звал ее в шутку «рыжей старухой».

— Пусть приходит, хоть новости услышим. Ты давай-ка, постели туда корпеше, — кивнул старик на почетное место за дастарханом.

Тем временем, согнувшись вдвое, в двери протиснулся здоровенный смуглый детина лет сорока. Широкоплечий, с могучей грудью и крепкой спиной, он напоминал пара¹. Острый нос, под которым темнели небольшие усики, казался мал на большом и круглом лице. Приветливо поблескивали узкие глаза, обращенные к хозяевам.

— Ассалаумагалекум!

— Алейкумассалам. Проходи.

Байжигит положил порыжевшую соломенную шляпу на сложенные стопкой одеяла, повесил белый полотняный китель на рейку кереге. Неторопливо расстегнул верхнюю пуговицу белой рубахи, стоячий воротник которой туго стягивал толстую шею со вздувшимися, как кобыльи соски перед дойкой, жилами, и только после этого подсел к дастархану.

После двух дней кутежа хмель у него еще не разошелся, и чувствовалось, что он слегка навеселе.

— Я ведь со свадьбы, ага². Джигиты пристали, уж и так уговаривают, и эдак. Не обижать же их. Вот, пришлось выпить немного. Ругаться не будете? — спросил он с лукавым смирением.

— Ну, раз уж уговорили, трудно, конечно, отказать. Как не уважить товарищей, — улыбается с хитрецей хозяин — ладный старик среднего роста еще бодрый и румяный, с движениями быстрыми и точными, но уже степенный и осторожный в делах и словах и, как всякий степняк, наблюдательный.

Серали доводился Байжигиту родственником в четвертом колене. Семья пастуха жила в мире, покое и до-

¹ Пар — одnogорбый верблюд-самец, символ силы и мужества.

² Ага — обращение к старшему родственнику.

статке. Окружающие относились к нему с почтением. Ближе принимая к сердцу заботы и печали своей родни, он всегда был занят устройством их дел. За все это и еще за совесть родственники искренне любили и уважали старого Серали. И Байжигит был по-своему привязан к старику и старался держаться к нему поближе. Возникнут ли трудности, понадобится ли совет, он идет к Серали.

— Ну что ж, выкладывай новости. На чьей свадьбе гуляли? Что гости, разъехались?— спрашивает между тем хозяин, придвигая к Байжигиту баурсаки и курт.

— Да со свадьбы-то еще вчера разошлись. Ночью мы у нашего начальства были.

— У Кадыра? А я слышал, будто он в область уехал на учебу. Вернулся, что ли?

— Вернулся.

— Ну, и что говорит твой начальник? В большом городе ведь побывал, рассказывал что-нибудь?

— Да нет, ни о чем таком не было и речи. Вчера на свадьбе мы повздорили с нашим начальником. Правда, помирились потом, как-никак, он не чужой нам.

— О господи, им и поссориться недолго, и помириться легко. А из-за чего ссора-то вышла?

— У него же привычка есть дурная. Начнет важничать, надуется от спеси. Из-за этого и поссорились.

— А тебе-то какое дело до его привычек, или ты исправить его надумал? Зачем портить отношения?

— Ойбай, да кто с ним собирался отношения портить? На свадьбе парень один распоряжался, учитель молоденький. Мы приехали поздно, нигде свободных мест не было. Парень провел нас в ту комнату, где сидел среди почетных гостей Кадыр. А он как напустится на учителя, что ты, мол, толпу нагнал, и без них тесно. Тот объясняет, что в других комнатах и носа просунуть некуда, да еще на меня ссылается. Вот, дескать, Байеке и тому же подъехал. А Кадыр ни в какую. Выпивший, гнет из себя неизвестно кого, совсем разошелся. «Ну, тогда мы встанем, раз это место Байжигиту предназначено», Дергается, хочет подняться, его не пускают. Я ему и говорю: «Эй ты, козья башка, у каждого своя доля, и никто не зарится на твою. Нам тоже кое-что полагается из угощения, так из-за чего ты так изводишь-ся?» А он мне: «Укороти язык!» Я еще не успел сесть, тут такое зло меня взяло. «Ой,— говорю,— что это ты разговорился... Я тебе покажу. На тебе «укороти язык!»

Вытянул его по спине камчой раз-другой. Больше не дали, удержали...

— Хорошо, а чем все кончилось?— нахмутив брови, спросил помрачневший хозяин, явно недовольный вестью.

— Ну, тут народ собрался. Узнали, в чем дело, почему поскандалили, рассудили, что Кадыр виноват. Тот разобиделся: «Уйду»,— говорит. Его успокаивают: «Байжигит старше, по старшинству и наказал тебя. По дедовским обычаям ты прощения должен еще просить у него. Так что сиди». Не отпустили, в общем. Потом всем миром надели: «Давайте, миритесь. Братья вы или не братья? Да чтобы зла не таить потом». Заставили нас пожать друг другу руки. Потом, чтобы замять дело окончательно, ночью к Кадыру пошли, хлеба-соли отведали. А на следующее воскресенье я его позвал к нам вместе с джигитами.

— Э, так бы сразу и говорил, что козленка прогулял, а их у тебя во дворе раз-два и обчелся. И чего тебе нейдется, скажи?— ворчал расстроенный вконец Серали.— Пес ты эдакий, что бы тебе не заколоть этого козленка да не пригласить стариков. Глядишь, они благословили бы тебя. Так нет. Ни за что ни про что должником сделался. Разве водка до добра доводила? Вот и расплачивайся за свою глупость...

— Ну, что вы. Я же просто гостей приглашаю. Скажешь вам что-нибудь, потом беды не оберешься. И зачем я только рассказываю?— весело отбивался Байжигит.

Но Серали отнесся к шутовской беспечности Байжигита с неодобрением. От рассказа Байжигита настроение старика резко изменилось.

Байжигит был мужественным малым, любил игры и веселье, перед другими чести не ронял, не унижался, на мир глядел с бесшабашной удалью. С ним считались. Да и сам Серали не то, чтобы не любил его. Нет, наоборот, Байжигит был дорог ему. За то, что сумел уважить стариков, за то, что никому не делал зла, за простоту и доверчивость. Но вот что старику не нравилось — Байжигит выпивал. «Не будь этого, он же человек хоть куда!»— вздыхал Серали.

Байжигит обладал недюжинной силой, и нельзя сказать, чтобы она всегда употреблялась им во благо. Добряк и тихоня, он иногда в горячке ссора мог пустить в ход и камчу. Потому и негодовал Серали, когда до него доходили слухи, что где-то Байжигит снова поскандалил.

«Обычно он никого без причины не задирает, это все водка виновата. Вот пес эдакий, когда же он пить бросит? Уже и не молод вроде, дети вон подросли. Так и уважение к себе потерять недолго»,— сетовал старик.

Сколько Серали ни выговаривал Байжигиту, как бы ни ругал его, но Байжигит так и не бросил пить. А теперь, услышав, что Байжигит отхлестал камчой самого Кадыра, Серали страшно разгневался. «Нашел с кем связываться. Плох или хорош, но он — председатель колхоза, к нему и в районе прислушиваются, и в ауле. Это надо же учудить такое!»— все больше взвинчивался старик.

— Нет, от тебя нечего ждать добра,— заговорил он сердито.— Что ты вытворяешь? Или считаешь, что ты еще молод? Хватит беситься.

Байжигиту не впервой слышать упреки сородича, и он добродушно отвечает:

— Вечно вы по пустякам расстранвааетесь. Что я такого сделал?

Старик рассердился душе прежнего.

— Жизнь у тебя беспутная. Твои ровесники давно на ноги встали. Ну а ты с кем попало водку пьешь, дерешься, все дураком прикидываешься.

Эти слова, произнесенные с нескрываемой горечью и презрением, видно, заделли Байжигита за живое. Он молчал, обиженный, задавленный обидой. А старик с расстановкой продолжает:

— Такой, как ты, не угомонится, пока не угодит в тюрьму и не ославится на весь мир.

Байжигита так и подмывает ответить: «Не вы меня растили и кормили, не вам за меня отвечать. И какое вам дело до меня?», но он сдерживается. Не может Байжигит ляпнуть такое, ведь он уважает старика. Разве имел бы он право после таких слов смотреть в глаза старому Серали? Если рассудить по чести, сородич завел этот разговор не со зла. Байжигит это хорошо понимает, потому и молчит, виновато потупив глаза. Но чем больше он слушает, тем грустнее становится, наконец ему вовсе неважно, а поскольку он все еще под хмельком, то в голову лезет всякая всячина. Вспоминается все больше печальное, и он чувствует себя бесконечно несчастным. И так ему жалко себя, что он готов разрыдаться.

— Что я такого сделал? Почему вы всегда меня вините? Если вы не любите меня, так и быть, я больше не покажусь вам на глаза. Завтра же перееду отсюда.

Старик, только что метавший громы и молнии, понемногу проникся жалостью. «Что-то я слишком круто обошелся с ним. Никому он вреда не делал, прост и доверчив, как дитя, видно, ему охота иногда покуражиться. Да и какие у него радости? Одна радость — ростом выше всех в ауле, а так ни образования у него нет, ни должности хорошей. Вот и бунтует мужская гордость. Тоже ведь охота быть не хуже других, а кто ему чем помог, чтоб был он в первых рядах? Зря я его обидел. Вон как горюет, бедный», — думает он с раскаянием.

— Эй, пес ты эдакий, что, мне и поворчать уже нельзя? Или я затаил недоброе против тебя? Нам ведь только и надо, чтоб ты был жив-здоров, не попал бы в беду какую, — утешает он мягко Байжигита.

Тот быстро успокаивается. Разговор переходит на житейские заботы, повседневные дела. Байжигит вскоре охладел к беседе, потому что вниманием его завладел свернутый кольцами новехонький черный аркан из козьего волоса — чембур. Гость то и дело поглядывает на чембур, на вопросы хозяев отвечает рассеянно. Заметил он его еще в тот момент, когда вешал на кереге свой китель. И уже тогда прикинул, как бы сделать так, чтобы этот чембур достался ему.

Жена Серали — мастерица вить веревки. Байжигит каждый год просит ее свить для него два-три чембура. Но такой уж он человек, что хорошая камча, красивый чембур и другие подобные вещи у него долго не держатся. То он потеряет их, то подарит. Потом снова приходит к Калиме и выпрашивает для себя новый. Иногда, правда, к женге и не подступиться.

— На тебя чембуров не напасешься, — возмущается Калима. — И не проси. Нет у меня времени каждый день вить для тебя новый.

В таких случаях Байжигит прибегает к посредничеству Серали.

— Ладно уж, раз человек говорит, что старый у него никуда не годится, пусть возьмет, — разрешает старик.

Но надо и меру знать, и Байжигит перестал допекать просьбами старого Серали, а, увидев в его доме лишний чембур, сам находит способ сделать его своей собственностью. Однако рыжую старуху не проведешь, она всегда догадывается, куда девался чембур.

— Опять стянул! Вот уж прохвост такой! — ахает она, заметив пропажу, и грозитя. — Ты только явись к

нам в другой раз! Уж я напялю на твою голову собачью шкуру!

Назавтра Калима, как правило, забывает о своих огорчениях и угрозах. Байжигит знает, что главное — вынести сегодня чембур, а там искать вора не будут. Он поворачивается к сидящим ребятишкам, делает вид, что гладит их, а сам незаметно берет чембур и, скомкав, заталкивает его в карман галифе. Потом встает, надевает шляпу и китель, весело прощается с хозяевами и выходит.

Отвязав коня, Байжигит ведет его в поводу. Отойдя от дома подальше, оборачивается, чтобы крикнуть:

— Эй, рыжая старуха! Говорят, ловинную голову меч не сечет! Так вот, забрал я у вас одну нужную мне вещицу!

Калима тут же бросается в юрту.

— Так и есть! Ах ты, дурень такой. То-то он извертелся тут весь. Эй, шалопут, верни сейчас же! — выскакивает она и кричит вслед Байжигиту.

— Будет тебе! Неужели ты собираешься отнять у него? Иди назад! — строго напускается на нее старик.

— Да нет же. Что ж я буду отнимать-то? Нарочно говорю, чтоб попугать. Ой, ну и дурень! — смеется беззлобно Калима. Она огибает юрту, закатывает кошму с теневой стороны и закрывает тундук¹. В юрту врывается свежий ветерок.

МОЙ БРАТ

Возле самого аула была небольшая темная сопка. В нашем равнинном краю такие возвышенности встречались редко. Может, поэтому мне казалось, что выше той сопки ничего на свете не бывает. От зимовки в тридцать перекосившихся глиняных домиков протянулась на восток широкая проселочная дорога, и вела она в райцентр. Знатки говорили, что по ней можно добраться до областного центра и еще дальше — в большие города.

Я любил взбираться на вершину, смотреть на дорогу и мечтать. Дорога пробуждала в моем сердце неясные надежды и смутную тревогу о чем-то большом и несбыточном. Она вилась среди густых зарослей степных трав и манила вдаль. По словам матери, мой старший брат

¹ Тундук — кошма, прикрывающая потолочный круг.

Султан и другие джигиты из нашего аула уходили на фронт по этой дороге. «А раз так, то, значит, они и возвращаться будут по ней»,— эта мысль не выходила у меня из головы и гнала меня на сопку, как только я раскрывал со сна глаза. И если я хоть раз в день не поднимался на сопку, то не находил себе места, словно забыл сделать что-то очень важное и нужное.

Брат мой ушел на войну, когда я был совсем еще маленьким, так что я не помню, как он выглядел. Несмотря на это, брат занимал все мои мысли. Бывало, односельчане, завидев меня, говорили:

— Смотри-ка, как он похож на своего брата. Ну вылитый Султан. И нос с горбинкой...

Я радовался и гордился. Стоило кому-нибудь замкнуться:

— Эх, Султан... Отличный был парень,— как я, замороженный, не отходил от этого человека ни на шаг и вертелся около него.

В последнее время домашние, кажется, стали считать, что Султан уже никогда не вернется. Стараются вспоминать все реже и реже и почти не говорят о нем. Если случается, и зайдет речь о брате, отец тяжело вздыхает и молчит. Мать начинает всхлипывать, и дом наш наполняется печалью. В такие минуты сердце мое сжимается, и мне хочется поскорее убежать на улицу.

Все началось с того дня, когда к нам зимой принесли эту проклятую черную бумагу. После нее и без того немногословный отец вовсе замкнулся и все время угрюмо молчал. Мать сникла, постарела. Садилась и вставала с трудом, опираясь руками о землю, и почему-то при этом кряхтела и вздыхала. А я вот не считал брата погибшим. Любил представлять себе, как он вернется. День и ночь думал об этом. Представлял я себе, представлял, а потом сильно затосковал по нему. Возьму его фотографию и разглядываю часами. Брат прислал ее нам в прошлом году. На обороте фотографии было написано его рукой: «На память Сейтжану от братьев Султана и Мақсута». Эта крохотная четвертушка глянцевой бумаги, на которой уместились изображенные в полный рост двое солдат в долгополых шинелях, была самой дорогой реликвией в нашем доме. В письме брат писал, что рядом с ним его близкий друг по имени Мақсут и что после войны они вместе вернутся в наш аул. Прочтя это, мать залилась слезами:

— Пусть я паду жертвой за твоего друга, родной!

Вместе, говорит, приедем. Да сбудутся ваши желания!

После того, как мы получили черную бумагу, к нам еще шли письма от Максута-ага. И вот уже много месяцев и от него нет ни одной весточки.

Врага победили, война закончилась. От тех, кто остался жив, приходили радостные вести: «Вот-вот вернемся домой». Кто-то уже и возвратился...

Сколько помню себя, степь всегда была бурой. Может, потому, что климат у нас засушливый. Скучная зелень выгорала рано, и летняя степь являла собой унылую картину. Поэтому, несмотря на сухую и жаркую погоду, которая стояла много месяцев кряду, казалось, что здесь осень тянется бесконечно долго. Одно богатство в степи — среди густых зарослей полыни и ковыля, испокон веку заполнявших широкие просторы, водились в великом множестве дрофы и перепела. Часто встречались и зайцы — катились кубарем, как клок верблюжьей шерсти, гонимый ветром. Если выпадал свободный час, мы уходили побродить на воле, ставили силки на птиц, капканы. Однажды, вернувшись с такой прогулки, я увидел, что мать разжигает самовар. Она заметила меня, окликнула:

— Сакен, иди скорей, брат твой старший приехал.

— Кто? Какой брат?

— Максут-ага, который на фотографии. Иди, иди к нему.

Я кинулся в дом, замер у порога. Комната была полна народу. Гость сидел на почетном месте — торе. Я, как вошел, уставился на него во все глаза. Увидел все сразу: и рассыпавшиеся жесткие чёрные волосы, которые гость зачесывал набок, и прямой, с горбинкой нос, и круглое смуглое лицо, и глаза, узковатые, карие, светившиеся доброй улыбкой. Увидел, как ладно сидит на нем гимнастерка. И расстегнутый ворот заметил, и то, что солдат сидит без ремня.

— Иди же, поздоровайся с братом, — подсказал мне отец, затем, повернувшись к гостю, объяснил. — Максут дорогой, это и есть твой братишка Сейтжан.

Так я познакомился со своим братом. Вечером, когда дома остались только свои, отец с Максутом долго беседовали о прошлом и будущем.

Гость рассказывал, что с малых лет рос в детдоме.

— Потом я служил в армии. С Султаном встретился в тысяча девятьсот сорок втором году, когда впервые попал на фронт,— говорил Максут-ага.— Потому ли, что тяготы и опасности фронтовой жизни сближают людей, но мы сразу подружились и скоро знали друг о друге все. Со временем мы так сроднились, будто всю жизнь прожили вместе. Султан был немного старше и по-братски заботился обо мне.

— Будем живы-здоровы, после войны обязательно вернемся вместе в наш аул,— мечтал он.

— Ладно,— отвечал я.— Думал ли я тогда, что оставлю его на чужбине и вернусь сюда один...

Максут-ага прервал свой рассказ, задумался.

— Ты хорошо сделал, что приехал,— сказал отец.— Наш дом — твой дом. Мы будем относиться к тебе не хуже, чем к своему Султану. Будете с Сейтжаном опорой друг другу. Двое вас будет.

Наши горячо убеждали Максута отдохнуть немного, оглядеться, но Максут сразу же с головой окунулся в колхозные дела и заботы. Всю зиму вместе с другими ремонтировал немудрящую нашу технику — плуги, косилки. Весной пахал землю. Как-то, вернувшись с работы, он сообщил нам:

— Завтра еду на джайляу на заготовку сена.

Сено колхоз косил на лугах у озера, по эту сторону от больших песков — там, где находились зимовки для скота. Мать тут же стала собирать его в дорогу, постирала ему вещи.

— Хочешь поехать на джайляу?— спросил Максут у меня, оставшись наедине.— Ты же все равно на каникулах. Или не брать тебя?

— Ага тай, возьмите меня с собой,— взмолился я.— Я очень хочу поехать.

— Апа, Сейтжана я возьму с собой. Пусть едет, землю хоть посмотрит, развеется,— сказал он матери.

— Как знаешь, милый. Я его не держу,— согласилась мать.— Хоть на глазах у тебя будет все время, а то здесь его неизвестно где носит.

На другой день с рассветом мы отправились в путь. Вместе с нами вышли в дорогу бригадир Бейсен со своей семьей, другие косари. Нигде на отдых не останавливались и где-то после полуночи добрались до места. Разгрузив вещи, отпустили коней пастись, и тут же все, как подкошенные, повалились на траву. Утром еще до вос-

хода солнца успели поставить юрты, позавтракать, и народ приступил к работе.

— Мальчик, ты как насчет того, чтобы возить воду косарям?— спросил меня Бейсен.

Я согласился. Дело это было не особенно обременительное. Ближе к полудню седлали смирного черного вола, грузили на него бурдюк с водой и подсаживали меня. Мне надо было объехать участок и напоить людей.

Сено косили по берегам озер и на заливных лугах. Красотой эти места не уступали курортным. Куда ни кинь взгляд, кругом колыхалась зеленая трава, голубели прозрачные озера. Для меня до сих пор нет на земле уголка прекрасней этого.

Наскоро справив свои дела, я отпускал черного «скакуна» пастись, а сам день-деньской крутился около Максута. Брат мой косил траву, и, думается, не было среди косцов такого, кто умел бы сделать это лучше него.

Однажды, когда я, как обычно, прибежал к Максута-ага, он взглянул на меня внимательно и, вздохнув, спросил:

— Ты не мог бы отнести это Кунимай?— и протянул мне сложенный вчетверо листок бумаги.

Кунимай была единственной дочерью Бейсена. Два года назад она окончила у нас в ауле семилетку и, поскольку в ауле средней школы не было, учиться дальше в район не поехала, а сидела дома. По-моему, в нашем ауле, да и в соседнем тоже, не было девушки красивей Кунимай. Характер у нее, как говорится, был мягче сливочного масла. А как она пела замечательно, если бы вы только знали. Я любил ее всем сердцем и всегда тянулся к ней. Что до нее, то она тоже относилась ко мне по-особенному, совсем не так, как к другим ребятам в ауле, словно я был ее родным братишкой. Раньше она частенько захаживала к нам, но с приездом Максута-ага перестала показываться. Наверное, стеснялась его. К ней я мог подойти запросто. Да если бы и не к ней, то все равно подошел бы к любой, раз об этом меня просит мой брат. Поэтому я сразу ответил:

— Конечно, могу.

Кунимай с матерью возили сено. Когда я подошел к девушке, она сидела в тени под копной и отдыхала. Тут же стояла груженная наполовину телега. Матери нигде не было видно. Она, видимо, осталась у скирды.

Я присел рядом с Кунимай, подал ей записку.

— Вот, брат мой передал.

Она молча взяла письмо, спрятала его в обшлага рукава и с опаской огляделась вокруг: не увидел ли кто. Так она мне ничего и не сказала, и я пошел обратно. Не успел я прийти, как Максут-ага вопросительно глянул на меня: как ты там, справился?

— Отдал,— сказал я, покрепче усаживаясь на своего черного «скакуна».

— Не ругалась, зачем, мол, это?— спросил деланно-равнодушно Максут и отвел глаза. Но я успел заметить, что в глазах его заискрились смешинки.

— Нет.

На другой день я привез ему ответ от Кунимай. Не знаю, что она такое ему написала, но с того дня мой брат повеселел. Как проедет какая-нибудь телега, он тут же смотрит. Мне-то, конечно, было ясно, кого он там выглядывает.

— Сейтжан, ты садись-ка на машину, да двигай потихоньку. Место здесь ровное. А я схожу кое-куда ненадолго,— сказал он как-то.

Через некоторое время я оглянулся, а он, оказывается, вместе с Кунимай копнит сено. Как только показались телеги, отвозившие сено к скирдам, он вернулся на свое место. Сияющий, весело прикрикнул на еле плетущихся коней. Те бодро вскинулись, зашагали быстрее, а он замурлыкал веселый мотив.

В тот день до самого захода солнца Максут-ага был радостно-возбужденным, дело так и горело в его руках, и мы все вокруг, глядя на него, оживились, забыли про усталость.

В аул вернулись в потемках.

— Устали, бедные мои животные,— приговаривал он, распрягая коней, тяжело водивших боками, хлопая их ласково по спине, возился с ними, словно хотел заглядить свою вину, что так много заставляет их работать.

Проходили дни. Максут и Кунимай сдружились. Когда мать Кунимай уезжала, я гонял сенокосилку, а они оказывались вместе. Дружба их пробудила во мне какое-то новое, неизведанное чувство, в котором смешались радость, гордость и удивление. Я восторженной душой понимал, что рядом со мной совершается нечто волнующе-прекрасное. А еще мне открылось, что теперь мы с братом связаны крепче и надежней, чем когда бы то ни было.

Сенокос закончился. И если сейчас, имея достаточное

жет быть, Максут-ага находил хоть слабое, но утешение, когда я целыми днями ходил за ним по пятам, заглядывал ему в глаза, но тут он совсем поскуучнел и заявил:

— Что мне здесь делать? Поеду-ка я лучше в отгон.

Он уехал к животноводам, помогал им перебираться с летних пастбищ к зимовкам, чинить жильё и загоны и пробыл там довольно долго. Я места себе не находил, дожидаясь его возвращения.

Дни тянулись серые и безрадостные, и в один из таких дней мать сказала:

— Кунимай замуж выдают.

— И за кого?

— За брата сельсовета.

— За какого? За продавца Усена, что ли?

— Да.

Накануне выходного дня в доме председателя сельского совета Дармена состоялась свадьба. В тот день меня все раздражало, я чуть не лопнул от злости. Хотелось подраться с кем-нибудь, разбить что-нибудь такое, чтобы все пришли в ярость. Видя, как Усен, растянув рот до ушей, бродил вразвалку около дома Кунимай, я весь кипел от негодования. Было бы у меня силенок побольше, я бы дал ему такого пинка, чтобы он летел вверх тормашками. Раньше я ради такого интересного зрелища, как свадьба, забывал о еде, а в этот день даже взглядом не повел в ту сторону, где веселился народ. Вечером, когда мои сверстники затеяли на улице радостную кутерьму, я не только не вышел, даже в окно не выглянул. Через несколько дней приехал из отгона Максут. Ночью, когда вся семья была в сборе, он вдруг сказал:

— Отец, я завтра уезжаю.

— Куда?

— Туда, где жил до войны. Там ведь все мои документы. Я заберу их и поеду учиться.

Все замолчали.

— Дело твое, мой свет,— наконец выдал из себя отец.— Доброго тебе пути. Куда бы ты ни уехал, лишь бы был жив и здоров. Не забывай нас, пиши. Мы ведь будем беспокоиться о тебе! Если будет трудно, не скрывай. Я ничего для тебя не пожалею.

На другой день я провожал своего брата. Отец поехал с ним, чтобы подбросить его на коне до районного центра.

...Отъезд Максута-ага ударил сильнее всего по мне. Во мне вновь проснулась та прежняя тоска, которая заставляла меня с замиранием сердца часами следить за дорогой. Теперь я снова остался один, и с поразительной остротой ощущал свое одиночество.

В тот вечер я долго не мог заснуть. Мне казалось, что в комнате, зловеще темной и наполненной шорохами, никого нет, кроме меня. Лежал, пристально вглядываясь в темноту, словно надеялся увидеть кого-то. Мама, наверное, догадалась о моем состоянии, потому что спросила тихо:

— Сейтжан, ты почему не спишь?

Сердце мое и без того ныло так, будто я лишился самого дорогого на свете. Я еле сдерживал слезы, а услышав участливый шепот матери, разрыдался в голос.

НОЧЬ В ГОРАХ

Рано поутру Такена разбудил чей-то громкий голос. Открыл он глаза, смотрит — а это завфермой Омиржан. Он приподнялся, поздоровался с ним.

— А-а, батыр Такен, как здоровье? Что там у тебя с учебой вышло? Не поступил что ли? — посыпались один за другим вопросы.

Хотя всего два дня, как Такен вернулся, но эти вопросы у него уже поперек горла стоят. Парень и так старается никому на глаза не попадаться, однако они его преследуют всюду, где бы он ни появился. Еще поздороваться толком не успеют, а уже спрашивают:

— Ну как, поступил?

Вот и норовит он молча прошмыгнуть мимо. «Да если бы я поступил в институт, разве я болтался бы тут? Неужели не понятно? А если понятно, то зачем спрашивают?» — злился он.

И в этот раз он ничего не ответил. Омиржан, конечно, смекнул, что ляпнул не то, принялся утешать его.

— Не переживай. Будешь жив, все будет: и учеба, и остальное. В этом году не поступил, на другой год поступишь. Ты лучше о здоровье подумай. Здоровье прежде всего.

Мама накрыла к чаю и пригласила всех к дастархану. За завтраком Омиржан вкратце осветил положение дел в ауле и перешел к главному.

— Такен, уж ты не обессудь, что стоило тебе попасться мне на глаза, как я уже пристаю к тебе с просьбой.

— Что-то юлишь ты больно. Небось опять собираешься послать его куда-то. Не поедет,— тут же вмешалась мать. Интересный она человек. Даже договорить не даст. Знает ведь, что Такен все равно поедет. Просто у нее в привычку вошло перечить Омиржану. Чуть что, она сразу: «Не пойдет! Не пушу!» Правда, и Омиржану это не впервой слышать. Поэтому он как ни в чем не бывало спокойно продолжает:

— Ты же сам понимаешь, каково нам сейчас придется. Опять же стрижка началась, весь народ туда отправили. На зимовках Кокдалы нынче несколько кошар поставили, хочу тебя отправить туда крыши крыть. Зима не за горами, надо побыстрее управиться.

— Если бы не этот зеленый юнец, твоя работа застопорится наверное! А как же вы без него жили? Он только вчера вернулся, смотри, как исхудал. В чем только душа держится. Вы хоть денька два дали бы ему отдохнуть,— рассердилась мать.

Но этим Омекена трудно смутить. Он знай гнет свое.

— У вас под рукой машина будет. Как надо будет в аул наведаться, подбросишь матери саксаула для самовара сколько увезете.

Такой разговор вмиг изменил настроенные матери. Только что сидевшая мрачнее тучи, она озабоченно воскликнула:

— Надо же! А я ведь и постирать ему не успела. Вы прямо сейчас выезжаете, а, Омиржан?

Омиржан, торжествуя, подмигнул Такену: «Видишь, все сладилось!», а матери степенно ответил:

— Я возле гаража буду. Пусть не опаздывает,— и ушел восвояси.

Допив чай, Такен пришел следом за Омиржаном в гараж.

— Такен, я еще людей пришлю. А ты пока поезжай и начни возить камыш,— сказал он.

— Один, что ли?

— Нет. Там дочь Азкуль. Даригой зовут. Знаешь? Вдвоем будете работать. Вот и Жумыржан вам поможет,— указал он на шофера, стоявшего рядом.— Вы и втроем управитесь.

Азкуль, овдовевшую в сороковые годы, Такен знал понаслышке. Ее единственная дочь росла у деда в райцентре, там же окончила среднюю школу, неудачно вы-

шла замуж; а через два года, разведясь со своим пьяницей и дебоширом, поселилась в ауле с матерью. Такси ее до сих пор в глаза не видел.

Они быстро погрузили на машину все необходимое и отправились в путь. Стояла августовская жара. Струились над степью миражи, ходили волнами, как расплавленный свинец. Особенно жарко было в песках, через которые им пришлось ехать. Они чуть не изжарились в кабине. Снизу мотор греет, раскаленный верх пышет жаром. По обочинам полыхают «огоньки» — огненно-красные цветы. Казалось, даже кусты шингиля изрыгают пламя.

Шофер, видимо, совсем изнемог, проворчал недовольно:

— И это божий день называется? Эдак всю землю выжжет дотла, — и крепко выругался.

В Кокдалу они приехали на склоне дня. В камышовой пади рядом с зимовками показался целый аул. Машина остановилась у крайней юрты, высокой и добротной, принадлежащей Азкуль. Перед нею у вырытого в земле очага хлопотала молодая женщина — пекла баурсаки. От жаркого солнца и от огня щеки ее разгорелись ярким румянцем. Из-под тоненького платочка, повязанного узлом на затылке, выбилась густая челка, так красившая ее улыбочное юное лицо. Она была хороша здоровой, непритязательной пригожестью аульной женщины, от которой дрогнуло бы сердце любого мужчины.

— Кто это? — спросил Такен у Жумыржана.

— Дочка Азкуль. Дарига.

— Дорогуша, ты бы нам чайку подала, — кивнул на кипящий самовар Омиржан, обращаясь к молодке.

Вскоре подали самовар. Товарищи Такена с наслаждением потягивали густой чай с молоком. Ему же было не до чая. Он словно забыл, как страдал от зноя, как весь день едва ворочал распухшим от жажды языком, облизывая пересохшие губы. Душа его уносилась неведомо куда. Взволнованный, он украдкой посматривал в сторону самовара, где сидела хозяйка.

Дарига не была писаной красавицей с идеальным носиком, бровями вразлет, с тонким гибким станом. Среднего роста, полненькая, с приветливым, миловидным лицом. Что еще? Легкая в движениях, собранная. Вот, пожалуй, и все. В общем-то, внешность вполне заурядная. Но в то же время природа наделила ее удивительной привлекательностью. Было в ней что-то невы-

разимо прекрасное, что на первый взгляд и не заметишь.

После чаепития Омиржан решил съездить на молочную ферму, расположенную тут неподалеку. Поскольку Такену нечем было себя занять, он пошел на озеро. Хотел посидеть на берегу, почитать книжку, но никак не мог сосредоточиться. Да и до чтения ли ему было. Стоит склониться над книгой, как перед глазами проносится в своем легком платочке Дарига, увлекает его за собой.

У него появилась привычка просыпаться по утрам в сильной тревоге. Перед сном он думал о том, как бы поскорее наступило утро. Утро дарило ему встречу с Даригой. Он часами представлял, как это произойдет...

Обеденный перерыв. В юрте жарко, и Такен с Жумыржаном притащили одеяло, постелили в тени под машиной и отдыхают. Вдруг он говорит:

— Эх, Такен, что ты можешь знать... Дарига-то любит тебя.

Такен смутился. Насквозь, что ли, он видит человека, что так безошибочно угадал, о чем тот думает. И все же слова шофера были ему приятны.

— Откуда ты знаешь? Несешь бог знает что...

— Я... Просто по глазам вижу. Уж поверь мне. Да-да, можешь не сомневаться.

— И что ты в ее глазах высмотрел?— он, чтобы скрыть интерес, старался казаться равнодушным.

— В общем, она бы тебя не оттолкнула. Ты меня зря опасаясь. Что тут такого? Что ни говори, она молода, красива...

Неожиданный тот разговор навел Такена на долгие мучительные раздумья. Почему он не заметил то, что заметил Жумыржан? Или, может, со стороны видней? Ему очень хотелось, чтобы тот был прав. Как он ни терялся в догадках, но ни поверить сказанному, ни отвергнуть его не смог.

Уже после того, как Омиржан прислал им людей в подмогу, как-то утром из-за дождя они не вышли на работу. Сидели в полутемной юрте с наглухо закрытым тундуком и глазели в дверной проем. Дождевые капли стучали, как конские копыта на коппаре. Сырой курай горел плохо. Сизый дым драл горло, ел глаза.

— Подумать только! Сидим в дыму, как лисы, которых выкуривают из нор,— рассмеялся кто-то.

Над огнем на треноге булькал большой котел. Каждый раз, когда поднимают крышку казана, вместе с горь-

ким дымом ноздри щекочет вкусный запах свежего бульона. Хотелось есть. Они не сводили глаз с поварахи Малике, как будто взялись посчитать, сколько шагов она сделает, пока приготовит нехитрый обед. Стоило ей подойти к казану, как они, оживившись, весело переглядывались. Но вот и блюдо уже перед ними, а кто-то мечтательно вздыхает:

— Эх, в такую бы погоду да по сто граммов, чтоб согреться.

— Эй, действительно, что же мы не сообразили съездить в магазин за продуктами? Заодно и бутылку бы прихватили. Все равно не работаем.

— Да как по такой грязи проехать?

— Ой, если ехать в Актам, то будь и сорок дней непогоды, машина Жумеке летела бы, как легендарный крылатый конь Али,— переговаривались работники, приступая к еде. (В Актаме, где находилась централизованная ферма, имелся магазин).

Наступил полдень. Еще не распогодилось, но тучи уже начали расходиться. Дождь поутих. Вот с негромким стуком упали последние капли. Ветер дохнул порывисто раз-другой, подсушивая земной лик после орошения.

— Вот и земля подсохла. Давай до вечера сделаем пару рейсов,— предложил Такен Жумыржану.

Но тот, как видно, расслабился от длительного безделья и не испытывал желания работать. В ответ на предложение он поморщился с досадой, но тут и другие поддержали:

— Нам тоже пора приниматься за работу. Небо прояснилось. В такую погоду грех сидеть дома.

Ему пришлось поневоле идти с Такеном и Даригой. «Эх, Жумыржан, как бы чего не вышло, уж больно неохотно ты садишься за руль»,— подумал Такен и не ошибся в своих прогнозах. Когда они погрузили камыш на машину, Жумыржан поехал напрямик по бездорожью.

— Душа моя, степь тебе — не шоссе, не сбивался бы ты с наезженной дороги,— было сказано ему.

— На дороге грязь непролазная, колеса будут вязнуть,— не послушался их шофер. А проезжая небольшую ложбину с солонцовой почвой, машина провалилась по самый кузов.

— Какая жалость! Надо же, как не повезло!— причитая, забегали Такен с Даригой вокруг машины. А Жумыржан, судя по всему, ничуть не опечалился. Выбрался из ложбины, сидит себе покуривает.

— Эх, свела же нас судьба с этим болтуном,— в сердцах сказала Дарига.

— Что делать будем?— спросил Такен у Жумыржана.

— Я за трактором пойду, а вы возвращайтесь,— спокойно ответил Жумыржан.

На расстоянии дневного перехода отсюда работает бригада косарей. На их трактор и рассчитывает Жумыржан. На дорогу он угробит массу времени. Раз машину без посторонней помощи не вытащить, то им придется топтать в аул пешком. Идти предстоит километров пять, а то и шесть. Разумеется, такие расстояния для Такена — чепуха. Сейчас он даже предпочел бы, чтобы дорога была еще длинней.

«Нет худа без добра». Так иногда неприятности вдруг оборачиваются для нас благом. Сегодняшнее происшествие сослужило Такену добрую службу.

Было еще довольно рано. Они оба не особенно торопились в аул. В полном безмолвии пробирались по бездорожью. На каждый сапог налипло не меньше чем по килограмму грязи, так что шли они, к счастью Такена, черепашным шагом. Одно его угнетало — затянувшееся молчание.

Если бы те темы, на которые обычно болтаешь без умолку часами, сейчас пришли в пустую голову Такена, ему не пришлось бы краснеть от неловкости. Он готов был провалиться сквозь землю и от растерянности все время озирался по сторонам.

Он все же пытался завести разговор, однако ничего путного из этого не вышло.

Возможно, она почувствовала, что разговор не получается, и предложила:

— Давай, Такен, споем.

В пении он был вовсе не бесталанным. К тому же обрадовался, что так легко избавится от тягостного молчания.

— Давай,— согласился он.

— Ты читал «Тернистый путь»?

Он не понял связи между пением и романом Сейфуллина, но на всякий случай ответил:

— Читал.

— Помнишь, когда они приезжают с переписью в Шубыра в какой-то аул и участвуют там в играх. Тогда еще девушка по имени Кабиба поет одну песню.

— «Аупильдек», что ли?

— Да-да! Ты знаешь мелодию этой песни?

— Нет. Но слова заучил.

— Я тоже не знаю. Ни разу не слышала, как она исполняется. Давай слова этой песни споем на мотив «Гайни».

Дарига запела приятным грудным голосом. Он подхватил. «Если бы крылья мне были даны». И хотя крылья ему не понадобились бы, поскольку любимая шла рядом с ним, но казалось, что в песне этой поется о его печали. Может, поэтому голос его звучал так искренне.

— Такен, ты, оказывается, настоящий певец. Что же ты раньше скрывал свой талант?— сказала Дарига. А что он мог ответить? «Знала бы ты, почему у меня так хорошо получилось»,— думал он про себя.

В голове теснились разные мысли. «Неужели я так и буду молчать? Будь что будет, но сказать надо. По крайней мере узнаю, как она ко мне относится»,— решает он, а на деле старается отдалить объяснение. Кто-то будто настойчиво шепчет ему на ухо: «Потом, потом все выяснишь». Уже и жилье недалеко. Чем ближе к аулу, тем беспокойней ему делается.

«Надо же! Неужели я так и не воспользуюсь единственным удобным случаем?»— ужаснулся он и, отчаявшись, окликнул:

— Дарига!

Она быстро обернулась. В растерянности он не смог вымолвить ни слова. Все мысли, донимавшие его изо дня в день, улетучились.

Она, наверное, заподозрила что-то, стала вдруг грустной, задумчивой. Обернулась, посмотрела на него долгим взглядом, полным ласки и участия. В глазах ее, как роса на листьях терескена, стояли слезы. Вздыхнув, она потупилась, потрогала носком сапога кустик травы, помолчала, а потом сказала:

— Идем, Такен. Что мы стоим? Вон и аул уже близко.

Она потихоньку пошла по тропинке. Такен, отчего-то чувствуя себя пристыженным, с пылающим лицом последовал за ней.

...Именно сегодня, когда он выехал в дорогу, к счастью, внезапно наступило потепление. Горная гряда, всю зиму кутавшаяся в снежное покрывало, начала понемногу обнажаться. На восточных склонах вершин, еще

вчера таких гладких, что не за что зацепиться взглядом, и таких холодных, появились небольшие круглые проталины, будто на белой кошме рассыпались горячие угли и выжгли черные пятна. Над вытаявшими пяточками земли, как дым от угасающих угольков, курился слабый парок.

Давно он не ездил верхом, не чувствовал такого подъема. Оказывается, он отвык от тишины горных ущелий, изрядно соскучился по ней. Поглядывал любовно по сторонам, радуясь покою. Зима нынче выдалась суровая, извела и людей, и скотину. Уже наступил март, а снег даже не осел еще, лежит толстым слоем. Дня два была оттепель, снег поголубел, подтаял сверху, но ударил мороз и снег схватился крепким настом. Все беды начались с этого. Овцам не пробить слабыми копытами намерзшую наледь, поэтому гнать их на выпас бесполезно. Пришлось расчищать снег рядом с аулом, устраивать выгон. Сена не хватало. То немногое, что завезли, скармливали слабым и большим. Надо было топить снег, поить. Мало того, еще каждый день чистить кошары. О чем тут говорить, когда он не замечал, когда всходит и заходит солнце. А мечтал весь год в свободное время готовиться к экзаменам. Да ему не то что в учебники заглянуть, портянки просушить и то было некогда. К вечеру падал с ног от усталости. Иногда, остервенев от всего, он вздыхал:

— За что меня бог так наказывает. И как я только оказался в этой дыре!

Не мудрено, что он был на седьмом небе от радости, когда вчера Омиржан прислал ему замену.

К вечеру его не было в ауле. Возвращаясь, он издали увидел, как кто-то спешивается возле дома. Когда изнываешь от скуки, ты рад случайному путнику пуще отца родного. Он заторопился вперед, предвкушая встречу с кем-нибудь из своих земляков. Ждал вестей для себя. Оказалось, что приехал Усен — санитар с фермы.

Перед отъездом сюда он просил Омиржана: «Вы же бываете в центре. Вы там прислушайтесь к новостям. Если в институте откроют подготовительные курсы, сообщите мне».

— В центре годичные курсы трактористов, говорят, открылись. Тебя вызывают. Хотят, чтоб ты там учился, — сказал Усен.

— А как я доберусь? На чем?

— Я вот на парторговом коне приехал. На нем и

поедешь. А я, пока не пришлют сюда кого-нибудь, побуду здесь вместо тебя.

Утром Такен поднялся с постели бодрым и веселым. Он давно уже скучал по родному аулу, по своим товарищам, по дому. Представив, как вновь окажется среди родных и близких, он не мог удержаться от довольной улыбки. Но больше всего, да больше всего...

Осенью, после завершения работ в Кокдале, его направили помощником к чабану Жабаю. С тех пор он ни разу в Кокдале не был. Конечно, он прежде всего хотел заехать повидаться с Даригой. Они с матерью работали помощниками чабана, который зимовал с отарой в тех краях.

В Кокдалу он приехал на закате. Ехать предстояло целую ночь, но конь под ним был еще свеж и полон сил. Он рассчитывал, не задерживаясь на ночлег, ехать дальше этой же ночью.

Даригу он увидел на улице, еще подъезжая к аулу. Уже опустились вечерние сумерки. Он узнал ее издали по голосу. Она, покрикивая, загоняла скотину в кошару.

Он привязал коня к кусту шингиля, подошел молча и стал помогать ей загонять овец. Она с тревогой поглядывала, как кто-то сбивает отару с другого конца, но так и не узнала. Да и как она узнала бы его в густых сумерках. Когда кошару заперли, он нарочно кашлянул.

— Ой, Такен! Вот кто мне помогает!— весело воскликнула Дарига.

— Дарига-ай, ты там закончила? Чай стынет!— раздался чей-то женский голос.

— Мать ищет,— сказала Дарига, с беспокойством оглянувшись.— Ну что же ты? Рассказывай, откуда ты и куда собрался?

— В ауле годовичные курсы трактористов открываются, туда еду, заехал повидаться с тобой.

— Выходит, вместе будем учиться.

— Как? И ты едешь? На те самые курсы?— голос Такена радостно зазвенел.— Нет, правда едешь?

— Конечно, правда. А что тут такого? Вон в газетах только и пишут о женщинах-механизаторах. Хочу попытаться счастья. Авось, повезет,— серьезно и одновременно лукаво ответила Дарига.

Радостно распрощавшись с Даригой, он вскочил на коня, гикнул, взмахнул камчой. Хлестал холодный ветер в лицо, высекая слезы из глаз, змейкой струился по телу. Звенели стальные подковы по мерзлой земле, огла-

шая ночную степь стремительным перестуком. Он не слышал толчков. Только пар вырывался из ноздрей коня, летевшего падучей звездой.

Бешеная скачка подействовала на него отрезвляюще. Несколько успокоенный, он придержал коня и бросил взгляд назад.

* * *

Аул этот, осевший у подножия гор, построил свои первые дома в долине еще в годы коллективизации. С тех пор он окреп, разросся, стал крупным земледельческим хозяйством. Небольшие площади рядом с усадьбой он засеивал клевером и кукурузой, а под основные посевы зерновых распахивал горные склоны.

В диком ущелье под отвесной кручей стоял на берегу ручья одинокий домик в две комнатки. Ежегодно он служил временным пристанищем для хлеборобов. Они выезжали из центра вместе с тракторной бригадой чуть забрезжит рассвет, а добирались до стана только к ночи.

В одной комнате складировали топливо, продукты, разный инвентарь, а в другой жили сами — мужчины и женщины вместе. Это, конечно, было не удобно, но иного выхода не нашлось бы. В горах чуть не каждый день идут дожди, а топливо и всякое другое (скажем, те же запчасти) под открытым небом не оставишь. Ночи в горах холодные, земля ранней весной еще сырая, так что никто не рискнет спать на вольном воздухе. Вот и приходится всем ютиться в одной комнате.

Места здесь были тихие, уединенные. С красотой их не могли сравниться лучшие пейзажи знаменитых мастеров. Все дышало древней, как мир, тайной. Кругом громоздились красные скалы самых причудливых очертаний. На склонах гор встречалось много громадных валунов, на зеркально-гладкой поверхности которых были изображения архаров, косуль, людей. Кто и когда оставил эти рисунки, никто не знал.

Гора, под которой стоял дом, тоже таила в себе немало загадочного. Чего стоила отвесная круча за домом, напоминавшая вертикальный разрез конуса. Сбоку в этой горе была просторная пещера, где можно спокойно разместить до сотни овец. В зияющий зев пещеры свободно мог бы въехать всадник. Внутри пещеры своды сходились на высоте пяти-шести метров — в три, а то и

в четыре человеческих роста. В задней стене пещеры имелаась узкая щель, куда можно было пробраться только ползком. Чем кончался этот лаз, никто не обследовал. Кое-кто и забирался туда, однако, проползши несколько метров, возвращался.

Такен не раз бывал в пещере, но лезть в расщелину не отважился. Зато он вдоволь бродил по окрестным горам. Парень в этих краях оказался впервые, и все ему было внове. Он исходил все вершины, ущелья и распадки вдоль и поперек, продираясь сквозь непроходимые заросли шиповника, облепихи, таволги, густо опутанных плетями ежевики. В чаще водилось великое множество куропаток. К сожалению, ни у кого из приехавших не оказалось ружья, чтобы поохотиться.

Такен вырезал себе длинный курук¹. Как только выдавалось свободное время, этот чудака отправлялся на охоту. Если в темноте бесшумно прокрасться среди кустов, из-под ног, неловко хлопая крыльями, испуганно взлетала стая куропаток. Можно изловчиться и сбить какую-нибудь куруком. Раза два ему повезло, и он пристрастился к ловле птиц и целыми днями пропадал на охоте. Вот и сегодня после работы он поел второпях и, прихватив свой курук, убежал охотиться. Притащился с охоты еле живой и уснул мертвецким сном. Среди ночи проснулся в страшном испуге. Потом уже услышал возню и шепот:

— Перестань, говорю. Проснется сейчас кто-нибудь. Ну как не стыдно. Уйди,— умоляюще говорил женский голос.

— Что... ты не веришь мне? Думаешь, обману?.. Вот ей-богу...— джигит произнес страшную клятву.— У меня и в мыслях такого нет. Сказал же, как только посевную закончим, сразу и поженимся... Куда ты отодвигаешься? Иди ко мне...— Мужчина, возбужденный, задыхается.— Скажи, ты выйдешь за меня? Скажи, выйдешь?

— Куда ты торопишься? Это и днем можно решить. Неужели обязательно сейчас об этом говорить? Нельзя, тебе говорят. Уйди.

У Такена от гнева и возмущения мурашки по телу побежали. Его сначала бросило в жар, потом — в холод, и скоро он весь трясся, как в лихорадке. Сердцу вдруг стало тесно в груди, оно трепыхалось и готово было

¹ Курук — палка с веревочной петлей на конце для ловли лошадей.

выскочить. Такен резко поднял голову. Хотелось вскочить, закричать. Но он понимал, что бесполезно что-то предпринять. Сделай он так, его же самого поднимут на смех. Да и ее он опозорит. А что ему тогда остается делать? Лежать и подслушивать дальше?

Прерывающийся шепот джигита назойливо лез в уши.

— Дарига, ты моя. И какое нам дело до других? Кого тут стесняться?

Больше Такен не мог выдержать. Схватил в охапку свою одежду и вылетел вон. Он нырнул в густую тьму. Перед глазами плыли круги, в ушах звенело. Не разбирая дороги, он шел вперед и удивился, оказавшись у родника. Он опустился на камень. В крошечной тьме утесы и скалы кругом выглядели устрашающе огромными и такими мрачными, что мрачнее их в этот час могла быть только душа Такена. Потому что там, во тьме, среди скал он оставил самое дорогое. Долго он сидел в каком-то дурмане, переживая все заново.

Курсы они окончили в конце зимы. Только успели получить тракторы, как началась пахота, и их направили сюда, на горные поля. Здесь с первого дня Такен с Даригой работали на одном тракторе.

Жизнь Такена с некоторых пор походила на сплошной праздник. словно на всем свете не было ни забот, ни печалей. Такое бывает, наверное, с птенцом, когда крылья у него наконец окрепнут. Чистое, как родниковая вода, чувство поселилось в душе Такена, озарив его дни светом и радостью. Он засыпал и просыпался с мыслями о Дариге, с появлением которой все в мире, прежде таком сером и неприметном, переменялось самым удивительным образом. С нею он до сих пор ни словом не обмолвился о своих чувствах. Может, и сказал бы, но не мог преодолеть юношеской застенчивости. Хотя жалеть об этом не стоило. И без того каждый миг для него был наполнен благоуханием и свежей прелестью весеннего цветка. А теперь ему было так плохо, что хоть с кручи вниз головой прыгай. В груди его бушевала черная буря.

В этот злополучный день, как назло, сломался трактор, и они с Даригой оказались не у дел. Надеялись, что подъедет бригадир и с его помощью можно будет устранить поломку, но тот не появлялся. Пришлось им вернуться на стан.

Когда они пришли, на стане никого не было, кроме

поварихи Рысбике и Аманбека, который дня два тому назад уехал в центр и, судя по всему, только что вернулся. Он заметил их издали, вышел навстречу, залезил:

— Здравствуй, Дарига! Как дела, Такен? Вы что это так рано? Или ты, Дарига, спешила поскорее отвести моих гостинцев?

— А что за гостинцы? Есть из-за чего так пыжиться?— шутя поддела его Дарига. Аманбек в замешательстве не сразу нашелся, что сказать, но к нему на помощь пришла Рысбике.

— Если бы он побывал в городе, он не поспешил бы на подарки. Скажите спасибо, что он вообще вспомнил о нас, прихватил для нас гостинцы,— сказала она своим слащавым голосом.

Такена этот разговор раздражал настолько, что он постарался скорее пройти мимо, чтобы прошмыгнуть в дом. В дверях он услышал, как Дарига оправдывается:

— Да просто к слову пришлось. Никто от него и не ждал гостинцев.

Они вошли вслед за Такеном. Накрыли дастархан, и Аманбек выложил из своей дорожной сумки конфеты, печенье, потом вытащил бутылку сладкого красного вина и поставил перед женщинами.

— Это вам с Рысбике.

— А ты почему не идешь к дастархану? Подсаживайся. Бери конфеты,— сказал Аманбек Такену, который сидел поодаль, уткнувшись в свежий номер «Жулдыза». Затем он снова полез в сумку, достал небольшой сверток, в котором оказался белый капроновый платок, и протянул его Дариге.

Журнал выпал из рук Такена. Предчувствуя неладное, сердце бешено заколотилось.

— Не надо... Ты что? Зачем это?— пробормотала трясущимися губами Дарига. Наверное, подарок Аманбека и для нее самой явился полной неожиданностью, потому что она густо покраснела и опустила голову.

— На день свадьбы тебе кумил,— ответил Аманбек.

Такен взглянул на Даригу. Она не поднимала опущенной головы. Он ждал, что она возмутится: «Какая свадьба?», но женщина молчала. Тогда он встал и вышел. И сразу побрел на поле, пробыл там, пока не пришли Дарига с бригадиром. Втроем они починили трактор, потом Такен с Даригой принялись за работу. Оглушительный треск, туча пыли, жажда, а главное, живое

дело заглушили на время мучительное смятение, в каком пребывала его душа все последние дни. Но все равно тягостное ощущение потери не оставляло Такена ни на минуту. А Дарига вела себя так, будто провинилась в чем-то перед ним. Она избегала смотреть ему в глаза. И не щебетала, как прежде, когда за веселой болтовней они не замечали, как летит время...

Дарига металась, разыскивая Такена, он сидел, обхватив ноги руками и положив голову на колени, на большой каменной глыбе-плите у родника. Было свежо, но он ничего вокруг себя не замечал. «Куда он мог подеваться?— гадала Дарига, не на шутку встревожившись его долгим отсутствием.— Где бродит? В такой темноте недолго и заблудиться». Бегом добежала до родника, но и тут его не увидела, закричала отчаянно:

— Такен! Та-а-ке-е-и!

Такен вздрогнул от неожиданности, поднял голову. Увидев Даригу, вскочил, чтобы броситься к ней, но тут же снова опустился на камень. Он ждал ее, знал, что она его разыщет.

— Такен!— Дарига повернула парня лицом к себе. Голос ее прозвучал по-матерински мягко.— Я все знаю. Но ты подумай сам. Разве такое возможно? Сравни нас. Я ведь уже побывала замужем. Что завтра скажут люди? А что твои родители скажут?... Подумай, милый. Нельзя, понимаешь? Нельзя!— В голосе ее слышались слезы.

Она провела рукой по голове Такена и затихла.

Такен ничего не понимал. Отказывался понимать. Они, подавленные, молчали.

Все вокруг замерло, словно оцепенев от грусти. Вдруг в полной тишине донеслось издали бляение отбившейся от стаи косули. Эхо долго носило по горам этот одинокий и горестный звук.

СКАЗ О ВОРОНОМ

Так заведено, что если кому-то везет, то везет во всем. Он сам себя не помнит от счастья, все витает, окрыленный, под небесами, а на грешную землю ему и взглянуть недосуг. Да хоть того же Таурбая возьмите. Он подрасти толком не успел, едва, считай, до гривы коня дотянулся и сел в седло, как назывался уже почтительно «Тауке». К таким сам господь бог благоволит. Не ску-

пится; отваливает одному столько, что с избытком хватило бы на десяток обездолженных. Наделил его талантами несметными — это ли не милость всеблагого?

Искусством красноречия, в котором не было ему равных, выдвинулся Таурбай, еще и твердостью характера. Потому заметил его в юные годы и приблизил к себе волостной управитель Бекболыс. А покровительство влиятельного вельможи, прославившегося мудростью и благородством далеко за пределами земли казахской, надежно защищало Таурбая от житейских бурь и невзгод.

Уверовав в его деловую хватку и прозорливость, в острый язык и зоркость, волостной назначил джигита аульяном, сделал своей правой рукой, вручил бразды правления. Потому ли, что смолоду не знал Таурбай неудачи и вскружила ему голову рановато полученная власть, или дремала в его жилах, ожидая своего часа, заложенная от рождения порочность, кто знает, но как только стал он вершить судьбы человеческие, так проснулась в нем дикая гордыня, и возомнил он себя владыкой земным. Понемногу привык Таурбай не считаться с теми, кто у него в подчинении. Открылось в нем и корыстолюбие великое, и искал он в любом деле для себя только выгоду. Уже не совестился Таурбай совершать насилие, заключать подлые сделки. День ото дня становился он грозней и неумолимей для беззащитного, зато стада его множились с завидной быстротой.

Кое-кто о чем-то догадывался, но всего, что творит Таурбай, не знал никто. Тому, кто смел усомниться в его честности, Таурбай не подавал руки. Между тем в мире все шло своим чередом. Постепенно народ притерпелся к его притеснениям: «Что делать, раз его поддерживает сам Бекболыс?» Никто даже не пытался перечить Таурбаю.

С годами стареющий Бекболыс отошел от дел, полностью доверил их Таурбаю. О мошенничестве и преступных делах своего любимца не подозревал. Чему тут удивляться? С сотворения мира злодейство происходит ежечасно, а добро встречается редко, потому и помнится долго. Алчный же страшней голодного, ибо никогда не знает насыщения. От безнаказанности своей, от покорности людской Таурбай совсем обнаглел. И ум свой, и смекалку, и дарования многообразные поставил на службу одному — своей ненасытной утробе.

Род этот занимал обширнейшие пастбища в степном краю, где издревле обитал кочевой народ. Не было у завравил рода иных забот и печалей, как соперничать друг с другом в богатстве и знатности. Любили они пышные пиры и веселье, избегали трудов и тревожностей.

Было Таурбаю где разгуляться при таких порядках. Приглянется ему чужой скакун — непременно будет ходить у него под седлом. Понравится красавица — и ее сумеет заполучить в свои руки. В мире много соблазнов, разве за всем угонишься? Но легко ли остановиться, если не вразумит тебя сам создатель? Глаза — завидушие, душа — падкая до удовольствий. Не знает грешный утоления, сколько ни вкусил бы он радостей. Жадность его и губит.

В захудалом бедняцком ауле в той же волости жили трое братьев-сирот: Тамаш, Жагаш и Алмас. Особой нужды они не знали, ни от кого не зависели, держались со скромным достоинством и честь свою берегли, как зеницу ока. В наследство им досталось небольшое состояние, которым они владели сообща. Пуще всего они дорожили своим вороным конем, слава о котором гремела на всю округу. А он действительно был хорош, этот конь, прозванный «вороним Тамаша». В тех краях и самый старейший из аксакалов не упомнит такого коня, который превзошел бы вороного в красоте и ходкости. Тот вороной и запал в душу Таурбаю. Поначалу самодовольный богач был уверен, что братья уступят ему коня без разговоров. «Пойду к старшему, Тамашу, — думал он. — Предложу свою дружбу, если не пожалеет своего коня для меня. Конечно, он с радостью ухватится за возможность сблизиться со мной. Он же понимает, что я не останусь в долгу». А когда Таурбай пришел к Тамашу со своей просьбой, тот, против ожидания, сказал совсем обратное:

— Нет, Тауке, вы мне в самое сердце нож всадить хотите. Конь дорог не только мне. Всем нам троица дорог. К тому же я не единственный хозяин. Если и был бы хозяином, не стану обманывать, и тогда не исполнил бы вашего желания.

Прямо так и сказал. Таурбай не привык, чтобы ему отказывали, пустил в ход сперва свой медоточивый язык, улещал всячески Тамаша, потом разыграл обиду смертную. Убедился, что сломить упорство джигита ему не

удастся. Взыграло в нем самолюбие, отступиться от своего, хоть убей, не может. Во что бы то ни стало надо ему добиться своего. На какие уловки он ни пускался, а Тамаш не поддается. И чем больше тот упирается, тем сильнее в Таурбае разгорается желание завладеть вороным красавцем. Ни о чем другом уже думать не может.

Настоящая страсть жаждет утоления, а если к ней примешается еще упрямство, то человек не уgomонится, пока не достигнет цели. Призвал Таурбай всех троих братьев к себе и предлагает:

— Берите из моего табуна на выбор любой косяк, а вороного отдайте.

Братья и целым косяком лошадей не соблазнились.

— Кто знает, разбогатеет мы с твоего косяка, нет ли... Надо довольствоваться тем, что имеешь. Пока живы, вороного из рук не выпустим. Не будем продавать. Что нам целый косяк, когда видеть вороного — и то для нас большая радость.

Таурбай понял, что разговор окончен. Уходил злой, раздосадованный. Вороной всю дорогу не шел из головы, стоял перед глазами, как наяву.

Ох уж этот вороной! До чего же он хорош! Разведаром им дорожат братья?! Холят и нежат, как дитя малое. Как верблюжонка берегут от сглаза. Взлелеяли чудо коня на зависть всем. Кто мог думать, что в животном может быть столько красоты и благородства? С какой горделивой важностью он вскидывает свою красиво посаженную некрупную голову! Подойдут к нему — он, выгнув стройную, как у лебедя шею, косит лиловым глазом, и едва седок коснется ногой стремени, плавным, размашистым шагом устремляется вперед. А как мягок его ход! Куда до него иноходцам! Он идет, подставляя высокую, широкую грудь встречному ветру, и черная, как смоль, шелковистая его грива так и развевается. Ах, какая в нем грация, какая пластика! Как прекрасен он в движении! Да, о таком коне Таурбаю остается только мечтать.

Вот ведь интересно, конь тот не был ни слишком рослым, ни слишком долгоногим; тело его, собранное, легкое, пружинистое, поражало соразмерностью частей. Спина в меру широка, круп, словно литой, живот подтянут, ноги — тонкие, стройные, а грудь — крепкая. Гладкая шерсть поблескивает, как кора таволги. Глаза сверкают алмазами. Зоркий и чуткий, вороной чувствует опас-

ность за версту: стоит вдали мелькнуть какой-то точке — он настораживается, нервно перебирает ногами, пугливо пятится вбок, пофыркивает, готовый умчаться.

Большинство степняков ценили вороного не столько за скорость, сколько за отличную выезку и редкую красоту. Братья, правда, ни разу не выставляли его на больших состязаниях. Но, бывало, он приходил первым на скачках между аулами да еще где-нибудь на охоте мог помериться резвостью с зайцем или лисой. Возможно, вороной и не способен был выиграть приз в представительной байге. И скорее всего, хозяева его знали об этом. И все же кто только ни заглядывался на вороного, кто ни мечтал о нем.

— Чего еще желать джигиту от жизни, если он владеет вороным, — вздыхали с завистью многие, которым будто бы тоже грех было сетовать на судьбу: и сыты они, и одеты, и радостями не обделены.

— Много ты хочешь! Этого коня не то что вы, сам Таурбай заполучить не смог, — насмешничали над ними другие.

Среди оживленного разговора кто-нибудь замечал:

— Надо же, а? Все-таки силен этот Тамаш, раз от целого косяка отказался.

— Ой, а как он, по-твоему, должен был поступить? Разве можно такого коня кому-то отдавать? Да ты и сам на его месте ни за что не отдал бы вороного.

— По-моему, этот вороной не местной породы.

— Да, кажется, так. Какой-то купец с юга следовал в Акмолинск, останавливался в ауле. Пожаловался отцу Тамаша, что взял в дорогу жеребую кобылу. «Боюсь, — говорит, — не выдержит долгой дороги». Покойник был добрый человек, пожалел кобылицу, обменял ее купцу на верховую лошадь. Этот вороной от той самой кобылы родился.

— Ладно, пусть вороной не местных кровей, но все равно это обыкновенная лошадь. Что ж в ней особенного? Внутри, как у всякой животины, — навоз, снаружи — шерсть. Кабы голова у ней была золотая, а зад — серебряный, тогда другое дело. А так что ж ее не менять на косяк-то? Тамаш черт знает что воображает! Пожалел какого-то коня для Таурбая. Мог бы и за так отдать, — пренебрежительно говорил другой.

А обозленный Таурбай дни и ночи размышлял, как бы отомстить Тамашу за обиду. Придумывал разные способы мести, один страшнее другого. «Не быть мне

Таурбаем; если не оседлаю вороного», — поклялся он себе. Одному богу известно, когда ему выпадет счастье держать в руках поводья вороного. Это зависит не только от изворотливости Таурбая. Если бы все упиралось в него самого, он и дня не медлил бы. Но делать нечего, надо дожидаться удобного случая. А без толку суетиться незачем. Много ли, мало ли, но придется терпеть.

Хотя Таурбай в глубине души решил не торопиться с мезтью, но его ненависть к Тамашу была столь велика, что, задавшись целью сломить противника, он не упускал ни одной возможности навредить ему.

У среднего из братьев — Жагаша, была невеста. Уже и сватовство состоялось, и калым, правда, небольшой, был уплачен, даже день свадьбы успели назначить: до него оставалось каких-то полгода.

Таурбай довольно часто бывал в том ауле, где жила невеста Жагаша, но не знал даже, как она выглядит. Раньше ему и в голову не приходило интересоваться ею. А тут он приехал в аул к ней намеренно.

Аркуль никого не могла бы затмить ни умом, ни красотой, но была довольно мила, сложена недурно, хорошо одета. Судя по всему, в семье ее любили и баловали. Возможно, поэтому в ней пока живы были и детская шаловливость, и детские причуды, которые с возрастом, конечно же, забылись бы, и стала бы она верной и любящей женой.

Переступив порог дома с коварным замыслом соблазнить чужую невесту, какой бы она ни оказалась, Таурбай был приятно удивлен, увидев, что эта девушка, достигшая полного расцвета, очень привлекательная. По душе пришлись ему и игривый взгляд черных глаз, и яркий румянец щек, и молодое, упругое тело, что так волнующе покачивалось при каждом ее шаге.

Он и сам уже готов был поверить в то, что увлечен всерьез, и будь человеком менее испорченным, не помнил бы о причинах, побудивших его искать ее благосклонности. Чем больше он смотрел на Аркуль, тем сильнее распалялся от бесстыдных желаний, тем становился нетерпеливей. Среди женщин аула он без труда разыскал сводницу, которая взялась заманить девушку на свидание.

Когда Аркуль поняла, что попала в ловушку, она испугалась. Но как воробей бывает бессилем перед завораживающим взглядом змеи, так и она оказалась неспособна устоять перед вкрадчивыми речами бывалого ис-

кусителя, не могла стряхнуть с себя наваждения и уйти. А он, почувствовав свою власть над ней, не жалел слов.

— Это истинная страсть,— божился он.— Все мои помыслы, все желанья — о тебе.

Таурбай говорил, что он забыл и о своем высоком положении, и об имени, которое носит.

— Я, Таурбай, склоняю свою гордую голову перед тобой,— льстил он девушке.

Его, как он утверждал, не пугают ни людские пересуды, которые неизбежны в таких случаях, ни осуждение близких. Он знает, что у Аркуль — прекрасная душа, способная оценить человека по достоинству, верит, что не будет отвергнут. Разве Таурбай не нашел бы другую, если бы захотел поразвлечься? Ему нужна только она — Аркуль.

«У женщины волос долог...» Злополучная девчонка жадно впитывала каждое его слово. После его пылких признаний она вместо решительного «нет» сказала смущенно:

— Я ведь просватана. Если кто-то узнает о нас, позора не оберешься. Как мне быть тогда, что делать?

Для того, чтобы осуществить задуманное, Таурбай ничего не пожалел бы. Удача сама шла ему в руки, и он, чтоб не спугнуть ее, клятвенно заверил в случае огласки немедленно жениться на девушке. Он и сам не желал бы уступать ее этому голодранцу, который еле концы с концами сводит. На жизнь впроголодь обречь ее не хочет.

— Я тут же пришлю сватов. Ни скота не пожалею, ни другого добра. Все, что отец твой запросит,— отдам. Поставлю белую юрту для тебя, и будет у меня еще отдельный отау¹.

Видимо, Аркуль прозябанию рядом с человеком незнатным и небогатым предпочла жизнь в достатке, какую сулила ей роль токал² именитого бая. Она уступила Таурбаю.

В ту же ночь, дождавшись, когда все в доме уснут крепким сном, Таурбай приподнял низ белого полога и прополз на четвереньках к постели, где его приняла в объятия чужая невеста.

Первый пыл любовной страсти угас довольно скоро,

¹ Отау — юрта для молодоженов.

² Тркал — младшая жена.

и Таурбай оставил ее. Больше он в том ауле не появлялся. Разумеется; слухи о его связи с Аркуль быстро дошли до ушей Жагаша. Братья сочли за благо расторгнуть помолвку, и Аркуль осталась вековать в родительском доме.

Нанеся братьям кровную обиду, Таурбай праздновал победу. Но и то огромное наслаждение, которое испытал он, опозорив невесту Жагаша, не утолило жажду мести. Он не успокоился тем, что расстроил чью-то свадьбу, главный удар приберег для будущего. В голове его созрел хитроумный план, который, он был уверен, поможет ему завладеть вороным конем Тамаша. Таурбай теперь вплотную подошел к его исполнению.

* * *

В поведении Таурбая появилось что-то новое и неожиданное, чего никто не мог разгадать. В прежние времена в роду его был заведен обычай отправлять гурты скота на продажу в Акмолу или Караоткел раз в год — поздней осенью. Это был лучший сезон для торговли скотом. Нагулявшую на летних пастбищах жир скотину можно было сбывать по хорошей цене, а вырученных денег хватало на закупку годовых запасов зерна, сахара, чая, мануфактуры. Потом до следующей осени никто о базаре не помышлял.

С недавних пор Таурбай то и дело затевал поездки на базар. Из преданных ему людей составлял караваны три, а то и четыре раза год и ходил с ними не только в близкие города, но и в места более отдаленные.

Многие недоумевали:

— К чему это Таурбаю? Чего ему не хватает?

На что самые дальновидные из его сородичей отвечали:

— Видимо, он решил заняться торговлей.

Разве Таурбай проговорится, что у него на уме? Никто не подозревал об истинной причине его поездок. Он скитался без усталости по базарам, а зачем, почему — о том, кроме него самого, ни одна душа так ничего и не знала. Бывал Таурбай с караваном и в Акмоле, и в Караоткеле, добирался до Туркестана и еще дальше — в Аулие-Ата. Между тем пролетело два-три года, а Таурбай упорно мотался по степным дорогам. И вот наконец он нашел то, что искал. После долгих, неутомимых поисков, Таурбай оказался на рыночной площади в Ташкенте. Его, этого хмурого туркмена богатырского роста,

он увидел сразу. Да и немудрено было его не увидеть, раз он возвышался над толпой на целых две головы. Таурбай отметил мельком и смуглое его лицо, окаймленное бородой, и острый взгляд из-под бровей. Но не внешность туркмена его интересовала. Интересовало его совсем другое.

— Эй, приятель, что на базар привел? Продавать думаешь? — жадно спросил он.

То ли туркмену не понравился хищный блеск в его глазах, то ли поспешность, с какой он задал вопрос, но в ответ Таурбай услышал:

— А зачем я его привел, по-твоему, если не на продажу? Или я задолжал тебе и ты ждешь, что я отдам его тебе в уплату долга?

Голос джигита прозвучал холодно и презрительно.

Ни грубый ответ туркмена, ни его надменный тон не произвели на Таурбая ровного впечатления, он был весь поглощен созерцанием коня, которого тот держал под уздцы. Таурбай оглядел коня со всех сторон. Радости его не было границ, а безграничной радости было удивление. Он сам не верил своим глазам. Это действительно было чудом из чудес. Как тут не поверишь в могущество природы?

Конь был точной копией вороного Тамаша. Даже между близнецами не встретишь такого сходства. И силуэт коня, и его поза, и резкость движений, посадка головы и горящие, черные глаза, чутко настороженные уши и гладкий круп. И, главное, масть — конь от макушки до хвоста весь черный, без единого пятнышка! Шерсть переливается на солнце, вспыхивает бликами. Надо же, все у него точь-в-точь, как у вороного Тамаша.

— Сколько твоему коню? — поинтересовался Таурбай.

Туркмен нехотя назвал возраст коня и добавил:

— Что ж ты сам в зубы не посмотришь?

Таурбай подошел к коню, протянул руку. Тот фыркнул недовольно, вскинул голову, стукнул раз-другой литым копытом, взрывая землю.

— Так-так¹, жануар², так-так, — увещевая его, ласково приговаривал Таурбай. Он погладил коня по шее, подбираясь к зубам. Слова хозяина подтвердились. Выходило, что конь этот — почти ровесник вороному Тамаша.

¹ Так-так — слова увещевания.

² Жануар — досл. «живая душа», ласковое обращение к животному.

— Ну-ка, садись на коня, посмотрим, каков ход, — сказал Таурбай одному из сопровождавших его джигитов. Джигит взлетел на коня, проехал метров десять. Таурбай, остолбенев, не мог выговорить ни слова. Он узнал мягкий, размашистый шаг вороного Тамаша! Подумать только! Даже выездка — та же! Ни в чем ни малейшей разницы. Или это наваждение?

Именно такого коня он разыскивал на всех базарах. Большого сходства между двумя лошадьми быть не может. Он нашел то, что нужно. Какую цену ни запросит хозяин, он купит этого коня.

Страстный лошадиник, Таурбай хотел понять, как хозяин может расстаться с таким конем.

— Хороший у тебя конь, — сказал он. — Что же ты его продаешь?

Джигит, и без того раздраженный, сказал неприязненно:

— Эй, путник, к чему лишние разговоры? Хочешь купить — покупай, не хочешь — так не морочь голову!

Судя по его ответу, джигит и сам был не рад, что продает коня. По-видимому, слова Таурбая задели его за живое. Потому он и не пожелал ответить покупателю. «Выходит, его вынуждают крайние обстоятельства, а иначе он ни за что не расстался бы с ним. Или, может, это краденый конь. Оставить у себя не может, вот и продает. Одно из двух. Иначе этому джигиту такой конь всегда пригодится», — заключил Таурбай.

— Ну, герой, называй цену, — сказал он.

Не торгуясь, он отсчитал запрошенную хозяином сумму и взял поводья в свои руки.

— Владей на благо, — искренне пожелал ему джигит. — Тебе не придется жалеть, что ты купил его. Такие кони не часто рождаются на свет. — Он посмотрел на коня долгим тоскующим взглядом и с грустью сказал: «Прощай, жануар».

Таурбай, ведя коня в поводу, двинулся через базар, а тот, натянув узду, вдруг обернулся и фыркнул так, будто бы тяжело вздохнул.

Когда Таурбай вернулся к своим людям, те все разом охнули:

— Надо же, а! Это же ни дать ни взять — вороной Тамаша! Он самый и есть! Бывает же такое! Ну и ну! — восхищаясь, цокали они языками.

— А Таурбай просил ведь когда-то Тамаша уступить ему своего вороного, да тот отказал ему. Стало быть,

этот конь так запал ему в душу, что он все эти годы рыскал по базарам, все такого коня искал. Видишь, цель у него какая была: непременно ездить на точно таком же коне. Да, если деньги позволяют, чего только человек ни сделает,— так рассудили люди.

* * *

То же самое говорили и в ауле. Слух о приобретенном Таурбаем коне разнесся по всей округе. Больше всего судачили о поразительном сходстве коня с вороным Тамаша.

Всю дорогу от Ташкента до аула этого коня ни разу не седлали, а вели в поводу, накрыв одной легкой попоной. И дома, после долгого утомительного перехода, ему дали отдохнуть, несколько недель держали в отдельном сарае, ходили за ним, как за малым ребенком, причем Таурбай зорко следил, чтобы все делалось как нельзя лучше. Лишь после этого Таурбай впервые выехал на своем вороном. Никто, кроме него самого, на того коня не садился. Да и сам Таурбай седлал его по торжественным случаям. Первое время только и было разговоров, что о «туркменском» вороном, как его прозвали в ауле, потом люди постепенно привыкли к коню, и шум улегся сам собой.

* * *

Была уже середина зимы. Как-то Таурбай, закутавшись в одеяло, залег с вечера пораньше в постель, но проворочался без сна до глубокой ночи. Маясь тревогой, он полежал еще немного, потом грубо разбудил лежавшую рядом жену.

— Эй, встань-ка. Разожги очаг. Разведи курт с сурпой¹, подогрей да подай мне,— бросил он жене и начал одеваться.

Жена в испуге вскочила, подобрала под платок растрепанные волосы, засуетилась:

— Собрался, что ли, куда?

— Да, давай быстрее!

— С чего это вдруг? Вроде ночь еще на дворе. Что ты задумал?

— Какое твое дело? Сказано тебе, согрей сурпы. До чего же ты болтлива. Кто спрашивает у мужчины, куда

¹ Сурпа — бульон.

и зачем он едет?— прикрикнул он на жену, и та сразу присмирела, робко сказала:

— Разбудил вдруг, кричишь... Откуда мне знать? Напугалась я...

Жена принялась разжигать очаг. Задать мужу вертевшийся на языке вопрос она уже не решалась, но то и дело поглядывала на него, пытаясь разгадать, куда он собрался в этот поздний час. А когда он уже был у порога, подавая камчу, спросила все же:

— Далеко едешь? Когда вернешься?

— Никуда не еду. Вот встречу с одним человеком и тут же вернусь,— ответил ей муж спокойным тоном.

Таурбай сел на оседланного с вечера коня, приладил под колено берданку и, ведя в поводу своего вороного, быстро выехал в дорогу. Высоко в небе тускло поблескивали редкие звезды. Ущелье словно вымерло. Ехать Таурбаю было недалеко. Если бы он даже не погонял коня, и то в предрассветной мгле был бы на месте. А ему важно быть там именно в этот час, когда ночная тьма еще не рассеялась, а народ погружен в сладкий предутренний сон.

Те, кто зимует в песках, селятся небольшими аулами среди гребней барханов. Скот на низинных пастбищах не содержится по дворам. Крупный обычно пасется на воле. Для мелкого ставят загоны из саксаула, шингиля или тростника. На стойловом содержании у степняков только верховые лошади.

Таурбай знал, что Тамаш для своего вороного соорудил заготовку из связанного в снопы камыша, а на крышу пошел обычный дерн. Подъехав к аулу, Таурбай обогнул его стороной и оказался как раз напротив сараюшки Тамаша. Если собаки почуяли бы верхового, они подняли бы лай, поэтому он спешился, берданку повесил через плечо, взял под уздцы обеих лошадей и тихо двинулся к сараю. Все же собаки заметили его, вынеслись с громким лаем навстречу — сука с тремя щенятами весеннего помета и большой лохматый кобель. Таурбай запустил руку, вытащил несколько кусков вареного мяса и бросил на мерзлую землю. Собаки кинулись на приманку, замолкли.

Таурбай беспрепятственно добрался до сарая, привязал в сторонке лошадей и подошел к двери. Как и следовало ожидать, плетеная камышовая дверь была закреплена обыкновенной веревочкой. Он развязал узел, отворил дверь и вошел внутрь. Постоял, ожидая, пока глаза при-

выкнут к крошечной тьме, а конь, потревоженный его появлением, успокоится. Через несколько минут нашарил узду и, приговаривая: «Так-так», стал осторожно поглаживать коня по шее, по крупу. От привычных прикосновений конь притих и стоял покорный, смиренный. Тогда Таурбай нагнулся и нащупал кисен¹ на передних ногах вороного. Он был готов к этому. Извлек из голенища сапога прихваченные на этот случай отмычки и попробовал, не подойдет ли какая-нибудь к запору. Одна из отмычек пришлось впору, и цепь, тихо звякнув, упала на пол. Опасаясь, что конь может заржать, Таурбай перетянул ему морду ситцевым платком и осторожно вывел из сарая. Вместо него он поставил в стойло своего вороного, спутал ему ноги, затем плотно прикрыл дверь и даже завязал веревочкой, после чего достал из-за пазухи огниво и подпалил камыш сразу в нескольких местах. Сухой камыш занялся огнем, вспыхнул в мгновение ока, Таурбай быстро подхватил поводья вороного и заспешил прочь.

Уже через минуту-другую, взметнувшись, загудело пламя. Таурбай, нахлестывая коня, быстро уходил. Он успел скрыться за песчаной грядой, когда до слуха его донесся взвизгивший до небеса пронзительный звук, от которого его бросило в дрожь. То было предсмертное ржание туркменского вороного. Таурбай невольно вздрогнул. В багровых клубках дыма весело металась языки огня. Среди покоя и тишины они, казалось, кричали всему миру о подлом преступлении Таурбая. Он поежился, стегнул что было силы коня под собой, чтобы оказаться как можно дальше от этого жуткого костра и забыть о нем навсегда.

* * *

Весть о гибели вороного Тамаша на другой день разнеслась по всему песчаному краю. Сородичи на то и сородичи, чтобы посочувствовать, если с тобой стряслется беда.

— Какая жалость,— искренне огорчились одни.

— До чего же был хорош этот вороной, жаль его, конечно,— вздыхали другие.

— Надо же такому случиться!— горестно восклицали

¹ Кисен — путы.

третьи.— И откуда только напасть эта на них свалилась?

И если кто-то задавался вопросом: «А не злой ли умысел тут кроется?», то помалкивал, потому что не мог обосновать свои подозрения сколько-нибудь вескими доводами. Не затевал разговора из боязни прослыть пустословом.

Долго еще вспоминали в ауле этот случай. Особенно то, как оплакивали братья своего коня, когда из-под злы были извлечены его останки, как после утраты много дней не могли прийти в себя, жили замкнуто, из дома не выходили.

А Таурбай как ни в чем не бывало гордо разъезжал на вороном. Однако остерегался слишком пристального внимания к своему копы, старался выпасать его подальше от людских глаз. В глубине души он не мог патешиться своей победой и с самодовольством думал: «Ну, отважные молодцы, какво связываться со мной?»

Лишь одно его беспокоило. Нет-нет, да приснится ему сарай, объятый огнем, где мечется среди алых языков пламени вороной конь, и слышит он пронзительное ржание и просыпается в испуге. Сердце будто обрывается, а потом начинает неистово биться. Вспомнит он иногда про дурной тот сон и думает: «К добру ли это?» Но власть и богатство заставляют забыть о многом, забылось и это, и дни его, как и прежде, потекли безмятежно и счастливо.

Слава его не только не убывала, а возрастала с каждым днем. Недостатка в чем бы то ни было он не испытывал. И, как всегда, имя его произносилось не иначе, как с почтением.

Между тем колесница времени совершила еще один круг, оставив за собой целый год. Следующей зимой кочевое племя, как и много веков назад, снова переселилось в пески. Первые недели прошли в хлопотах по починке сараев и загонов, по забою скота. Управившись с делами, досужий народ предался зимним утехам. Устроивались гуляния, игры, охота с гончими псами.

Таурбай собирался как-нибудь проверить, так ли хорош вороной в скачках, как в езде. В ноябре выпал первый снег, и Таурбай разослал владельцам лучших коней и гончих приглашения:

— Вместе с косулями с гор спустились и волки. Давайте выедем на охоту.

Собрались быстро. Таурбай, обласканный вниманием, ехал в центре.

— Ты вроде в первый раз выезжаешь на охоту на своем вороном,— громко перешучивались его товарищи.— Если вернешься не с пустыми тороками, то заколешь для нас самую жирную овцу.

Вдруг впереди на пустоши из шингилевой куши выскокил волк и пустился наметом к барханам. Таурбай, заметив его, вскричал:

— Уходит! Спускайте собак!

— Где? Где?— заволновались охотники.

Он взмахнул рукой, указывая на бегущего зверя, охотники, увидев, растерянно засуетились.

— Я погоню за ним, а вы следите, куда он завернет. Завернет — скачите наперерез. Надо выгнать его на равнину, если удастся. Да спускайте же поскорей собак! Ну, я пошел. Чу!— выкрикнул Таурбай и пустился вдогонку за волком.

Опасаясь, что быстрые притомятся, бегая за каждым встречным зайцем или лисой, охотники всю дорогу не спускали их с поводка. Теперь они поспешно отвязали их, но те бестолково крутились на месте, пока, выбросив руку вперед, один из охотников не крикнул:

— Ату! Возьми его!

Оба пса ринулись в погоню. За ними, нахлестывая коней, помчались и всадники. Барханная степь, которая минуту назад мирно дремала, наполнилась топотом и гиканьем, свистом и улюлюканьем.

Вскоре волк исчез из глаз. «Неужели скроется?— встревоженно подумал Таурбай.— Это было бы обидно». Но одна из гончих оказалась столь резвой, что стрелой пронеслась мимо Таурбая и ушла далеко вперед. Таурбай почувствовал, что серому не уйти от гончей, и, немного успокоенный, весь отдался азарту погони. Охота обещала быть интересной. Он с наслаждением отметил плавный бег вороного. Казалось, его любимец не в пример другим коням, на которых ездок ощущает каждый толчок, словно бы скользит по воздуху. Чем сильнее покрывался вороной испариной, тем становился легче и стремительней.

— Чу, жануар, чу!— крутя камчой над головой, весело орал Таурбай.

Прошло совсем немного времени, ровно столько, сколько бы понадобилось, чтобы вскипятить молоко, и Таурбай увидел, как вдали, растянувшись цепочкой на

длину аркана, несутся волк и обе гончие. К сожалению, расстояние между ними не сокращалось. Обернувшись, Таурбай заметил, что его товарищи, рассыпавшись полукругом, скачут за ним. Их разделяло не больше чем полверсты. Таурбай не без самодовольства подумал, что настигнет зверя гораздо раньше других охотников.

Чуя приближение всадника, гончие осмелели, сделали сильный рывок и пошли за серым след в след. Стоило бы Таурбаю догнать их, они тут же вцепились бы в глотку волку. И, разумеется, Таурбай первым нанес бы удар по нему. Хмелея от предвкушения близкой добычи и подогреваемый честолюбием, он нетерпеливо прищиприл коня и возбужденно закричал:

— Куси его, куси! Ату! Ату!

И в этот самый миг весь мир вдруг опрокинулся. А потом все обратилось в густую, вязкую черноту. То конь, мчавшийся во весь опор, попал передней ногой в вертикальный ствол норы и полетел кувырком.

Подоспевшие первыми товарищи Таурбая позаботились о том, чтобы прирезать коня, пока тот не испустил дух, после чего отправили в ближайший аул человека за верблюдом, на котором перевезли домой бездыханного Таурбая. Обо всем этом он узнал через несколько дней, когда пришел в сознание.

Долго он был прикован к постели. Одно слово, что жив остался. Однако не роптал. Благодаря тщательному уходу понемногу поправлялся. Раздрабленный таз, переломанные руки, ноги, ребра срослись. Он заново научился ходить. Со временем и вовсе вошел в силу. Наверное, по истечении какого-то срока память о перенесенных муках улетучилась бы, как туман, забылись бы и адская боль, и бессонница. Но уже какой-то недуг сродни припадкам незаметно для окружающих постепенно завладевал им.

Иногда, устав или расстроившись, Таурбай чувствовал упадок сил, неясная тревога сжимала сердце, к самому горлу подкатывала дурнота. Он бледнел и обливался потом. Бывало, помучается так, помучается, потом боль и отпустит.

— Уф!— переведет он дух.— Как тяжело!

А в другой раз такое начнется, что лучше бы ему умереть. Начинается приступ как обычно, потом вдруг накатит слабость; в этот самый миг перед его глазами заполыхает все алым светом; заиграют-запляшут языки пламени; голова его наполняется звоном, слышится ему

предсмертное ржание мечущегося в огне вороного, и охватывает Таурбая неописуемый ужас. Он вздрогнет вначале, потом затрясется, как в лихорадке. Задыхаясь, ловит ртом воздух, а руки и ноги начинают непроизвольно дергаться. Он валится в забытие на пол и больше уже ничего не помнит. Сколько длится это забытие, он не знает. После таких приступов он вынужден проводить в постели дня два, а то и три.

Болезнь эта стала отныне неразлучной его спутницей. Каждый припадок повергал родных и близких Таурбая в смятение, а сам он приходил от них в отчаяние. Так и жил в вечном страхе.

За всю оставшуюся жизнь он так и не признался никому, в чем причина постигшего его несчастья. Да и как он признался бы? Как разоблачил бы себя? Разве мог он назвать себя преступником? Допустим, он рассказал бы о совершенном им злодеянии, что это изменило бы? Не вернуть то, что безвозвратно. Что было, то прошло. Ничего Таурбаю не осталось, кроме раскаяния. До самой смерти лежала мертвым грузом в его душе та распроклятая тайна. И если случалось ему снова забиться в припадке, близкие его сочувственно говорили:

— Он этим страдает с тех самых пор, как упал с вороного.

* * *

Таурбаю было под семьдесят, когда он серьезно захворал. Болезнь разом уложила его в постель и впоследствии протекала очень тяжело. Месяца три он находился между жизнью и смертью, а в последние недели лишился дара речи. При нем неотлучно были люди, не оставляли его ни днем, ни ночью. Больной в течение недели ни разу не приходил в сознание, лежал неподвижно, и если бы в нем еще не теплилась жизнь, его можно было бы считать мертвым. Но неожиданно он вздрагивал, а потом долго мучился в корчах. Смотреть на это было невыносимо.

— За что создатель так истязает раба своего?— хватаясь за ворот, шептали сидящие.— За какие грехи? Что за страшная мука?

— Цыц! Как вы смеете осуждать действия всевышнего? Значит, ему на роду написано принять такую муку. На то воля аллаха,— осаживали их почтенные аксакалы.

А в заглухающем сознании неподвижного и безгласного Таурбая то и дело вспыхивала яркая картина гибели вороного. Вновь и вновь полыхало красное зарево пожара, метался среди языков пламени вороной и, вздымаясь на дыбы, испускал жуткое ржание. И от того звука умирающий вздрагивал и начинал биться в судорогах. Один из припадков стал последним в жизни Таурбая.

СЕМЕЙНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ

Спал Қарибоз сегодня беспокойно. И даже проснувшись, маялся тревогой, не находя себе места. Прошло три года, как старик вышел на пенсию. Но дома ему не сидится, и, скорее в силу привычки, чем по необходимости, он пасет стадо совхозных коров.

Вот и нынче оседлал коня и погнал коров на выпас. Едва они ступали на зеленый луг за аулом, он возвращался домой, чтобы подремать часок-другой. Но тут изменил своему правилу, задержался на выгоне дольше обычного. Вернувшись, с удивлением обнаружил, что не испытывает желанья прилечь. Кружил по двору, брался то за одно дело, то за другое, и все без толку.

Как ни силилась старая Қарашаш, но так и не поняла, что происходит с ее стариком, а потому махнула рукой на его настроение и, подхватив кипящий самовар, занесла его домой.

— Что ж ты, идешь-нет к чаю?— позвала она старика. В ней шевельнулась жалость, когда она взглянула на его осунувшееся лицо, на тщедушное тело. У нее и у самой на душе было несладко.

— Қарашаш,— сказал Қарибоз за чаем.— Я сегодня к детям собираюсь ехать.

Старуха, удивленная его неожиданным заявлением, смотрела на него вопросительно.

— Соскучился по ним. Хочу съездить. Если согласится, привезу келин обратно. Может, пожалеет нас, горемычных. Хоть недолго, но пожила бы с нами. Может, вернется. Или хотя бы отдаст нам одного малыша, чтоб была у нас утѣха на старости лет.

— Если хочешь ехать, езжай. Откуда мне знать, может, она совсем охладела к нам... Схожу-ка я в магазин, когда откроется. Там тебе дети навстречу выбегут, так хоть штанишки и рубашонки взять им да сладостей.

— Птенчики мои ненаглядные. Всю ночь мне снились. Небось, спрашивают, где же это бабушка и дедушка.

— Конечно, спрашивают. Как же не спрашивать. Крохотные мои несмышленыши,— старуха промокнула набежавшую слезу краешком кимешека¹.

В последнее время и ей постоянно снились внучата. Всех троих она вырастила. Первенца выкормила своей грудью. Когда Карашаш приняла на руки новорожденного, и он, как птенец разевал свой ротик, она приложила его к груди, и у нее, шестидесятилетней старухи, появилось молоко. Как жадно припал тогда ребенок к ее груди. И двое младших росли в ее объятиях. По вечерам они как цыплята следовали за ней по пятам, чтобы заснуть под ее крылом. Больше всех она была привязана к двухлетнему Рату. Как она соскучилась по нему! Потому и снится он ей по ночам. Вешается на шею, совсем как наяву. Лепечет: «Аже, аже». Кажется ей, что она кормит его, ласкает, жадно вдыхает младенческий запах. «Цыпленочек мой, приехал, родной». Хочется плакать от радости, да нету слез. Только целует его, обнимает, качает на коленях. «Он же здесь, со мной, так зачем же плакать»,— думает она во сне. Вдруг в глазах туманится, и она уже не видит внука. Шарит рукой около себя, а рядом нет никого. «Ратжан, где ты?»— вскрикивает она и просыпается от собственного голоса. Лежит в темноте. От тоскливых дум сон как рукой снимает. Всю ночь так проворочается без сна.

— У келин характер жесткий. Боюсь, она не отступит от своего, не смягчится. Она даже на письмо Жолдаса не ответила. Но ты все-таки съезди. Хоть на детишек посмотришь, узнаешь, как они там,— сказала старуха, убирая дастархан.— А как ты поедешь? На попутной машине или верхом?

— Места кругом людные. Хочу на коне ехать. Если придется, заночую в дороге. Дня за два доберусь, думаю.

— И то верно. А то изведешься, машины дожидаясь.

Солнце быстро набирало высоту. Навстречу ему спешил одинокий всадник. Но что значит шаг коня в широ-

¹ Кимешек — женский головной убор.

кой степи, сомкнувшейся на горизонте с небесным куполом? Путник казался расплывчатым пятном, неподвижно зависшим в дрожащем мареве. А кругом раскинулись пустынные дали. Остановить взгляд не на чем. Нет предела необъятным просторам, нет начала и конца путаным стариковским думам. И что только не приходит в голову человеку, обделенному радостями. Вспомнится давно забытое, и он уже не может унять слезы. Даже то, что нет у него близкой родни, причиняет теперь ни с чем не сравнимую боль, хотя за всю жизнь можно было привыкнуть и к этому.

Не ожидал Қарибоз, что на склоне лет у него будет столько печали. Это злополучное событие, случившееся в его семье, истерзало его душу.

Человеческая жизнь сама по себе ничем, видно, не отличается от долгой дороги, полной тягот и опасностей. И утверждать, что испытания позади, и ты вот-вот достигнешь цели — ошибка. Не надо надеяться, что беды и неприятности тебя обойдут стороной. Иногда людям кажется, что они рождены только для радостей и достойны самого лучшего на этом свете. А другой раз чувствуешь себя обыкновенным путником на той самой дороге. И каждый свой перевал ты берешь с боем. Бывает, терпишь поражение. А где-то достается легкая победа. Да, в бесконечных схватках тебе опорой только твое терпение. Он многое вытерпел в этой жизни, очень многое.

После голодного года из всей его большой семьи остались в живых только двое. Они вдвоем с самым младшим братом Асылханом, взявшись за руки, покинули разоренный смертью аул и пошли куда глаза глядят.

Они примкнули к толпе беженцев, бредущих с Арки в направлении к Қаратау. Там обосновались. Им удалось выжить, подняться на ноги. Вместе с другими они вступили в колхоз. Қарибоз был трудолюбивым человеком и не гнушался никакой работой. Асылхан, хоть и был еще совсем молод, но обладал завидной силой и от брата не отставал. Их называли не иначе, как «братьями-передовиками».

Прошло время, он обзавелся семьей. Женился на Қарашаш. Она родила ему двух сыновей. Первый умер еще малюткой, второй в утешение им остался жить, стал единственной опорой и отрадой для родителей. Он назвал сына Жолдасом, чтобы тот стал верным товарищем его брату Асылхану.

Только жизнь наладилась, только народ вздохнул с

облегчением, началась война. Асылхан ушел на фронт и не вернулся. Пришла лишь бумага, извещавшая о его смерти. Қарибоз будто бы лишился крыльев, утратил веру в светлое и думал, что ему уже никогда не воспрянуть духом.

Но дни идут, и раны понемногу затягиваются. Притупилось и это горе, заволклось пылью, вздымавшейся под колесницей времени. Для живых занималась новая заря, и Қарибоз забылся в заботах о будущем.

Жолдас его стал джигитом, окончил десятилетку. Потом он три года служил в армии, с честью исполнил свой долг. На службе он выучился на шофера и, вернувшись, водил машину.

«Женить его пора, в возраст вошел», — заладила старуха. Попробовал отец поговорить с сыном и понял, что тот вовсе непрочь жениться. Отныне Қарибоз приглядывался к семьям, где росли скромные и трудолюбивые дочери. Из них, он полагал, могут выйти прекрасные жены. Старик мечтал о снохе с покладистым, мягким характером, которая была бы послушна воле свекра и свекровки, не нарушала согласия в их маленькой семье.

Судьба распорядилась по-своему. Сын, никого не спросив, привел неожиданно девушку. Потом Қарибоз поделился сомнениями со своей женой, но та ответила:

— Мне-то зачем об этом говорить? Поступай как знаешь... Но пусть будет так, как он сам захочет. Лучше ему не перечить.

— А кто собирается перечить? Я к тому, что раньше бы ему посоветоваться... Я ведь уже и посвататься кое к кому успел... Даже ответа не дождался... — нерешительно промямлил сконфуженный старик.

И все же он не пошел против воли сына. Дал благословение.

— Вы что, уже договорились обо всем? И откуда она родом? — только и спросил он у сына.

Долго не канителились, сын с друзьями съездил за невестой. Дом Қарибоза наполнился радостью. И старик и старуха, не помня себя от счастья, выставили все, что у них было за душой. Родился первый внук. Теперь им уже ничего не было нужно, они не уставали благодарить небо.

Первые годы Қарибоз в упоении чувствовал только тепло семейного очага, ему казалось, что в доме всегда царит веселье. Он любил сноху, как родную дочь. И даже не подозревал, что ему готовит судьба.

Беды начались с того, что сын стал выпивать. Однажды старуха печально сказала:

— Сын твой приходит домой пьяный. Скажи ему, чтобы перестал пить.

Старик и сам уже не раз замечал за сыном такое.

— Кто сейчас из молодых не пьет? Пусть аллах его вразумит, иначе, говори не говори — толку не будет, — ответил Карибоз жене.

— Приедет он выпивший, начнет говорить что-то, а келин не может промолчать. Упрямая такая, нет бы уступить... Потом скандал начинается. Как же они уживутся так, прямо не знаю, — горестно вздохнула старуха.

Иногда старик и сам слышал шум-гам в комнате молодых. «Что за напасть эта водка! Но ничего страшного. Еще остепенится», — не обращал он внимания на проделки сына. Тем временем народилось еще двое внуков. Жизнь старика наполнилась светом и радостью, обрела смысл и полноту.

Отношения сына с женой не улучшились, а напротив, обострились все больше. Как сын напьется, так непременно разразится скандал. После этого келин или убегает к своей родне, или дня три не поднимается с постели. От былого благополучия не осталось и следа.

С такой бедой старик сталкивался впервые. Несколько раз он сам ездил за снохой, сбежавшей с детьми к родным, и привозил их назад.

Однажды Карибоз отлучился по делам надолго, а вернувшись, не застал сноху с детьми. Оказалось, она опять укатила к родне. В этот раз насовсем, получив развод по суду. Старуха захлебывалась в слезах.

За минувший год он уже дважды пытался вернуть свою келин и внуков домой, но она так и не смягчилась. И вот он не выдержал и едет за нею в третий раз.

Подобно птице, потерявшей своих птенцов, он одиноко стремится вперед. Обрести покой он сможет лишь тогда, когда его внуки будут вместе с ним.

Когда Карибоз добрался до одинокой горы, напомнившей ему караульную насыпь в широкой равнине, день клонился к закату. У подножия горы раскинулся небольшой аул — десяток серых юрт.

Хотя в юрте сватов, когда он спешивался, явственно раздавались голоса, никто не вышел встречать верхового. Вряд ли хозяева не слышали стука копыт. Кари-

боз отвел коня к кусту таволги, небрежно обмотал чембур вокруг ствола и направился к юрте. Тут из двери выскочили двое малышей — лет пяти и поменьше. Завидев гостя, они восторженно воскликнули:

— Ата! Ата наш приехал!— ринулись к нему навстречу, повисли с двух сторон.

— Родные мои, посмотрите-ка, узнали деда,— растроганно бормотал старик. В эту минуту он ни о чем уже не помнил. Прижимая к себе внуков, шагнул в забытье через порог. Они даже и поздороваться толком не дали.

Хозяева на приветствие гостя отвечали холодно. Младший его внук Рат сидел на кошме. Между его ног стояла чашка с айраном. Поглощенный едой, он ни на кого не обратил внимания. Старик уже сел на торь, и тогда только малыш увидел его, широко раскрыл глаза, смотрел с минуту и вдруг улыбнулся. Улыбнулся и, опрокинув чашку, затопал к нему. По кошме растеклась лужица айрана.

Старуха с приходом свата застыла было в неприступном молчании, замкнув свои уста на десять запоров, а тут не вытерпела, взвизгнула:

— И-и... поганец этакий! Ну что за беспокойный ребенок, боже ты мой! Поел бы по-людски да шел играть, так нет... Ну куда это он, интересно, направился?!

Она оттащила малыша назад.

— Эй вы! А ну-ка, идите отсюда, не толпитесь тут. Что, людей не видели, что ли? Оставьте человека в покое!— метнула она недобрый взгляд на старших.

Те сразу присмирели, отошли в сторону.

— Выйди, выйди! Ступай отсюда!

Они мялись, поглядывая то на деда, то на дверь. Только что Карибоза захлестывала радость, а теперь он сразу сник, понурился. Не посмел подозвать внуков: «Идите ко мне, сядьте. Поиграйте тут». Душу будто придавило тяжким бременем. Стиснув зубы, он промолчал.

Внуки ждали хоть слова от деда, но не дождались и, виновато съездившись, примостились у самой двери. Никто из них не отважился нарушить запрет старой бабки. Больше они к деду и близко не подходили. Лишь иногда бросали украдкой взгляд в его сторону и смущенно улыбались.

Сноха от своего не отступилась. Отдать одного из детей старикам тоже не согласилась. Явившись без приглашения, Карибоз не был вправе рассчитывать на госте-

примство и на другой же день стал готовиться в обратный путь.

— Ага, ты куда?— обеспокоенно спросил его Аскар — старший из внуков, заметив его сборы.

— Домой поеду, милый.

— Ага, а где бабушка? Она приедет к нам?

И без того убитый горем старик почувствовал, как слезы встали комом в самом горле. В груди заняло. Он еле удержался на ногах от подкатившейся слабости, затрясая-задрожал всем телом и с трудом вымолвил:

— Приедет, милый.

Ему стоило огромного труда взобраться на лошадь. Долго еще Карибоз не мог прийти в себя. Душа в нем словно омертвела. «О боже ты мой, что же мне теперь делать?»— вопрошал скорбно он, взывая к небу.

Жалкое зрелище представлял старый Карибоз в этот самый свой горький час. Выцветшие, потухшие глаза ввалились и почти ничего не видели за мутной пеленой. По лицу, изборожденному глубокими морщинами, текли слезы.

СОЛНЕЧНЫЕ БРЫЗГИ

Аят проснулся сегодня раньше обычного. Вышел из дома. Небо на востоке только начинало светлеть. Было холодновато. Недавно в степи после весенней оттепели ударили сильные морозы. Это ощущалось еще и сегодня.

«Уже больше недели держится»,— подсчитал в уме Аят, запахивая поплотнее накинутый на плечи чапан.

Когда он открыл дверь в комнату, навстречу ему шел отец с кумганом¹ в руке.

— Райновато вы поднялись. Всю ночь, что ли, не спали, а, отец?— пошутил Аят. Старик ему не ответил, прошел молчком мимо. Аят услышал, как он, глухо покашливая, нашаривает в темных сенях дверную ручку.

«Стареют родители...»— с острой жалостью подумал сын и принялся за хозяйственные дела. Перед отъездом следовало плотно позавтракать. Он быстро разжег печку, поставил чайник. Хотел спросить у матери, где остатки от вчерашнего ужина, чтобы разогреть себе на зав-

¹ К у м г а н — сосуд для омовения.

трак, но потом решил не будить ее: «Как встанет ни свет ни заря, так дотемна не знает покоя. Пусть полежит еще немного».

— Эй! И чего ты стоишь? Первый раз, что ли, видишь свою мать? Когда коня собираешься седлать?— окликнул застывшего у печки Аята отец и тут же принялся будить мать:

— Эй, Рысты, вставай! Подогрей сыну завтрак. Что, до обеда будешь валяться, старая!

— Отец, зачем вам она? Пусть поспит пока, отдохнет как следует.

— Отдохнет? Ишь, пожалел вдруг. А ты привези ей помощницу, если хочешь, чтобы она отдыхала... Прошлый год я тебе говорил: «Давай возьмем дочку Кулназара», благо, они тут по соседству, никуда за тридевять земель мотаться не надо. И родители ее дали согласие. И девушка была не против...

Аят почувствовал, что отец сердится, и постарался поскорее перевести разговор на другое.

— Отец, вы сегодня отару далеко не гоняйте, окружите тут, рядом с домом. Погода нынче неважная, так что как бы вам не растерять овец...

Старик не ответил, только кивнул согласно головой.

Когда Аят выехал, встречный студеный ветер подул сильнее. Однако в воздухе витал бодрящий дух обновления. Еще природа скупилась на щедрое тепло, но обветшавшая ее зимняя шубенка не могла уже вместить нарождающееся буйство весны. Каждая былинка, исхудавшая за зиму, говорила о ее приближении. У Аята заметно улучшилось настроение. Оказавшись верхом, он на какое-то время забыл обо всех неурядицах, о трудной зимовке, когда приходилось работать, не разгибая спины от зари до зари. На лице его играла довольная улыбка. Казалось, он давно ждал этого дня.

Аят направился к Акжару. Вчера, когда он был на настбище, приезжал завфермой, просил отца: «Пусть завтра Аят явится в Акжар. Все отары мы благополучно перегнали к месту окота. Три отары не успели переправиться через русло из-за половодья. Нужно собрать людей на помощь, иначе погубим овец». Потому он и едет туда сегодня.

Есть еще одна скрытая причина, которая позвала его в дорогу. Он многое пережил и прочувствовал за эту зиму. И понял, что то, о чем он давно молчит, прочно засело в его душе. Никогда он не решался говорить об

этом, хранил все в сердце. И вот теперь он твердо решил, что скрывать уже нет смысла, что чувство его созрело и рвется наружу.

Анипа окончила школу года на два позже него. Разница в годах разъединяла их. В прошлом году им довелось зимовать по соседству. Аят тогда пас старых, отобранных из разных отар овец. В доме он единственный работник, потому и не может, как другие, взять нормальную отару и кочевать с ней зимой — в пески, а летом — на отдаленные джайляу.

Пастбища им достались общие, поэтому их отары паслись рядом. Аят был равнодушен к девушкам и при первом знакомстве с Анипой отнесся к ней без особого интереса. Зато озорная девушка, как увидит его, непременно подденет острым словцом, затеет шутивную перепалку.

Как-то Аят пригнал свою отару на водопой к озеру в широкой долине, а в это самое время другая отара выбралась из мелководья и потекла широкой лавиной им навстречу. Опасаясь, что отары смешаются, он прищиприл коня, чтобы выехать вперед. С противоположной стороны какой-то всадник тоже спешил опередить свою отару. Аят первым оказался между отарами и уже направил своих овец в обход встречной отары, как подоспел и ее хозяин, вернее, хозяйка.

— Ой, как хорошо, что вы успели вовремя! А я испугалась, что вы не заметите, и отары сольются, — сказала девушка, задыхаясь от волнения. От быстрой езды щеки ее разрумянились. Небольшие карие глаза в эту минуту смотрели по-детски наивно, с каким-то робким ожиданием, но уже в следующую минуту зажглись строптивым огнем. Над прямым и тонким носом между бровей, словно специально для того, чтобы привлекать внимание, чернела крохотная, с просяное зернышко, родинка.

— Я замешкалась, хотела присоединить тех маток к отаре, — оправдываясь, указала девушка на пасущихся в отдалении овец.

Девушку разозлило, что на ее простодушное признание парень упорно отмалчивался и даже бровью не повел.

Аят мучился, не зная, как заговорить. Анипа тоже не произнесла ни слова, обиженная его молчанием. Наконец, выведенная из терпения, она язвительно сказала:

— Агай, ну и тощие овцы у вас! Плохо, наверное, когда у такого молодца дохленькая скотинка, а? Другие

джигнты по сто восемьдесят ягнят собираются дать от каждой сотни. А у вас, интересно, по сколько придется?

Скупой на слова, Аят от колкостей и вовсе терял дар речи. В ответ на шутку он просто ухмыльнулся. Это была не бессмысленная, глупая ухмылка аульного увальня. Это было признание поражения перед красавицей.

После этой встречи они как-то незаметно сдружились. Первое время девушка пользовалась его застенчивостью, постоянно поддевала, насмешничала, вгоняя в краску. Позже она остепенилась, оставила свои шалости и повела себя с несвойственной скованностью и скромностью.

Прошло немного времени и, успешно завершив окот, семья Анипы угнала свое стадо на джайляу к горному краю. Вот когда Аяту пришлось горько пожалеть себя за то, что у него связаны руки. Была бы нормальная отара, он бы тоже кочевал вместе с другими, сообщая перегоняя гурты, селился бы рядом с друзьями.

Осеннюю стрижку проводили на центральной усадьбе совхоза. К ним наведалься завфермой Асан и предупредил Аята:

— Стригалией не хватает. Погода стоит устойчивая, тепло продержится еще долго. Оставь отару на старика, а сам приезжай, помоги нам.

Аят с радостью согласился. Он надеялся на встречу с Анипой. Но, как нарочно, старый его отец заболел и слег. Аят так и не смог участвовать в стрижке. Правда, позже, когда Анипа прибыла с отарой в пункт стрижки, он все-таки увиделся с ней. Встретились они, как старые друзья. Оба были рады встрече. Они проговорили до самого утра. О многом было сказано в ту ночь, лишь об одном они молчали.

Акжар — река с широким руслом, с высокими, обрывистыми берегами. В период таяния снегов здесь ревел, подмывая берега, поток талой воды. Летом русло пересыхало так, будто в нем никогда не было и капли воды. Свой дикий нрав Акжар проявлял весной, когда отары переправлялись через него с зимовок на летние пастбища. Крупному скоту такая река, конечно, не преграда, а для овец она представляла серьезное препятствие.

Когда Аят подъехал, у переправы уже собралось много народу. На другом берегу он увидел Анипу.

Русло реки было уже перегорожено поставленными рядом пятью-шестью телегами, а сверху был положен настил из сосновых досок.

— Аят, приехал? Вот хорошо. Как раз вовремя подошел. Мы уже навели мост. Только скотина, такая упрямая, по доброй воле не пойдет, так что сил нам много понадобится,— приветливо встретил его Асан.

— Ну, с богом! Давай, начинаем. Денек поработаем на славу, ничего с нами не станется. Надо пораньше управиться. Никакой веры этой погоде. Еще неизвестно, что надумает,— позвал их старый чабан.

Все перешли на другой берег, взяли по одной овце и потащили через мост. Несколько погонщиков безуспешно старались направить стадо на мост.

Тихая недавно степь огласилась криками, блеянием, топотом.

— Погоняй-погоняй! Чу-чу!

— Ой! С той стороны обходи, а то в воду все попадают!

— Ай, задние побежали!

— Бей! Их напугать нужно, иначе не пойдут,— перекивая друг друга, метались люди на переправе.

К полудню шум поутих. Чувствовалось, что все устали. Но кое-чего они все же добились. Овцы уже не шарахались, как вначале, а сами шли на помостки. Только чабаны решили передохнуть, как раздался истошный вопль:

— Ай-ай! Мост рушится!

Посмотрели, а телега в центре и вправду заваливается набок, самодельный мост рушится под напором воды. Все засуетились, забегали.

— Ойбай! За лошадьё бегите! Не пускай на мост баранов! Заворачивай!— кричал завфермой.

Двое кинулись на луг за лошадьё. По мосту в это время проходило не меньше полусотни овец. Если они упадут в воду, то нет надежды, что тяжелые овцы смогут переплыть ледяной поток и выбраться на крутой берег.

Вода подрыла под колесами песчаное дно, и телега кренилась все сильнее.

— Ой, что же делать?— шумели на берегу.

Аят, на ходу раздеваясь, подбежал, ухватился за боковину одной телеги, прыгнул в воду. Поток едва не отнес его в сторону, но он устоял, зацепившись за устойчивую телегу, уперся потверже ногами. Вода достигала груди. Он сделал еще рывок, дотянулся руками до падающей телеги, навалился всем телом, удерживая ее на месте.

Потому ли, что он изо всех сил стиснул зубы, а может, подействовал обжигающий холод, но ему казалось, что тело его утратило чувствительность, задеревенело. От неимоверной тяжести словно бы надломилась ребра. И все же он подпирал телегу до тех пор, пока не прошли последние овцы. Сколько длилась эта пытка, он не понял. Очнулся, услышав чей-то голос:

— Да кидайте же ему аркан!

До его сознания дошло, что все уже кончилось, что беда миновала. Прямо перед ним на воду шлепнулся веревочный конец, он поймал его и, с трудом передвигая задубевшие ноги, выбрался на берег.

— Выпей скорей,— услышал он. Это Асан уже стоял наготове со стаканом в руке. Он опрокинул в себя содержимое и чуть не задохнулся. Огнем ожгло внутренности, он еле перевел дух.

— Ух! Неразведенный, оказывается.

— Снимай с себя все,— услышал он голос за спиной и обернулся. Анипа стояла с большим лохматым тулупом в руках. С какой лаской и восхищением смотрела она на него в эту минуту. Ах, какой это был взгляд! Как много он сказал робкому джигиту! А она все не отрывала глаз. Заледеневшее тело Аята словно обдало теплом, и ему стало совсем хорошо. Только почему-то он вдруг засмутился, отвел взгляд.

«Смотрела она на меня так раньше или нет? Как я не замечал? До чего она красивая, ласковая!»— подумал он. Весь мир преобразился, стал удивительно прекрасным. Он с изумлением огляделся вокруг.

Надоевший до тоски ветер унялся. Куда ни кинь взгляд— расстилалась степь, окаймленная прозрачными миражами. Даль окрыляла, будоражила воображение, вала промчатся на резвом коне. Тучи в небе быстро расползались, таяли. Сверкнула в просвете синева, и сразу проглянуло солнце, брызнув во все стороны золотом лучей.

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Толкын в девичестве была худенькой и бледной де-вушкой и на первый взгляд казалась совсем незаметной. После замужества она словно налилась соками, как молодое деревце. И возможно, осознав свою исключи-тельность, она задалась целью стать еще краше и вся отдалась заботам о своей внешности. Переменился у нее и характер. Она стала гораздо уверенней, веселей, общительней, приобрела очаровательную непринужден-ность манер. Против обаяния Толкын не мог устоять ни один человек. «Ах, какая женщина!» — невольно воскли-цал всякий, кто видел ее хоть мельком.

Акпару поначалу нравилось, что жена его хорошеет день ото дня. Он холил и нежил ее, как мог, был всегда и терпеливым и снисходительным.

Через год у них появился первенец — Арман. Толкын с ним горя не знала. Только кормила по часам, а все осталь-ные заботы о ребенке взяла на себя ее старая мать. В общем-то муж и жена так и не успели почувствовать себя родителями. Приходили с работы — их ждал гото-вый ужин. Поев, уходили в кино, в театр. С рождением сына для них ничего не изменилось. Как жили до же-нитьбы, так и продолжали жить.

Потому ли, что она не слишком была загружена по хозяйству, Толкын всегда страстно рвалась к развлечениям. После какой-нибудь вечеринки Толкын, придя до-мой, делилась впечатлениями. Выглядело это всегда при-мерно одинаково. «Какой тот парень эрудированный, культурный. Аймашка (или Жайнашка, в зависимости от ситуации) и раньше говорила, что он такой. Ничего, а? Можно пригласить к нам, завязать знакомство. Правда же?»

Акпар обычно никак не реагировал: в ответ не раз-давалось ни «да» ни «нет». Но Толкын и не нуждалась в ответе, а продолжала рассуждать в этом же духе. «Че-ловека воспитывает должность. Видел, как он держится! Как король. Положение обязывает. Только жена у него уродка. И одета черт знает как. Потому-то смотрится гораздо старше своего мужа».

Что там говорить, Акпар приходил в уныние, как только жена заводила эти речи. Он выходил из себя от бесконечных рассуждений, с кем стоит поддерживать знакомство, кого следует пригласить к себе, кто во что одет и как выглядит. Или жена не замечала его состоя-

ния, или по известному ей одной расчету делала ему назло, но не успокаивалась до тех пор, пока не перемоет косточки всем, кто накануне сидел с ними за столом и вкушал хлеб-соль. Она ни разу не задумалась, что его раздражает, почему ему не нравятся подобные разговоры. И он, со своей стороны, постоянно откладывал объяснение. Иногда, правда, порывался высказать ей все начистоту, но его сдерживал какой-то ложный стыд, страх нарушить приличия, и он подавлял в себе вспышку. «Да и нужно ли это? Разве близкие люди не должны понимать друг друга без слов? Не должны угадывать настроение по одному взгляду? Можно ли уважать друг друга по принуждению? Как можно ставить условия там, где все решает духовное родство».

Акпар в такие минуты остро сознавал собственное бессилие, чувствовал себя загнанным в угол. Чем больше он думал, тем запутывался в бесплодных размышлениях и понимал, что ему не прийти ни к какому решению. Потому он старался обмануть себя, насилуя свою волю, чтобы приучить себя относиться ко всему спокойно. Оставалось делать вид, что ничего не замечаешь.

Арман рос под присмотром бабушки. После первенца в их доме уже не раздавался крик новорожденного. Толкын, не в пример Акпару, была равнодушна к детям.

Через два-три года после рождения Армана Акпар полушутя-полусерьезно намекнул:

— Армашкой всецело завладела мать. Но нам ведь тоже нужна забава. Как ты думаешь?

Толкын тут же осадила его.

— Ты сперва одного как следует обеспечил бы!

На том разговор и закончился. Возможно, Толкын привыкла, что мать везет на себе все хозяйство, и ничем себя особенно не утруждала. Приходила с работы, ужинала и тут же усаживалась перед телевизором или, сказав, что ей нужно повидаться с Аймашкой или Жайнашкой, уходила на весь вечер.

Был конец рабочей недели. Придя домой Акпар быстро начал собираться на какое-то торжество, куда они были приглашены друзьями. Толкын в тот день вернулась пораньше и сидела уже одетая. Акпар торопливо попил чаю и пошел одеваться. Он вытащил свой выходной костюм, рубашку. Переодеваясь, заметил на воротнике желтое пятно — отпечаток утюга и, огорченный, повернулся к жене:

— О, это невозможно надеть.

— А что случилось?

— Посмотри.

— Это мама натворила. Ты посмотри-ка, на самом видном месте прожгла. Мама!

— Ау!— откликнулась мать. Старушка прошаркала из дальней комнаты в спальню.

— Вы же рубашку Акпару прожгли.

— А-а! Не знаю, я вроде не прожигала.

— Я глажу только свои вещи. Кроме тебя и прожечь-то некому. Ну кто еще гладит?

— Какая рубашка? Ну-ка...

— Вот, эта рубашка!— Толкын вырвала из рук мужа рубашку и сунула под нос старухе.

— А-а, это я вчера в сумерках гладила. Надо же, не заметила. Видно, отгладить получше хотела, утюг прижала сильно. Может простирнуть снова, а?— виновато оправдывалась старуха.

— Что бы ты ни делала, вечно все портишь!

— Слушай, ты что это налетела на мать? Кто тебе запрещает самой постирать все и погладить? Старый человек, глаза наверное уже плохо видят.

— А что ты мне тогда тычешь в глаза этой рубашкой? Взял бы и надел другую.

Акпар перебрал весь гардероб, но подходящей рубашки не нашел. Те, которые можно было надеть, были или постиранные, или неглаженные. Акпар с досадой взглянул на жену, и та тут же взвилась:

— Ты сам не можешь себе выгладить рубашку? Может это ниже твоего достоинства?

— Я ведь считаю, что в доме есть женщина, а то как-нибудь сумел о себе позаботиться.

— Женщина, женщина... Больше тебе, видно, нечего сказать! Между прочим, я тоже выхожу утром вместе с тобой и возвращаюсь с работы поздно, как и другие. Не так уж ты загружен, чтобы кровь из носу! Ничего с тобой не случится, если сам последишь за собой.

— У других жены тоже работают, однако находят время позаботиться и о муже и о детях. А тебе и в голову не приходит, что у тебя есть семья. Только и дел, что мазаться и краситься, да за тряпками гоняться.

— Вот, высказался наконец. За каждым шагом следит. Что ж мне, не одеваться, не причесываться? Мужчина называется... Что ни слово так о чужих женах. Если у других жены как жены, то найди себе такую. Кто тебя держит? Чуть что: «Разве ты не женщина? Почему не

нагнешься, хворостины не обломишь? Почему не стираешь? Почему не заботишься?»

— Знаешь, милая,— не на шутку разнервничался Акпар,— я свою рубашку и штаны мог бы сдавать в прачечную, я не о том переживаю. Ты одно запомни, что в каждом доме должно быть тепло, которое исходит от женщины. Все должно быть согрето теплом ее души, ее ладоней. Каждая вещь в доме жаждет, просто жаждет ласкового прикосновения женских рук. От этого зависит благополучие в доме, семейное счастье! В мире должно быть всего поровну: и трудов, и наслаждений! Ты, моя милая, живешь под этой крышей, и ни горести ее, ни радости тебя будто не касаются, ни о чем у тебя душа не болит, как будто это гостиница, и ты тут только в командировке. Да кому нужен очаг, которым не дорожит сама хозяйка? И кого порадуют вещи, если их не выбирала любовно женщина? Говорят, теплая могила лучше холодного дома. Скажешь тебе что-нибудь путное как жене, как хозяйке, ты застынешь в неприступности, ни дать ни взять овца, которая отказывается кормить своего же ягненка. Так ты далеко не уедешь.

Акпар высказал все, что у него накипело на душе, ушел в другую комнату и заперся. Взбешенная Толкын долго стояла, упрямо уставившись в окно, потом пошла в комнату матери и легла спать.

Как бы ни старался Акпар быть всегда спокойным и рассудительным, но и ему иногда изменяла выдержка. Некоторые выходки жены и впрямь выводили его из себя, и он мог взорваться, наговорить много обидного. Так он и не смог смириться с тем, что происходило в его семье.

Он родился и воспитывался в многодетной семье. Все они от мала до велика росли в уважении к отцу. Если он приходил домой огорченный, мать, почему-то чувствуя себя виноватой, ходила по комнатам на цыпочках, а дети, притихшие, робко поглядывали на восседавшего на торе отца. В такой день в доме не слышно обычных для многодетной семьи шума и возни. И пока отец не подзовет кого-нибудь из детей, не погладит по головке, пока не разойдутся хмуро сведенные брови, и лицо его не озарится светом, никто в доме не улыбнется.

Отец его не был ни особенно сердитым, ни придирчивым и строгим. Но им и в голову не приходило вешаться ему на шею, если он сам их не приласкает. Очевидно, это мать им внушила такую благоговейную почтительность. «Пусть сперва отец отведаст, сынок», «Ой, это же отцов-

ское, положи скорее на место», «Отец знает», «Спроси у отца», «Если отец разрешит», твердила она. Ни разу она не преступила его волю. Акпар, воспитанный в таком духе, был убежден, что мужчина должен главенствовать в семье. Он силился по возможности завести такой порядок и в собственной семье. И хотя все складывалось иначе, но отказаться от своих представлений о семейных отношениях, которые он впитал с материнским молоком, не смог, не сумел.

Акпар получил назначение в новый зерновой район. Ему казалось, теперь все разрешится само собой. Главное — вырвать Толкын из ненавистного ему окружения сытых и самодовольных людишек и их мешанскими притязаниями и интересами. Увезти ее и малыша. Он с удовольствием думал о простой и здоровой жизни, которая их ожидает в ауле. Может быть, там они наконец будут по-настоящему счастливы. Да, он много надежд связывал с переездом. Но до поры до времени Толкын ничего не говорил. Сказал в последний момент. На что он рассчитывал? Неужели, зная свою жену, не мог предугадать, чем все кончится?

— А меня ты спросил? — вскричала Толкын. — С какой стати я должна ехать в эту дыру?

— Во-первых, я не напрашивался. Меня назначили, и я еду. Во-вторых, жена всюду должна следовать за мужем, иначе, зачем она выходила замуж? — заметно нервничая, перебил ее Акпар. — В-третьих, никакая это не дыра. Там тоже живут люди, не чета твоим...

— Вот именно, не чета. Поэтому я не поеду! И хватит об этом, — грубо оборвала его Толкын, но он продолжал доказывать, что им необходимо уехать вместе, расписывал прелести провинциальной жизни. Убедить Толкын ему не удалось.

— Я всю жизнь прожила в городе, — заявила она напоследок. — Печь топить, воду носить? Нет уж, увольте. Это не для меня. И ребенка я туда не повезу. Дыши сам своим деревенским воздухом.

Акпар уехал один. Изредка, приезжая в город по делам службы, он урывал минутку, чтобы забежать домой повидаться с сыном. Раз в месяц ему удавалось вырваться на выходные. Он скучал по семье, по домашнему уюту, который, казалось ему на расстоянии, был у них всегда. Но как-то получалось, что в те дни, когда он был дома, Толкын дежурила в больнице или они вместе шли в гости, и уезжал он всегда с ощущением напрасно

потерянного времени. А если уж им удавалось остаться дома, то, как правило, они ссорились.

— Пропади пропадом такая жизнь!— раздраженно отчитывала его Толкын.— Тебе что? Живешь там себе припеваючи. Ни забот у тебя, ни хлопот. А я тут надрываюсь без тебя.

Наступили беснежные ноябрьские холода. Стоял облачный день. Студеное дыхание Терисоккала было насыщено влагой. Хоронили мать Толкын. Бедная старушка умерла так же тихо и незаметно, как и жила. После похорон Акпар снова заговорил об отъезде.

— Ты, наверное, совсем спятил в своей дыре,— побледнев, сказала с ненавистью Толкын.— Если бы это была твоя мать, ты бы такого не говорил. Ты хоть представляешь себе, что скажут люди? Надо же хоть по-человечески отвести сороковины, справить поминки на годовщину. Нет, я тебя не понимаю.

Акпар надеялся, что общее горе сблизит их, поэтому не стал спорить.

— Да, конечно,— оправдываясь, мямлил он.— Успокойся, милая. Мы все сделаем как полагается.

И снова потянулись дни, наполненные работой, неожиданными вызовами в область, в район, планерками, собраниями, когда он с головой окунался в дела и не помнил о семье, оставленной в городе. А вечерами его одолевала тоска. Выносить одиночество стало неважготу, в четырех стенах не сиделось, и он шел на почту звонить домой. Чаше разговаривал с сыном. Тот обычно говорил, что мать на работе. В один из своих приездов Акпар спросил:

— Ты что, взяла еще полставки?

— С чего ты взял?— пожалала она плечами.

С того дня Акпар стал мучиться подозрением. «Мы видимся все реже и реже,— думал он,— и, похоже, охладели друг к другу. Возможно, у нее завелся поклонник». Он решил ездить домой почаще и использовать любой предлог, чтобы побывать в городе. На службе к этому отнеслись с пониманием, однако директор намекнул однажды:

— Слушай, джигит, так не годится. Сколько мы работаем вместе, а до сих пор келин и в глаза не видели. Ты бы хоть привез ее как-нибудь, показал нам. Мы народ щедрый, не поскупимся за плату за смотрины.

Акпар лепетал что-то о занятости жены, о сыне, ко-

торый ходит в садик, но про себя решил непременно привезти их погостить.

В марте он приехал домой. Видимо, обольщенный надеждой провести целую неделю с женой и сыном, он принял равнодушие Толкын за ровное тепло семейного очага. Весь вечер он был весел и спокоен, помог Арману собрать самолет, сам помыл посуду после ужина. Толкын смотрела телевизор, когда он, уложив сына, вышел к ней, сел рядом и заговорил:

— Хочу забрать вас на недельку к себе. Пора вам познакомиться с народом.

— Незачем, — бесцветным голосом проронила Толкын.

— Как незачем?

— Потому что незачем.

— Нам же с ними жить.

— Не жить, — зевнув, сказала она.

— Почему это?

— Потому что мы туда не поедем.

— А я?

— А что ты?

— Я что? Так и буду без вас жить?

— Живи, если нравится.

— Послушай, так же нельзя. Давай в конце концов решать, будем мы вместе жить или врозь.

— А что решать? Разве мы уже не врозь живем?

— Ладно, мы сейчас действительно врозь живем. Но мы ведь остаемся мужем и женой. У нас ребенок. Если ты твердо решила не ехать в аул, то, наверное, мне надо перебираться в город?

— А зачем? — Она снова зевнула, прикрывая ладонью рот. — Спать хочется.

— Ты что, издеваешься? — вскипел он.

— Ну что ты! Нет, вовсе нет. По-моему, ты как раз нашел себя. Там тебя все устраивает. Ну и оставайся, работай.

— А вы?

— А что мы? Нам и здесь хорошо.

Она с издевкой посмотрела ему прямо в глаза. Он не выдержал, вскочил, забегал по комнате.

— Ну знаешь! Я живу там бобылем! Какая-то мифическая жена... Да там надо мной уже все смеются! Приходишь домой, и чай согреть некому! Сколько это может продолжаться?

— Знаешь что? Не кричи!

Но он продолжал кричать. О том, какой должна быть семья, как поступают любящие жены и о многом другом. Кричала и Толкын. Кричала, что в свое время ему нужно было удержаться в городе, и он женился на ней. Потом он понял, что в городе ему с его данными не добиться успеха, вот его и потянуло в аул, и она тут не при чем. Не обязана она, как нитка за иголкой, тянуться за ним. Еще неизвестно, что будет, когда и там разберутся, какой он бездарь, и тогда перебросят его в такую глушь, откуда ему вовек не выбраться.

Больше он не мог терпеть. Выскочил в прихожую, сорвал с вешалки свое пальто и, со злостью захлопнув дверь, побежал вниз по лестнице. У двери подъезда замер на секунду, вспомнив о спящем сыне, подумал угрюмо: «Ну с ним-то я буду видеться»,— и вышел. Вышел с твердым намерением больше в этот дом не возвращаться.



ПОВЕСТИ

Никогда не было у Ырыс привычки предаваться тоске, она была из породы негнибаемых. Но к старости человек, видимо, слабеет духом, и она много думала о прошлом.

Ее теперь сильно угнетало то, что с каждым годом ровесников становилось все меньше. Человеку всегда нужны свидетели его молодости, иначе он и в старости чувствует себя бедным сиротой.

Вот и она стала не в меру чувствительной. И снова лезет ей в голову всякая всячина, и опять словно бы воочию видит она тех, чьим могилам только что ходила поклониться.

Сейчас она сидит среди развалин домов — тех, самых первых, которые были поставлены ими в этом безлюдном краю. Нынче в их совхозе с миллионными доходами никто из молодых и представить себе не может землянок и мазанок, выросших в широкой степи тем далеким летом. Голодные и раздетые, они все лето напролет лили саманные кирпичи и ставили дома, обживая бесприютную эту землю, где не было даже деревца, которое укрыло бы их от палящего солнца. Одна полынь кругом, и ничего, кроме полыни. Как не пали они тогда духом, как поверили в возможность иной жизни после пережитого? Откуда в них нашлась такая сила, чтобы в голой пустыне возводить жилища и еще петь и смеяться при этом? Подумать только, как были трудолюбивы эти истощенные донельзя люди! Какие же это были тяжелые времена.

Земляки ее не знали другого занятия, кроме скотоводства, и не было у них других средств к существованию, кроме личного стада. Вся жизнь их была подчинена единому ритму. С приходом зимы стада перегонялись в пески. К лету народ откочевывал к зеленым пастбищам Арки. И никого из кочевого народа не заботило, что нет у них постоянного пристанища и надежного ремесла, которое бы кормило их. За долгие века притерпелись к неудобствам кочевой жизни, привыкли к хлопотным и трудным своим обязанностям. Им и в голову не приходило искать другую долю. Эта безучастность много раз оборачивалась неисчислимыми бедствиями.

Народ по-прежнему тянул привычную лямку. И как возмездие за равнодушие и беспечность, грянула новая беда. Жестоким снежным ураганам и бескормице отдали безропотно кочевники всю скотину, какая у них была, и, подобно мореплавателям с потонувшего корабля, выгребли к берегу с пустыми руками. Началось массовое

переселение к отрогам Каратау в поисках земли, где можно вести оседлый образ жизни, заниматься земледелием и скотоводством. Этот пеший переход от Арки до Каратау нелегко дался изнуренным голодом и болезнями людям. Но они добрались-таки до назначенного места.

Весной, после злополучной зимы, ныне покойная Зеркуль сказала Ырыс:

— Женеше, народ двинулся к Каратау. А что делать нам? Теперь мы вольные птицы. Создатель, как видно, рассудил, что негоже обременять одиноких баб лишними ртами, решил не связывать нас по рукам и ногам. Раз мы налегке...

Бледное лицо ее исказилось мукой, в глазах застыли слезы. Она умолкла на полуслове, еле сдерживая подступившие рыдания.

Ырыс с жалостью смотрела на изменившуюся до неузнаваемости молодую женщину. Ничего в ней не осталось от прежней Зеркуль, мягкой, женственной, проворной. Как нежно и румяно было ее юное лицо, каким теплом и лаской светились ее огромные черные глаза.

«Тоска ее извела, сломила беднягу,— вздохнула про себя Ырыс. «Не связаны по рукам и ногам»,— говорит. Как же ей не роптать, несчастной? Легко ли за один месяц похоронить и сына, и дочку. Только они подросли, только она почувствовала, что есть ей на кого опереться, как бог разом прибрал обоих. Вот и мучается она, не зная, куда приклонить голову».

— Что ты хотела сказать, Зеркуль? Сама ты что думаешь?— мягко спросила она.

— Ой, женеше! Что я могу думать? Одни обрывки мыслей в голове. Ты что посоветуешь? Куда нам податься? Ведь все равно куда, раз у нас на руках один Малик остался.

Ырыс со свойственной ей пронизательностью поняла, что хотела сказать Зеркуль. Обе они были из одного рода.

Отчий край их лежал по соседству. Они могли бы вместе вернуться к своим сородичам или отправиться со всем народом на новые места. Зеркуль, прежде чем высказать свое мнение, хотела осторожно выведать, что думает об этом Ырыс.

— Милая Зеркуль, с судьбой не поспоришь. Значит, нам на роду было написано такое испытание. Что мне сказать? Если ты считаешь, что тебе в этом доме уже нечего ждать, ничто тебя к нему не привязывает, то ты

свободна. Кто тебя осудит за это? Сама решай, как тебе поступать. Ты совсем молодая, еще можешь устроить свою судьбу. Я не в обиде. И винить тебя никто не станет. Сама я решила рискнуть. Куда мне меняться теперь в своей жизни? Я пришла в этот аул еще девчонкой, сроднилась с ним. Вон и сорванец у меня растет. Он ведь потомок этого аула. Не хочется мне, чтобы сын мой был безродным бродягой, чтобы на чужбине кололи ему глаза сиротством. Ну, а что у тебя у самой на душе? Ты говори, не стесняйся.

— Я только посоветоваться хотела, как нам быть, что делать дальше. Ничего другого у меня и в мыслях не было. «Нет в чужом краю для невесты человека ближе, чем тот, кто открыл ей лицо», — говорят в народе. Какая лошадь сторонится косяка, если присоединилась к нему жеребенком? Мне тоже трудно бросать аул. Как-никак с ним связана вся моя жизнь. С первого дня замужества. Ты меня не притесняла, не обижала. Наоборот, всегда относилась, как к родной сестре, опекала, подсказывала, если что не так. Сейчас я осталась совсем одна, нет у меня никого ближе тебя. Ты мне и опора, и поддержка. Что суждено, то и будет, а держаться нам надо вместе. Будем помогать друг другу, жалеть друг друга. На кого нам больше надеяться? Тоскуй — не тоскуй, толку мало. Надо идти с народом, надо оставить слезы и приниматься за дело. Жить все равно придется, — отвечала ей Зеркуль. Кого она хотела в этом убедить? Себя или Ырыс? Голос ее звучал твердо и уверенно, хотя в душе решимости не было.

* * *

Кочевье достигло предгорий Каратау только к лету. Еще хвост каравана тянулся по дороге, а прибывавшие один за другим переселенцы ставили свои походные юрты и сторожки в безводной степи к западу от Каратау.

Их белоснежные вместительные юрты остались стоять там, в родном краю, потому что унести их на себе было невозможно, а перевезти — не на чем. Все, что они смогли доставить, — то легкие косы и жаппа¹, в которых можно прожить лето.

До наступления зимних холодов следовало прежде всего позаботиться о нормальном жилье для людей. На-

¹ Кос, жаппа — походное жилище.

до было организовать колхозы. Из области приезжали уполномоченные, проводили собрания. Переселенцев, прибывших целыми родами и аулами, делили на колхозы. Аул Ырыс стал называться колхозом «Жанажол».

После того, как люди обосновались на новом месте, колхоз снарядил караван на железнодорожную станцию, куда прибыл груз с продовольствием, одеждой и строительными материалами для переселенцев. Станция находилась рядом с большим городом, где жила младшая сестра Ырыс. По слухам, муж сестры был учителем в школе, а сама она работала швеей.

Караван был уже готов к отправке. Ырыс, много лет не видевшаяся со своими родственниками, решила воспользоваться случаем навестить их.

— Доберусь туда вместе с караваном, а назад они меня как-нибудь доставят сами. Может, посоветуют нам что-то или помогут чем. Мы столько лет жили в разлуке. Надо мне, наверное, съездить к ним, узнать, как они живут, обнять сестру,— советовалась она с Зеркуль.

Та горячо поддержала ее.

— Конечно, поезжайте. Пока вернетесь, тут хоть кое-что наладится. Если вдруг они будут предлагать, чтобы вы остались, дайте мне весточку. Тогда и я приеду, и снова все будем вместе.

Караван шел день и ночь и на четвертые сутки прибыл на станцию. Получив груз, ее попутчики в тот же день пустились в обратный путь. Ырыс со своим семилетним сынишкой осталась на станции. До города, как она выяснила, было полдня пути. Поездов ходило много, и Ырыс, недолго думая, села с сыном на один из них и покатила в город.

Что ее сестра с семьей живет в этом городе, Ырыс знала только понаслышке.

Правда, догадывалась, что в городе найти человека не так просто, но надеялась, что расспросит людей, а они помогут ей разыскать тех, кого она ищет.

В город они приехали на закате. Людской поток привел их от вокзала к центральному рынку. Базар поразил степную жительницу своими размерами. Он занимал примерно такую площадь, на которой мог бы разместиться небольшой аул. Люди так и сновали взад-вперед. Было пыльно, шумно, грязно. Духота стояла такая, что нечем было дышать, к тому же и заходящее солнце жгло немилосердно. Базарную площадь окружали поставленные как попало ветхие невзрачные домики, серые и под-

слеповатые. Казалось, здесь больше приезжих, усталых, запыленных, небрежно одетых, чем чистеньких, опрятных горожан. Деловитый шум и суматоха, царившие на базаре, не располагали к расспросам и откровенной, неторопливой беседе. Ырыс, впервые столкнувшейся с рыночной суетой, он напомнил глубокую заводь. Как неопытный пловец боится водоворота, так и она робела перед этой крикливой и разношерстной толпой. По ее понятиям базар был единственным местом, где она могла бы раздобыть сведения о своих родственниках. Поэтому она не спеша обошла его, оценивая людей, приглядываясь, к кому бы ей обратиться. Но никому до нее и дела не было. Никто не спрашивал, кто она и что ей нужно. И хотя вокруг нее кишмя кишел народ, ей казалось, что она в безлюдной пустыне.

Ее Малик, потрясенный изобилием вкусной еды, начал хныкать. Как всякий ребенок, он заглядывался на фрукты и сладости, и Ырыс стоило огромного труда увести его от прилавка. Но мальчику хотелось есть, и надо было его накормить хоть чем-нибудь.

Она снова обошла ряды с разной снедью и у самого выхода набрела на молодую узбечку, торговавшую самсой. Ырыс купила для сына самсу, сама же достала из узелка мешочек с толокном, отсыпала горсточку в тостаган и сделала для себя болтанку. Поев и отдохнув немного, она вспомнила, что нужно позаботиться о ночлеге. Искать среди ночи родственников бесполезно. Поиски лучше начинать с утра. А сейчас надо найти кого-нибудь, кто приютил бы их на ночь. Тут у нее мелькнула надежда, что торговка самсой может помочь ей, и направилась к ней.

— Свет мой, сделай милость, ответь мне на один вопрос.

— Спрашивайте.

— Ты не знаешь учителя по имени Рахимали?

— Нет, даже не слышала о таком. А кто он вам?

Ырыс рассказала ей, что приехала в город навестить своих родственников, но не знает, где их искать.

— Ой, если вы не знаете адреса, то в городе найти человека невозможно. Вы сказали, что он учитель?

— Да, говорили, что он работает учителем.

— Тогда его нужно искать в школах. Может, там его внают.

— А где искать эти школы?

Женщина объяснила ей, сколько школ в городе и где они находятся.

Многое из того, что она сказала, осталось непонятым, но Ырыс благодарно кивала головой. «Ничего,— утешала она себя.— Школа — это не дом, затеряться не может. Поспрашиваю и найду».

— А сама ты где живешь? Далеко отсюда?— спросила она узбечку.

Та была приветлива, и Ырыс хотела попроситься переночевать у нее.

— Мы далеко живем, за городом,— ответила молодка.— Сейчас за мной муж приедет, увезет домой, а утром снова привезет.

— Вечер наступает. Не знаю даже, где нам переночевать. На улице ночевать страшно. Место незнакомое. Где можно устроиться на ночь?

— Не знаю, что и посоветовать вам.— Узбечка сокрушенно покачала головой.— Вам трудно будет что-то подыскать. На ночь в городе никто к себе незнакомых не пустит. Люди тут ходят разные, никто никому не доверяет.

— Что же мне тогда делать?

— Сейчас в городе много приезжих, и многие из них неустроенные, ночуют где-то тут, около базара. Там и женщины есть, и мужчины. Некоторые даже с семьями. Переночуйте с ними.

Ырыс подробно расспросила, где они ютятся, и за светло отправилась туда. Это оказался большой заброшенный караван-сарай. Под навесом перед домом и в большом зале было полно народу. «Людей много, так что никто нас не тронет. Как-нибудь скоротаем одну ночь, а там, глядишь, и своих найдем»,— успокаивала она себя. Устроившись в сторонке, какие-то подозрительные типы с азартом играли в карты. Она с опаской посмотрела на них, потом заметила в глубине зала пожилых людей и направилась к ним.

Всю ночь она не сомкнула глаз. На душе было тяжело и тревожно. От назойливых мыслей мутилось в голове. Она прижимала к себе посапывающего во сне малыша и со страхом думала о том, что навряд ли удастся разыскать свою родню.

Рано утром они отправились в город. Но ни в тот день, ни на другой им ничего не удалось узнать о родственниках, хотя они обошли все городские школы. Кто-то посоветовал обратиться в отдел народного образования,

и на третий день мать с сыном снова скитались по городу, наводя справки в районо. На след зятя напали только в областном отделе. Зять, как выяснилось, действительно работал в одной из городских школ, потом перевелся в дальний район, куда переехал вместе с семьей.

«Напрасно я все это затеяла,— жалела Ырыс.— Значит, нам не суждено было встретиться. Пока я в здравом уме, надо пробираться к своим».

Много разного люда пребывало на базаре. Многие из них дневали и ночевали тут. И для нее с сыном базар стал постоянным пристанищем. Днем она бродила по городу, а вечером возвращалась в караван-сарай. Ночью Ырыс стерегла сына, а днем, если удавалось, дремала часок-другой где-нибудь в тени.

В тот последний день она так натрудила ноги, так устала от бесплодных поисков, а еще больше от беспокойства, что еле доплелась до базара. Здесь она купила у знакомой уже узбечки немного самсы. Они с сыном перекусили вдвоем, потом Ырыс прилегла в тени караван-сарая отдохнуть и нечаянно заснула. Проснулась, а мальчика нет. Вначале она подумала, что Малик играет где-нибудь неподалеку, но его нигде не было. «Может, проголодался и бродит по базару, опять глазеет на еду»,— подумала Ырыс и обошла базар. Потом ужé побежала к торговке самсой спросить, не видала ли она ее сына.

— Ой, бедняга! Вот ведь несчастье! Тут недавно беспризорников собирали, повезли на телеге куда-то. Я посмотрела, и вроде там один на твоего был похож. Выходит, это он был,— всплеснув руками, заохала она.

— Ойбай, что ты такое говоришь? Где они? Куда поехали?— в страхе вскричала Ырыс.

Молодка что-то говорила ей, но она ничего не поняла, кроме того, что детей повезли от базара по мощеной улице, ведущей на запад. Побежала сломя голову туда, куда указала торговка. Ошалев, она не совсем соображала, куда бежит и зачем. Через какое-то время впереди показалась телега, и Ырыс понеслась изо всех сил за ней. Вскóре от страха и быстрого бега она вся взмокла. Глаза заливало потом. И все вокруг виделось ей, как в тумане. Голова кружилась. Когда она была уже близко, возница заметил, что его догоняют, придержал коня. Тут и она подоспела. Волосы ее выбились из-под кимешка и прядями прилипли к мокрому от пота и слез ли-

цу. Арбакеша взяла оторопь при виде растрепанной, запыхавшейся женщины.

Подбежав, она схватилась за борт телеги.

— Вы не видели телегу с детьми?— выдохнула она еле-еле. Ей показалось, что никто, кроме этого человека, не спасет ее от свалившейся, как снег на голову, беды, и она смотрела на него преданно и робко.

Возница покачал головой: «Нет». Он снова окинул ее с ног до головы равнодушным взглядом и отвернулся, Дернул за вожжи, причмокнул:

— Чу-у!

Лошадь, крупная, тяжелая, с широкой спиной и мощными ногами, тронулась с места. Зацокали по камням огромные подкованные копыта.

Она почему-то испугалась, что если человек уедет, она останется одна со своей бедой. Вцепившись в борт телеги, пошла рядом, взывая:

— Да продлятся твои годы... Будьте милосердны. Помогите, пожалуйста! Сына я потеряла. Прошу вас. Арбакеш натянул вожжи, и лошадь стала.

— Что вам нужно от меня?— спросил он угрюмо.

— Агай, миленький,— взмолилась Ырыс,— помоги!

В иступлении она не обратила внимания, что арбакеш одних с ней лет, все время, пока говорила, называла его «агай».

— Ну, а мне что прикажешь делать?— выслушав ее, проговорил он раздраженно.— Я их не видел. Кто увез, не знаю. Еду по своим делам. Ищи, расспроси людей. Ладно, хватит. У меня дела, не задерживайте меня.

Ырыс отпрянула, будто он со всей силы толкнул ее в грудь, растерянно заморгала. Больше она не произнесла ни слова. «Как же так?— Несчастливая женщина не могла взять в толк, как можно оставаться безразличным, когда стряслась такая беда.— Разве люди не должны помогать друг другу? Какой жестокий человек!» Из глаз ее брызнули горькие слезы обиды. Стало тоскливо, одиноко, страшно. В это время далеко впереди мелькнула и исчезла за поворотом другая подвода, на этот раз полняя людей. Она кинулась за ней. Добежала едва живая и снова обманулась. Так и металась, потеряв голову, по улицам то за одной упряжкой, то за другой, а в те времена их в городе было хоть пруд пруди.

Сердцем она уже чувала, что сына ей не вернуть. Палящий жар сжигал нутро. «Что мне теперь делать,

господи? Куда идти? Неужели я заживо потеряла последнего сына?»— сходила она с ума всю томительно долгую ночь, а утром с новым рвением бросилась на поиски. Кто-то знающий посоветовал ей сходить в детский дом, объяснил, где его искать.

Она пришла в детдом, но ее Малика там не было.

— Вчера в городе взяли много беспризорных детей, но часть из них только недавно отправили в другой город. Раз его здесь нет, значит, он с ними,— сказали ей воспитательницы.

— По-моему, поезд еще не ушел. Идите скорей на вокзал. Может, еще успеете застать их. Посмотрите среди детей, вдруг и ваш там окажется,— подсказала одна из воспитательниц.

— А как туда добраться? И где их там искать? У кого мне спросить?— забросала ее вопросами Ырыс.

Воспитательница почувствовала, что перед нею — приезжая. Судя по виду, из какого-то отдаленного района. Конечно, безграмотна. К тому же, наверное, совсем не знает города.

— Да вы остановите на улице любого арбакеша. Заплатите, и он живо доставит вас до вокзала. Приедете, там должен быть дежурный по вокзалу. Или в отделение милиции зайдете. Объясните, в чем дело. Спросите, какой поезд, какой вагон, и вам все скажут. И даже проведут куда надо,— подробно втолковывала ей она.

Ырыс с трудом понимала, что говорит ей женщина, а когда до нее дошло, что, пока она медлит, поезд может уйти, рванулась к дороге.

Впереди, в метрах пятидесяти, ехала телега. Ырыс бросилась за ней. Вспомнила, что денег расплатиться с извозчиком нет. На бегу стянула кольцо с пальца. Оно было дорого ей как память о покойной матери, и берегла его как зеницу ока. Но сейчас ей важнее всего было добраться поскорей до вокзала. Запутавшись в собственном подоле, она чуть не упала. Чувствуя, что ей теперь не догнать телегу, громко окликнула возницу. Тот остановился, она подбежала, сунула ему в руку кольцо.

Арбакеш взглянул на золотое кольцо, ухмыльнулся довольно, придержал Ырыс под локоть, помогая взобраться на телегу.

— Залезай, залезай.

Вокзал гудел шмелиным роем. Давка, толчея. Оглушенная, она еле разыскала дежурного. Набычившись, тот хмуρο выслушал ее причитания. Видимо, он

привык к чужим слезам и жалобам. Когда она закончила, он равнодушно сказал:

— А где вы его теперь найдете? Доставленных сюда мы уже отправили. Вот недавно только ушел поезд с последней группой. За один сегодняшний день мы две группы отправили.

— Куда, милый? В какой город? Как туда добраться?

— Куда это «туда»? Мы же их в разные города отправляем. Как вы узнаете, куда вашего отправили? Вот сегодня, например, одна группа в Семипалатинск уехала, а другая — в Кызыл-Орду. Вчера вечером часть ребят послали в Актюбинск. Кто его знает, в какой он группе? Некоторые сбегают по дороге на вокзал. Бывает, что из вагона смываются. Потом ищи их.— Дежурный с досадой поморщился.— Безобразие. Мы тут с ног сбиваемся, чтобы они не бродяжничали. Голые, босые, голодные... Ну, а эти сопляки ничего не понимают. Им бездомная жизнь по душе. Вон и сегодня двое-трое спрыгнули с поезда на ходу. Исчезли. Посмотрел бы я на такого, кто смог бы их поймать.

— Ну надо же, свет мой! А ты не заметил, может, и мой был среди сбежавших?

Ырыс принялась было описывать, как выглядел ее сын, но дежурный нетерпеливо перебил ее.

— Черт его знает. Кто их разглядывал, тех босяков. Там и больших было навалом, и маленьких. Какой хочешь масти. Между прочим, женгей, вполне возможно, что среди отправленных вашего и не было вовсе. Он же знает, где вы остановились. Скорее всего, он сбежал и, небось, разыскивает вас.

Ырыс снова воспрянула духом. А что? Это было похоже на правду. Если бы ее мальчик догадался сбежать и бродил бы где-то по городу, это было бы счастьем. Она исходила бы все улицы вдоль и поперек и рано или поздно, но нашла бы его. Город, конечно, огромный. А сколько в нем улиц и закоулков! Где же искать его? Все-таки вернее будет ей держаться около базара. Малик все же знает, что она оставалась там. Если мальчик в городе, он непременно туда придет. Да, надо вернуться на базар. Все равно неизвестно, за каким поездом ей бросаться вдогонку, если его отправили в другой город. Она про те города, что называл ей дежурный, и не слышала. Нечего и думать, чтобы ей туда добраться. Был бы добрый конь да знающий человек, который согласился бы ее сопровождать, может, она и добралась бы. Де-

нег на билет у нее нет. К тому же, она не знает точно, уехал он или затерялся в городе.

Ырыс вернулась на базар. С утра до вечера она бродила по площади и прилежащим к ней улицам. В иные дни отправлялась на розыски в другие людные места, рыскала по дворам, обшарила все окранны. Расспрашивала каждого встречного, особенно грязных и оборванных ребятишек, рассчитывая, что Малик примкнул к беспризорникам. Время от времени наведывалась в милицию и детский дом, где ее уже знали. Бывала и на вокзале, и в больнице. Покинув пределы базара, всякий раз тряслась от страха, что именно в этот час ее Малик пришел на базар и, не зная, что мать еще в городе и разыскивает его, ушел. Бегом возвращалась обратно, но ее ждало разочарование. Надежды найти сына оставалось все меньше. Уже и постояльцы караван-сарая, жалея ее, внушали осторожно, что следует примириться с потерей, что в эту тяжелую годину легче найти иголку в стоге сена, чем несмышленного мальчишку в бескрайней стране.

Обезумев от горя, Ырыс бесцельно слонялась по городу. Ей уже некуда и незачем было идти. Но она дни и ночи шаталась по улицам, пока однажды не оказалась снова на базарной площади.

Узбечка, которая, как обычно, торговала на своем месте у входа, была поражена тем, как изменилась Ырыс за несколько недель. От многодневных скитаний она похудела, загорела до черноты, глаза ввалились, плечи поникли.

— Ты держи себя в руках. Этак и помереть недолго. Лучше думай о том, как бы себя не потерять. Моли бога, чтобы сын твой был жив и здоров. Утешайся тем, что он есть на свете. Его же забрали, чтобы выучить, сделать человеком. Теперь он всегда будет сыт, одет, обут. И воспитают как надо. Еще увидишь, каким он станет: большим начальником или ученым. Может, вам еще доведется встретиться. Хватит тебе бродяжничать. Возьмись за ум. Возвращайся домой. О чем мы просим бога? Чтобы дети наши были живы-здоровы, чтобы оставить после себя след на земле, чтобы жилось им счастливо. Вот и ты думай о будущем своего ребенка... Ты, кажется, человек неглупый. Подумай хорошенько, не терзай себя,— долго наставляла бедную Ырыс торговка.

«Доброе слово питает душу»,— говорят в народе. Тепло и участие согрели отчаявшуюся Ырыс, вселили в душу надежду. «Государство не даст ему погибнуть. Вы-

кормит, поставит на ноги. Для того, говорят, и собирают бездомных сирот по задворкам, чтобы они не остались без заботы и опеки взрослых. Если суждено, он вернется ко мне. А бродяжничать и в самом деле недостойно. Надо прийти в себя», — думала Ырыс, протрезвев после разговора с сердобольной узбечкой.

Она впервые очутилась в большом городе, жизнь его была чужой и непонятной. От городского шума, от постоянной толчеи на улицах, от мельтешения разных лиц голова шла кругом. Все, что делали окружающие, казалось ей крайне подозрительным. Не внушали доверия даже те, кого она привыкла видеть ежедневно в караван-сараях. Она устала от страхов, от одиночества и думала о возвращении в аул, как о великом благе. «Куда меня занесло? Как мне выбраться из этого ужасного места? Смогу ли я добраться к своим?» — мучилась Ырыс. На время горе ее притупилось, отступило перед этой заботой.

Она уже подумывала отправиться обратно одна, но не знала дороги. Да и жизнь, несмотря ни на что, была дорога. И она боялась встречи с лихими людьми или диким зверем. Идти предстояло больше двухсот километров, и все безлюдными местами. Трясаясь от страха быть обманутой, а еще хуже — ограбленной, она обменяла свое золотое кольцо, серебряный браслет и другие украшения на съестные припасы, собрала тощенькую дорожную суму. Пряча свой узел под мышкой, вышла она на дорогу ждать попутчиков. Позже она узнала, что на западной окраине города есть большой товарный склад — перевалочная база, откуда в районы отправляются разные грузы. На базе имелся дом для приезжих. Здесь встречались путники, следующие во всех направлениях, чтобы найти себе попутчиков. Сторожем базы работал старик лет шестидесяти. Он же отвечал и за ночлежный дом. Седовласый, седобородый татарин с хитрыми зелеными глазами был разговорчив и любил поговорить с прохожими, расспросить о житье-бытье, разузнать новости. Он у каждого выспрашивал, откуда тот и куда следует, по какому делу прибыл в город. Выведав все, он старался быть ему полезным, подсказывал, как и куда обратиться, помогал уладить дела и сводил с попутчиками.

С ним и познакомилась Ырыс, когда оказалась на базе. Поначалу она пыталась сама найти себе спутника, но пробегала весь день без толку.

— Свет мой, тебе куда нужно? Кто ты и откуда? —

подошел и спросил ее старик. Он весь день наблюдал, как она с раннего утра и до позднего вечера металась у дороги, расспрашивая каждого встречного, потом, усталая, измученная, присела на корточки у базы, опершись спиной о стенку, и задумалась. Наступала ночь, а ей негде было переночевать. И попутчиков она не нашла, и теперь чуть не плакала от обиды. Вопросы старика ее насторожили, и она решила не отвечать ему. Старик почувствовал, что женщина не доверяет ему, и как можно мягче сказал:

— Уже поздно, тебе надо бы вернуться домой, пока не стемнело. Что ты сидишь? Ночью опасно. Здесь всякий народ ходит. Ночевать на дороге нельзя.

По голосу он показался ей человеком добрым и отзывчивым. «Может, я зря боюсь его?»— подумала Ырыс.

— Кто на ночь глядя выходит в дорогу?— продолжал старик.— Ты с утра покарауль. Куда тебе нужно?

С тех пор, как Ырыс рассталась с аулом, она ни с кем близко не общалась. Ей трудно было носить в себе свои страхи и сомнения. Но все, с кем она встретилась в городе, были неприветливы. Их совсем не интересовали ее горести и заботы. Раза два столкнувшись с холодным равнодушием горожан, она замкнулась в себе, смотрела на всех недоверчиво.

Теперь, когда ей подвернулся этот словоохотливый и участливый старик, она наконец выложила все, что накопилось на душе.

— Ой, бедняжка ты моя,— с искренним сочувствием сказал ей старик.— Не печалься, милая. Говорят, не бывает худа без добра. Сегодня ты плачешь, а завтра, может,— будешь радоваться. Живой человек не должен терять надежду. Жизнь налаживается, придет день, и все несчастья забудутся.

Ырыс, узнав, что старик работает сторожем на базе, попросила:

— Я очень прошу вас, прислушивайтесь к разговорам. Если узнаете, что кто-то отправляется в наши края, скажите мне, я примкну к ним.

— Если тебе негде ночевать, можешь остаться тут,— великодушно предложил старик. Она с благодарностью согласилась.

Прошла неделя. Каждое утро Ырыс по-прежнему выходила на дорогу, а ночью устраивалась на нарах под навесом перед ночлежным домом. Все эти дни она вол-

новалась, что спутников ей не дожидаться, но однажды старик, обрадованный, сообщил ей:

— Свет мой, в ваши края скоро отправляется несколько человек. Если ты не раздумала, то лучше них тебе попутчиков не найти. Иди с ними.

— А кто они такие? Когда они выйдут? Как я встречу с ними?— нетерпеливо выпрашивала она, еще не веря удаче.

— Они не совсем туда. До вашего аула не дойдут. Но все равно очень близко к вашим местам. По их словам, надо идти все время горами и выйти к хребтам Косеге. Камни там собираются изучать,— обстоятельно ответил ей старик.

— К хребтам Косеге, говорите? Это же как раз над нашим аулом! Боже мой, если я окажусь там, то можно сказать, что я дома!

— Ну вот, туда они и идут.

Ырыс никак не могла уяснить, зачем кому-то искать Косеге, где никто не живет. Пытаясь узнать о будущих спутниках поподробнее, она пыталась старика:

— Кто они такие? Косеге — это безлюдное место. Что им делать в безлюдье?

Старик, не торопясь, снова объяснил Ырыс, с кем ей предстоит делить превратности дороги:

— Это геологи, свет мой. Про инженеров слыхала? Они ходят по горам, ищут руду. Изучают камни, находят места, где есть золото, серебро, свинец, железо. Там, где они находят золото или медь, строится завод, вырастает город. Нынче в Каратау каждый год геологи ходят. Они по заданию государства идут, так что ты их не бойся. Это очень хороший народ, они тебя не обидят. Я встречался с их начальником, рассказал о тебе. Он обещал взять тебя с собой.

У Ырыс не было другого выхода, и она решила пойти вместе с геологами. Искателям руды выделили две пароконные телеги. На одну из них погрузили разные инструменты, тяжелые вещи, узлы, какие-то свертки. На второй телеге груз был полегче: мешки с провизией и посудные ящики. Всего в горы отправлялось человек семь или восемь. Пока двое-трое ехали на легком возу, остальные шли пешком. Потом они менялись. В первый же день начальник партии посадил Ырыс править первой телегой.

— Вы можете не меняться,— предупредил он ее. И все-таки Ырыс чувствовала себя неловко. «Вот; повис-

ла на их шее тяжким бременем,— корила она себя.— Здоровая такая, а расселась тут! Стыд какой!»

— Давайте меняться. Идите кто-нибудь вместо меня сядьте,— звала она, приноравливаясь, чтобы слезть с воза, но все так решительно отнекивались, что ей поневоле пришлось ехать всю дорогу.

Эти люди даже делились с ней своими припасами. Единственное, что она делала для них,— это кипятила чай, мыла посуду после еды. Она мечтала только о том, чтобы ей позволили присоединиться к каравану, а получилось, что целый отряд окружил ее заботой и вниманием.

Начальник партии — человек средних лет, высокий, широкоплечий, бородатый, с крупной лысеющей головой — знал немного по-казахски. С ним только и удавалось потолковать Ырыс. Все остальные ни слова не понимали, так что ей с ними не приходилось разговаривать. Но она постоянно чувствовала их доброе отношение к себе. Все парни были приветливы, ласково звали ее «апа», всегда старались услужить ей. Даже сам начальник ее называл «апа». «А ты небось постарше меня будешь,— думала, вспомнив, что ей нет и сорока, Ырыс.— Тоже нашел себе «апа». Потом себя же осадила: «Эй, не все ли равно, как тебя называют. Главное, они тебя уважают. Да воздастся им сторицей за их сердечность».

Пробираясь горными тропами, они добрались до зеленых хребтов Косега через две недели. Если подняться на вершину, то на западной стороне внизу можно было увидеть аул, где жили сородичи Ырыс.

Приехали они к вечеру и, усталые, сразу завалились спать. А утром Ырыс, которая не могла дожидаться, когда окажется среди своих, вскочила чуть свет и начала прощаться. Она была безгранично благодарна своим спутникам за их доброту и отзывчивость и, как умела, постаралась довести это до их понимания. Потом поднялась с ними на перевал, показала вниз:

— Во-он там мой аул.

— О, как далеко еще,— сказали они с сожалением.— А остановиться по дороге есть где?

— Нет, тут жилья не встретишь,— ответила она.— Но если я выйду прямо сейчас, то к вечеру буду дома.

Они положили в ее дорожную сумку хлеб, сахар, чай.

— Жарко, дорога тебе предстоит дальняя, возьми это с собой,— сказал начальник и протянул ей фляжку.

— Сколько у вас доброты... Бывают же такие хоро-

шие люди. Пусть жизнь ваша будет долгой и счастливой. Чтобы и дома у вас все было благополучно. Говорят, за сорок шагов от дома человек чувствует себя беззащитным, пусть бог возьмет вас под свою защиту,— со слезами сказала Ырыс.

В свой аул, расположенный в широкой равнине у подножия Коянды, она добралась к вечернему намазу. Когда она покидала аул, здесь народ приступал к строительству. Лили саманные кирпичи, кое-где начинали кладку стен. Теперь многие дома уже подвели под крышу. Было и несколько отстроенных улочек, где рядом высились серые домики, покрытые камышом под глиняным накатом. Она шла по затерянной среди высоких зарослей полыни и жантака тропе, ведущей напрямик к аулу. Перед юртой хлопотала у очага Зеркуль. Завидев одинокую путницу, она застыла на месте, потом, когда Ырыс подошла поближе, узнала, бросилась навстречу.

— Женеше, почему ты одна? Где Малик? Откуда ты?— встревожилась она, почуяв неладное.

— Я и сама не знаю, где наш Малик. Потеряла я его,— в голос заплакала Ырыс, захлебнувшись в тяжелых рыданиях. Ноги вмиг ослабли, и она рухнула на колени.

— Женеше, что ты такое говоришь?— заголосила Зеркуль, обнимая ее.— Как же так, женеше? Ведь он из всей семьи один остался! Как ты могла потерять его? Что мы теперь скажем людям? Как нам смотреть им в глаза?

Несчастья последних недель и без того будто сровняли душу Ырыс с землей. Плач Зеркуль отнял последние капли мужества, и она дала волю так долго подавляемому горю.

К тому времени солнце давно закатилось за холм, окрасив горизонт алым светом, который быстро таял и угас. Небо потемнело, опустились вечерние сумерки. Страшно звучал в этот час громкий женский плач. Вскоре возле них собрались все жители аула. Поначалу они не смели и рта раскрыть. Потихоньку расспросив друг друга, разобрались, что происходит. Первым опомнился Жакан — председатель сельсовета.

— Что это вы затеяли, мои милые? Кто оплакивает живого? Перестаньте, а то накличете беду. Будет судьбе угодно, вы вмиг его разыщете. Если государство берет кого-то под свое крыло, тот не пропадет. И кормить его будут, и одевать, и поставят на ноги. Условия у него

будут даже лучше, чем дома. Получит городское воспитание, выучится, образованным человеком станет. Так что не горюйте зря. Дурная примета это — голосить в сумерки. Ырыс, ты же умная женщина. Ты должна как старшая унять Зеркуль. Вставай, свет мой. Не убивайтесь так... — мягко уговаривал он женщин.

Его голос, твердый и внушительный, подействовал на Ырыс успокоительно. Она всегда относилась к своему кайнага Жакану с искренним почтением. Никогда не пересекла бы ему дорогу, а тем более не перечила бы его воле. Близкие и родные уважали этого степенного и рассудительного человека, прислушивались к его словам. Хотя он был уже немолод, но уполномоченные из области и района, заметив трезвость ума и ясность суждений этого человека и то огромное влияние, которым он пользовался среди сородичей, предложили избрать его председателем аулсовета. По всем вопросам, касающимся переселенцев, они советовались с ним.

Теперь, когда ее утешал сам Жакан, она с жадностью внимала его словам. Да, этому человеку можно было верить, потому что он видел дальше других, и если он сказал, что ее Малику ничто не угрожает, значит, так оно и будет. Ырыс утерла концом платка слезы, омыла лицо холодной водой и встала. И Зеркуль тоже привели в чувство, заставили подняться и заняться делами. Тихо всхлипывая, она вынесла из коса кошму и корпеше, постелила на траве. Люди, которые все это время толклись перед юртой, наконец расселись, и Жакан заговорил снова:

— Ырыс, свет мой, пока тебя не было, младшая келин тут не сидела без дела, а, засучив рукава, заготавливала кирпич. Завтра мы всем аулом придем, поднимем стены, возведем крышу. Живым надо заботиться о завтрашнем дне. Тут и зима не за горами. Вы уж не медлите, запасайте скорее топливо. Слава богу, народ понемногу приходит в себя. Наде будет, поможем. Вам еще жить да жить, до старости далеко. Так пожелайте себе, чтобы жизнь не обошла вас щедротами. Зря себя не изводите, будут и у вас радости.

Ырыс была дочерью многочисленного племени, кочевавшего на бескрайних просторах Арки. На соседних с их пастбищами землях кочевал другой казахский род. Их связывали дружеские отношения, которые укреплялись брачными союзами. И Ырыс еще девочкой была просватана за сына одного бая из этого рода — Дауле-

та. Позже, женившись на ней, Даулет и для своего младшего брата нашел невесту в ее ауле. Это была Зеркуль. Даулет выплатил калым, назначил день свадьбы. К несчастью, перед самой свадьбой жених Зеркуль, участвуя в кокпаре, упал с коня и разбился насмерть. Семнадцатилетняя девушка овдовела, не успев выйти замуж. Через год муж Ырыс справил поминки по брату, и, не спросясь у жены, привез Зеркуль с приданым в свой аул. Юная вдова оплакала свою судьбу и вошла в дом сорокалетнего Даулета его младшей женой. Ырыс никогда не отличалась строптивостью. Ни словом не упрекнула она мужа за женитьбу, молча покорилась его решению. Да и что было бунтовать, когда все уже свершилось. Молодая ее соперница всячески старалась ей угодить, слова поперек не говорила. Что было взять с этой девчонки, которую судьба из родительских объятий швырнула в замужество? Много их, несмышленишей, не уяснивших, где право и где лево, становились в те времена жертвами подлого рока. А эта еще оказалась тихоней, которую всякий может обидеть. Ни легкомыслия, ни пустословия за нею не замечали.

«Не повезло бедняге. Много ли радости быть второй женой у немолодого человека? Что мне с нею соперничать, злобствовать напрасно, когда ей и без того несладко», — рассудила Ырыс.

Когда в семью пришла Зеркуль, Ырыс, у которой, кроме двух дочерей, другие дети не выживали, родила своего Малика. За пять-шесть лет совместной жизни с Даулетом у Зеркуль родилось двое детей: сын и дочь. Спустя еще год степные богатеи попали под конфискацию и были сосланы. Среди них был и их муж Даулет.

Минувшей зимой голод и болезни унесли всех детей, кроме Малика. Он один был для них утешением и отрадой. Теперь по воле судьбы они лишились своей последней надежды.

Ырыс больше не могла вынести сжигавшего ее изнутри жара, откинула одеяло и села.

Зеркуль, которая все еще не спала, подняла с подушки голову, окликнула ее:

— Женеше! Что, нет покоя, да?

Опершись на руку, она поднялась и придвинулась к Ырыс. Припав друг к другу, обе женщины разрыдались.

Перезимовали женщины вместе со всем народом в новом ауле. Весной перед посевной зашел к ним как-то утром Жакан. После приветствий он, как занятой человек, сразу приступил к делу:

— Колосовые колхоз будет сеять в горах. На днях будем отправлять людей на пахоту. Надо переселить туда два-три дома. Во-первых, так мы обеспечим народ жильем. Во-вторых, там лишние руки не помешают. Неплохо бы вам поехать, поработать со всеми.

Зеркуль ждала, что скажет Ырыс. Та без всяких отговорок сразу дала согласие.

— Ладно, кайнага. Мы же там не одни будем. Постараемся работать не хуже других. Разве мы можем отказать, когда вы сами к нам пришли.

Жакан был доволен ее ответом.

— Спасибо, свет мой. Живи долго. Если ты уважаешь старших, то и они тебя заботами и вниманием не оставят. Тогда готовьтесь. Завтра утром выедете. Одна из вас за плугом ходить будет, другая пусть варит на всех. Там уже сами увидите, кому из вас что делать.

Жакан распрощался с ними и уже встал, чтобы уйти, но, что-то вспомнив, остановился.

— Если будем живы-здоровы и получим добрый урожай, осенью за работу зерном с вами рассчитаемся. До весны чтобы хватило. Ох и разбогатеете тогда!— сказал он женщинам.

Жакан сознавал, как важно поддерживать в людях надежду. Ырыс же чуткой душой поняла, как ему хотелось, чтобы сказанное им сбылось, подумала с жалостью: «Что там говорить, добряк есть добряк, всегда думает, как бы людям было хорошо. Не о себе же у него сейчас болит голова. Что он, семью не прокормит? Обо всех заботится».

В глубоких горных ущельях еще лежал снег. К вечеру оттуда несло холодом. Днем на Устюрте было тепло и солнечно. Растянувшись на многие километры, лежала горная гряда, подставляя солнцу свои склоны. На косогорах земля оттаяла и парила, оживая.

В день приезда ставили юрты, рубили боялыч на топливо, устраивались на новом месте. Наутро приступили к работе.

Ырыс, сильная и выносливая, как мужчина, не боялась никакой работы.

— Я буду пахать, а ты оставайся на стане, будешь готовить еду,— сказала она Зеркуль.

— Ой, женеше, лучше вы оставайтесь, а я пойду,— пробовала было возразить ей Зеркуль, но та сразу пресекла ее решительным:

— Оставайся. Если устану, потом поменяемся.

Пахари в полдень обедали на стане, а день-деньской пропадали на поле. За считанные дни плоские склоны превратились в распаханые борозды.

Среди тех, кто работал на пахоте, был и кузнец — одинокий джигит по имени Сатым. Пахали они на пару с Ырыс. Жил он в одной юрте с ними.

Однажды за утренним чаем Ырыс заметила, что его рубаха вся пропиталась потом, заскорузла от грязи. Воротник и рукава лоснились.

— Эй, кузнец, твою рубаху стирать пора, оставь-ка ты ее Зеркуль,— предложила она парню.

Сатым оставил свою рубаху Зеркуль, а сам, напялив верблюжий чапан на голое тело, отправился в поле. Когда они пришли на обед, Зеркуль сняла с куста таволги рубаху, расправила руками складки, аккуратно сложила и принесла Сатыму. Тот надел ее и, счастливо улыбаясь, похвастался Ырыс:

— Ну и ну, женеше, знали бы вы, как приятно в чистой рубашке. Такая мягонькая, просто ласкает тело.

— Э-эх, а сам ты не мог догадаться? Попросил бы Зеркуль, она бы давно тебе постирала,— упрекнула она парня.

Зеркуль смущенно улыбнулась.

Через два-три дня ранним утром Ырыс, встав с постели, вышла на двор. В это время Зеркуль-хлопотунья уже набирала воду в роднике. Из-за пригорка показался Сатым верхом на неоседланной лошади. Видимо, джигит пригнал коней из ночного. Увидел Зеркуль, дал шенкеля своей лошади и, подскакав к роднику, спрыгнул на землю. Вытащив удила у лошади, пустил ее в воду, а сам подошел к Зеркуль. Они разговорились о чем-то и долго стояли, не замечая, что за ними наблюдают. В этот час все обычно спят, поэтому они не думали об осторожности. Ырыс, скрытая кустами таволги, думала о том, как бы исчезнуть, чтобы не спугнуть их. Она потихоньку прокралась домой и занялась уборкой. Заправив постели, не спеша разожгла печурку, а потом вышла, чтобы занести хворост. Те, как видно, так и не двигались с места. Увидев Ырыс, они заспешили в разные стороны.

Сатым вскочил на коня и помчался догонять лошадей, которые, напившись, ушли по склону вверх. Зеркуль, подхватив ведра, засемила к юрте. Ырыс сделала вид, что ничего не заметила.

Вечером после ужина народ, устав за день, поскорее заваливался спать. Сатым в тот день изменил обычаю, вышел подышать воздухом. Через некоторое время он подошел к двери и из-за порога спросил:

— Зеркуль, у тебя, оказывается, топливо кончилось. Ночь сегодня лунная. Я мог бы нарубить тебе боялыча. Хочешь? Только собирать будешь сама.

— Ладно, рубите. Когда нарубите, я соберу. Кетмень возле коса лежит,— отвечала Зеркуль, занятая мытьем посуды.

Сатым ушел рубить боялыч. В дремотной тишине весенней ночи удары кетменя слышались особенно отчетливо. Зеркуль домыла посуду, убрала ее в сундук и, прихватив веревку, тоже вышла. Ырыс, разволновавшись отчего-то, долго не могла уснуть. Лежала и прислушивалась, как время от времени приходила Зеркуль и, с шумом сбросив вязанку хвороста возле очага, снова отправлялась туда, где Сатым рубил кусты. Утомленная, Ырыс уснула глубокой ночью и проснулась только утром.

— Женеше, давайте я несколько дней поработаю в поле, а вы побудьте дома,— сказала ей за завтраком Зеркуль.

Ырыс не противилась ее желанию.

Сатым и Зеркуль ушли на работу вместе. Каждый раз, выйдя из юрты, Ырыс поглядывала туда, где на пашне, склонившись над плугом, муравьями ползали люди. Видела и Зеркуль с Сатымом, работавших с краю. Частенько Сатым, высокий, нескладный, оставив свой плуг, устремлялся на своих журавлиных ногах к Зеркуль и колдовал над плугом или возился с упряжью. Поняла, что Зеркуль вовсе непросто управляться с работой, которой она прежде не занималась.

«Пусть,— думала она.— Я ее туда не гнала. Сама захотела. Привыкнет скоро». С тех пор как Сатым несколько раз побеседовал с Зеркуль наедине, та стала прятать глаза от Ырыс. Умудренная опытом, Ырыс делала вид, что не замечает этого, держалась как ни в чем не бывало. «Наверное, есть у них в мыслях такое, что до поры до времени надо скрывать. Пусть поступает как знает. Если они сладят между собой, тем лучше для нее. В конце концов каждый живет для себя. Она еще молодая,

едва тридцать исполнилось. Зачем ей век одной вековать? Я ей мешать не буду».

Ырыс прикидывалась, будто ни о чем не догадывается, с расспросами не навязывалась. А между тем на душе у нее творилось неладное. Было так горько и одиноко, что хотелось проклясть свою несчастную судьбу.

С заходом солнца пахари распрягали коней и возвращались верхом в аул. Зеркуль и Сатым задержались на поле чуть дольше других и приехали позже. Они старались скрыть от посторонних свое настроение, но это им плохо удавалось. Помолодевшие их лица горели румянцем. Не похоже было, чтобы они устали. Как правило, после тяжелой работы люди выглядят утомленными и раздраженными, эти же были веселы и бодры. Зеркуль заметила все же, что Ырыс угнетена чем-то, засуетилась виновато, помогла ей собрать дастархан, помыла посуду после ужина.

— Женеше, вы не приболели? Что-то вид у вас больной...— спросила она с жалостью Ырыс.

— Не знаю, ни с того ни с сего вдруг такая тоска напала,— призналась Ырыс. Больше они об этом не заговаривали.

Ночью Ырыс опять не могла уснуть от мрачных и тяжелых мыслей. Старалась отогнать их, но они возвращались снова и снова, пока она не забылась в полусне. И совсем неожиданно ей приснился сон. Видит она во сне своего Малика. Будто стоит он такой беленький, хорошенький. Весь чистенький, ухоженный. На нем белоснежная рубашка, черный костюм, а на голове фуражка с козырьком. Горят золотом пуговицы на костюме — глаз не оторвать. Он смотрит на нее издали, улыбается, но не подходит.

— Малик, сыночек! Жизнь моя! А я боялась, что с тобой беда случилась! Где же ты ходишь? Кто о тебе заботится? Кто кормит и поит? Чья на тебе одежда?

Она хочет броситься к сыну, обнять его, но не может сдвинуться с места. Руки-ноги словно помертвели. Душой она рвется к нему, а ноги не слушаются. «Это от сильной радости,— думает она.— Сейчас я успокоюсь, приду в себя и тогда смогу наконец прижать его к себе. Душа моя, сыночек мой родной! Какое счастье, что я тебя увидела!» Сын ее никогда не шалил, не озорничал, как другие избалованные дети, был тих и кроток, как сытый ягненок. И сейчас он, как обычно, сдержан и спокоен. Хотя он давно не виделся с матерью, по нему неза-

метно, что он сильно соскучился. Стоит себе, улыбается ласково.

— Как чья? Это моя одежда, апа,— отвечает он ей, довольный.

— Жеребеночек мой, ты не голодаешь? Как же ты один живешь, без меня?

Сын весело смеется над ее словами.

— Тебе не одиноко?— спрашивает она со страхом.

— Нет, апа, у меня много товарищей... Ты не бойся за меня,— говорит Малик.

— Какие товарищи? Откуда?

— Ребята, с которыми я вместе учусь.

«А-а, мне же говорили, что его забрали в детский дом»,— вспоминает Ырыс.

— Зачем же ты так огорчил меня? Куда ушел? Я же тебя по всему городу искала и так и не нашла,— упрекает она сына.

— Это меня дяденьки забрали и увезли с собой. Там со мной было много ребят. Нас покормили и посадили на поезд. А я вас ждал, ждал, все время смотрел на дорогу. Вы же сами не приходили.— Мальчик обиженно надулся. У Ырыс чуть сердце не разорвалось от жалости.

— Солнышко мое, если бы я знала, где ты, разве я не пришла бы? Да я ради тебя и в огонь, и в воду полезу. Вся беда в том, что я не знаю, где тебя искать.

Мальчик молчит. Ей страстно хочется обнять его, но он не подходит.

— Что же ты стоишь там, как чужой? Ты отвык от меня, да? Подойди ко мне. Видишь, у меня руки-ноги отнялись? Может, ты обиделся, что я не подошла к тебе? Разве я не подошла бы, если б могла.

Ырыс, злясь на свою беспомощность, рванулась было вперед, но тут проснулась.

Было еще темно. Она поднялась, села. Перевернула промокшую от слез подушку. Во всем теле ощущалась разбитость и усталость. Долго она сидела, прислушиваясь, как неистово колотится сердце. То и дело к горлу подкатывала дурнота. Дышалось с трудом. Чтобы унять одышку, она вышла на двор. Окутанные ночным мраком, горы спали. Журчал родник, перекатываясь по камешкам. Звук этот напомнил Ырыс шаловливый ребячий смех.

Весенняя ночь, свежая и росная, подействовала на нее благотворно. После теплой постели она сразу замерз-

да. Вместе с ощущением холода пришла бодрость. И в голове прояснилось.

«Значит, бедный мой сын жив. Да, жив, конечно. В таком виде могут сниться только живые. Он весел и здоров. Сыт, одет, обут. Сразу видно, что живет в достатке. Почему он мне приснился? Может, весть какую-нибудь получу? Кто знает, создатель всемогущ. Долго ли ему осчастливит бедную женщину. Но почему мы были совсем рядом, а так и не подошли друг к другу? К чему бы это? Раз он не подошел ко мне, то, наверное, он где-то очень далеко отсюда»,— пыталась она истолковать свой сон.

Ей показалось, что кто-то вышел из дома, она оглянулась и увидела Зеркуль.

— Женеше, что вы тут делаете одна так поздно?— подошла она к Ырыс.

— Сон мне приснился. Вот я и проснулась.

— К добру?

— Не знаю,— вяло ответила Ырыс. Она пересказала свой сон Зеркуль. Сказала и о том, что он, на ее взгляд, может пророчить.

— Женеше, но это же замечательный сон. Милый мой мальчик... Где-то он бегаёт? Будем живы, еще услышим о нем. Вот увидите. И встретитесь вы с ним. Обязательно встретитесь.

— Дай бог, чтобы слова твои сбылись.

— Надо будет завтра раздать семь лепешек¹,— озабоченно сказала Зеркуль.

Небо на востоке начало светлеть. Тьма будто незаметно уползла и спряталась в ущельях и оврагах. На Устюрте ночь понемногу уступала место молочному свету. Тяжелой ртутью заблестел Акбулак. Женщины, замерзнув от предутренней прохлады, вернулись в юрту.

А еще через день, улучив момент, когда они остались в юрте вдвоем, Сатым, смущенно срзая, завел следующий разговор.

— Реке,— уважительно обратился он к Ырыс.— Вы меня смолоду знаете. Я вырос в одном ауле с вами. Оглядываться мне не на кого, я человек одинокий. Если вы не против, то, может, примете меня в свою семью? Вам, вроде, тоже ведь нужен кто-то, кто взял бы хозяйство в свои руки, делал бы по дому мужскую работу.

Ырыс не ожидала, что все решится так скоро и прос-

¹ Традиционное жертвоприношение у мусульман.

то. Застигнутая врасплох, она молча уставилась на Сатыма. Тот сидел, поджав под себя ноги и не поднимая глаз на Ырыс. Худощавое, продолговатое лицо, просторный лоб и крючковатый нос, длинная шея с острым кадыком. Сам высокий, светлокожий. Со своим доверчивым и открытым взглядом выглядит моложе своих лет. Да и характером, как дитя. Искренний, незлобливый. Что на уме, то и на языке.

Ырыс ничуть не сомневалась, что говорит он от всей души. Зеркуль сидела в напряженной позе, ждала ее ответа. Хотя сама она за все время не произнесла ни слова, ясно было, что сказанное Сатымом исходит и от нее. А Ырыс, честно говоря, не знала, что ответить. Отрезать: «Нет», — язык не поворачивался. Сразу дать согласие: «Вы на меня не оглядывайтесь. Устраивайте свою жизнь. Благослови вас бог и будьте счастливы», — не хватало духу.

— Ума не приложу, что вам советовать. Решайте сами. Но подумайте прежде. Если вы рассудите, что вам вместе будет лучше, я никуда не денусь, — сказала она наконец.

* * *

Зерно, засеянное в благодатную почву, дало дружные всходы. К середине лета колыхалось море золотых колосьев. Во время жатвы на току лежало высокими гребнями красное зерно, напоминая песчаные барханы. Угрозы голода больше не существовало.

После жатвы и обмолота народ спустился с гор. Женщины вернулись домой не одни, а втроем с Сатымом.

Сатым время от времени занимался кузнечным делом, а большей частью выполнял разную тяжелую работу. Ырыс и Зеркуль, не связанные детьми, не жалели себя, шли туда, где были нужней.

Однажды пришел к ним Жакан и сказал:

— Не пойти ли вам в чабаны? Вас трое крепких работников. Дело вам знакомое. Думаю, вы справитесь. Заработки там хорошие. Так что в обиде не будете.

Посоветовавшись, они приняли предложение. К этому времени в колхозе появилось свое небольшое стадо, собранное с миру по нитке. Его и доверили им. Отныне жизнь их зависела от смены времен года, от состояния пастбищ. На лето они поднимались со своим стадом к тучным горным пастбищам, зимовали же в низине, а в

усадыбе бывали редко. Пастуший посох принес им удачу. За пять-шесть лет небольшое стадо расплодилось, стало многотысячным. Ряды чабанов росли. Теперь их насчитывалось полтора десятка семей. Кочевки не помешали Зеркуль родить двух сыновей. Старший — Болат — уже топал своими ножками, забавляя всех разными проделками. Как только малыша отняли от груди, им завладела Ырыс. Потом уже ему и дела не было до своей матери, день и ночь не разлучался с Ырыс. Что зря грешить, на совести Зеркуль не было ни пятнышка. Растила детей так, чтобы они не делали разницы между нею и Ырыс. Каждое второе ее слово было: «Женеше, эти ваши проказники...» До сих пор Болат, а за ним и Серик называют Ырыс «большой апа», а Зеркуль — «маленькой апа».

Когда началась война, Болату было четыре года, а Серику не исполнилось и года. Только народ зажил в свое удовольствие, как разбушевался ураган войны. За короткий срок народу в ауле стало вдвое меньше. Мужчины один за другим уходили на фронт. Смех и игры, к которым приохотился счастливый и сытый народ, были забыты.

Сатыма призывали дважды, но оба раза оставляли на более поздний срок. На второй год войны в середине лета он снова получил повестку и уехал в военкомат. Дня три его не было, а на четвертый он приехал с Жаканом. Пока они спешили, вошли в дом, никто и словом не обмолвился. Потом, когда они расположились на торе, домашние с неммым вопросом в глазах присели у двери.

— Отправляют, — сказал им Сатым. — В пятницу надо явиться в район. Сегодня среда.

Женщины, пригорюнившись, молчали. Молчал и Сатым. Гнетущую тишину нарушил Жакан.

— Что делать, милые? Это общая судьба. Не на вас одних свалилась эта напасть, так что не падайте духом. Надо верить в лучшее.

— А мы что будем делать? Переедем в усадьбу, наверное? Кому нам, кайнага, сдать отару? Если Сатым уедет, нам же нельзя здесь оставаться, — заговорила Ырыс, но Жакан не дал ей докончить, воскликнул:

— Как так переедете? О чем ты говоришь, Ырыс? Как это вы сдадите отару? И кому? Вы об этом подумали? Где я возьму чабанов? Вы укажите мне, хоть на одного, кто сейчас сидит без дела? Все же на ваших глазах.

— Кайнага, как же мы без Сатыма справимся с отарой? Мы, двое баб с двумя малыми ребятишками.

— Милая Ырыс, если вы не справитесь, то где я найду таких, которые справились бы? Вы же вдвоем двух хороших джигитов стоите. Вам не привыкать ходить за отарой. Я же еле-еле нашел помощниц в отары, где мужчины сейчас на фронте. Так что у всех положение одинаковое.

— Даже не знаю, кайнага,— уклончиво сказала Ырыс, чтобы не быть резкой, но и не желая уступать.

И Жакан, пожалев о своей горячности, решил, видимо, делать упор на их сознательность, стал уже уговаривать.

— Ырыс, ты же понимаешь. У меня просто нет другого выхода, вот и насел на вас. Неужели я желаю вам зла? Трудно вам будет. А что я могу поделаться? Но как-нибудь всем миром выстоим. Постарайся понять, свет мой. Я ведь как ломал голову, но так и не придумал, кто бы лучше вас справился.

Его вдруг поддержал Сатым, который обычно ни в какие разговоры не вмешивался:

— А вы попробуйте. Если что не так, Жаке вам поможет. Куда же ему девать скотину, раз людей нет?

Ырыс покорно умолкла. После чая Жакан, распрощавшись, уехал.

Два дня женщины готовились к отъезду Сатыма, перестирали и уложили в коржун его одежду, а в пятницу на рассвете он собрался в дорогу.

— Я сама присмотрю за отарой, а ты поезжай с ним в район, проводи по-человечески. Детей с собой прихвати,— сказала Ырыс Зеркуль. Водрузив на вислогорбого верблюда седло, она посадила Зеркуль с детишками и отправила их вместе с Сатымом в райцентр. На другой день вечером Зеркуль вернулась, с притороченным к седлу полосатым коржуном, где лежали любовно подготовленные ими вещи Сатыма, которые, как оказалось, ему не понадобятся.

— Утром проводили,— сказала она устало.

До поздней осени одинокая их юрта стояла в горном ущелье, где их оставил Сатым. «Беда не приходит одна». В довершение ко всем несчастьям этого года в предзимье разгулялись волки. Ходили стаями, совсем перестали бояться людей и могли напасть на отару среди бела дня. Бедные женщины запирали детей и день-деньской ходи-

ли вдвоем за отарой. Ночи напролет по очереди стерегли загон. Иначе потерь было не миновать.

Со дня на день ждали откочевки на зимние пастбища. Женщины заранее сложили и увязали весь скарб в узлы, но народ почему-то все медлил, а перегонять гурты в одиночку никто бы не решился.

С наступлением августа в горах с каждым днем становится все холодней. Чтобы не замерзнуть, приходилось топить печку. Заперев овец в загон, они в тот день, как всегда, приготовили ужин. После ужина Зеркуль пошла караулить овец, а Ырыс легла с детьми спать.

Во сне ей приснился покойный свекор. Он был человеком умным и благородным. К снохе относился, как к родной дочери. И Ырыс платила ему искренней привязанностью и уважением. «Это же отец,— недоумевает во сне Ырыс.— Откуда он здесь взялся? Разве он не умер давным-давно?» Она почему-то чувствует себя виноватой перед ним, не смотрит ему в глаза. А свекор будто вовсе не изменился к ней, любит ее по-прежнему.

— Келин!— кричит он издали и указывает ей посохом на запад: посмотри, мол, туда. Она оглядывается и видит, как с высокой горы на нее стремительно несется лавина. В смертельном страхе она ищет глазами свекра, ожидая, что он подскажет, что ей делать, но того уже не видно.

— Какой ужас! Нас же погребет заживо! Как спасти детей?— кричит она и просыпается. Сердце болезненно колотится. Еще не опомнившись от пережитого во сне страха, она лежит в неподвижности. А потом уже ей приходит в голову, что свекор приснился неспроста. «И как он, незабвенный, мог мне присниться через столько лет? Видимо, дух его оберегает нас»,— подумала она благодарно, и в это самое время снаружи раздался гул.

— Что такое?— испугалась Ырыс. Не успев набросить на себя чапан, лежавший в изголовье, она выскочила на двор. Хорошо, хоть не забыла прихватить тяжелую дубину, висевшую наготове у двери. Ырыс и сама не помнит, как очутилась у загона. Внутри все бурлило и клекотало.

— Зеркуль, а Зеркуль!— закричала она дурным голосом. Та, оказывается, задремала, прислонившись к ограде. Вскочив, заметалась, не понимая, что происходит. Ырыс, призвав на помощь все свое хладнокровие, пыталась оценить, сколь велика опасность. В темноте с трудом разглядела, что среди черных овец носится что-то

серое. Не разобрала, волк это или собака. Вот зверь набросился на одну овцу, потом на другую. Медлить было нельзя.

— Скорей! Скорей!— кричала она неизвестно кому.— Сейчас всех прикончит!

В такие минуты человек не ведает страха. Ему и в голову не приходит побережь себя. Единственное, чего она боялась,— это быть сбитой с ног и растоптанной обезумевшими овцами. Настороженно вглядываясь в темноту, она пробиралась туда, где хозяйничал хищник. Но он уже заметил человека, метнулся в другую сторону, чтобы перемахнуть через ограду. Но не тут-то было. Ограда была вдвое выше человеческого роста. Повиснув на ней, он забарахтался, засучил задними ногами, ища опору. В это время подоспела к нему Ырыс, размахнулась и ударила изо всей силы, метаясь в голову. Волк шмякнулся на землю, но тут же, перекувыркнувшись, снова бросился бежать. Тут и Зеркуль наконец протолкалась к Ырыс с огромной палкой в руках.

— Как бы нам не упустить его. Будь начеку. Смотри, чтоб не убежал. Карауль его здесь,— поручила ей Ырыс, а сама ринулась за волком. Они, встав с двух сторон, приближались к нему все ближе. Рывкнув, волк в мощном броске повис на Зеркуль. Та истошно вскрикнула и упала. Тогда волк рванулся к ограде, но за ним по пятам уже бежала Ырыс. Удар настиг его в прыжке. Взвизгнув, волк покатился под ограду. Ырыс машинально наносила удары один за другим. Когда безвольно обмякшее тело хищника напряженно вытянулось, она поняла, что он мертв, бросила дубину и заспешила к Зеркуль.

В шоке Зеркуль не отвечала на ее вопросы.

— Что с тобой?— тормошила ее Ырыс.— Ты ранена?

Зеркуль, дрожа всем телом, смотрела на нее бессмысленными глазами. Ырыс вначале не заметила ни оторванного рукава, ни крови, капавшей из раны на руке, а заметив, пришла в отчаяние. Поддерживая Зеркуль под локоть, привела ее в юрту.

Дети давно проснулись от шума и сидели на постели, прислушиваясь к тому, что доносилось снаружи. Плакать они не смели, а только испуганно жались друг к другу. Увидев Ырыс с Зеркуль, сразу захныкали, побежали к ним.

Ырыс боялась, что при виде крови они напугаются еще больше, быстро уложила их, укутала потеплей, ласково приговаривая:

— Что же вы, маленькие, не спите? А ну-ка спать. Мы только вышли посмотреть овец. А вам спать надо. Закрывайте-ка глазки.

Она, ласково похлопывая детишек по спинам, усыпила их, потом растопила печку, согрела воду, тщательно промыла рану Зеркуль, а затем прижгла ее паленой шерстью. Управившись со всем этим, снова пошла в загон, приволокла труп волка к юрте и завалила его хвостом. Наутро насилу сняла шкуру. Это оказался рослый, крепкогрудый волчонок весеннего помета.

— Чтоб не плодиться вашему племени. Этот гад уже сейчас не меньше телка, а если б вырос, каким бы стал, — сказала она, содрогнувшись от ужаса.

Ырыс еще ночью осмотрела отару. Среди овец попадались пораненные, но убитых, к счастью, не было. Утром, выпуская овец из загона, она внимательно разглядела каждую. Обнаружив с десяток серьезно раненных, оставила их в загоне. За ними надо поухаживать как следует, и все будет нормально. Так что если не считать ночного переполоха и предстоящих хлопот, можно считать, обошлось без ущерба. Не прошло и двух недель, как овцы пошли вместе со стадом на пастбище.

А Зеркуль никак не могла оправиться от шока, долго болела. Рана ее постоянно мокла, вызывая у Ырыс вполне обоснованную тревогу. Но больше всего Ырыс мучилась тайным страхом, что волк мог быть бешеным. С подозрением приглядывалась к Зеркуль, боясь обнаружить признаки жуткой болезни.

* * *

Весной пришла весть о победе. В то время как раз завершался хлопотливый сезон окота, когда круглые сутки люди не знают ни сна, ни отдыха, неделями не раздеваются. К окоту народ переселялся из песков поближе к усадьбе колхоза. Стоянка Ырыс и Зеркуль была расположена у подножия хребта Коянды.

В тот день около полудня они увидели, как из центральной усадьбы вылетел одинокий всадник и помчался во весь опор в их сторону. Он задерживался только на минутку у каждой стоянки и летел дальше.

— Кто это такой? И что за спешка? — удивленно покачала головой Зеркуль.

Ырыс догадалась, что всадник не зря торопится.

— Раньше гонцы так скакали,— улыбулась она.— Добрую весть, наверное, несет или людей на той созывает, потому и спешит.

Не успела Ырыс договорить, как всадник, крутя над головой камчой, издавдала закричал ликующим голосом:

— Суюнши! Суюнши!¹

Резко осадив коня рядом с женщинами, он радостно выпалил:

— Суюнши, апа! Война закончилась! Мы победили!

Это был один из подростков аула. Его так и распирало от гордости, словно он сам разгромил врагов.

— Какое счастье! Наконец-то!

— Долгой жизни тебе, сынок! Спасибо за добрую весть. Слава богу, дожили и до этого счастливого дня!

Мальчик прищпорил было коня, чтобы скакать дальше, но его остановила Ырыс:

— Милый, погоди-ка. Когда вы узнали об этом? Кто послал тебя к нам!

— Только что узнали, апа! Жакан-ата меня послал. Сказал, чтоб я всем чабанам сообщил. Вот, коня даже своего дал, чтоб поскорей доехал,— ответил гонец и ускакал.

Ырыс только теперь узнала рыжего жеребца председателя.

— Поди, хотелось людей поскорей обрадовать. Видишь, мальчишку снарядил... А что ему делать, бедному? Сам бы поскакал, да сил нету. Вот ведь как о народе печется. Святой человек. Сбылись его чаяния. Слава создателю, дождались-таки победы...— промолвила Ырыс, не отрывая глаз от уносившегося вихрем всадника.

Мальчик, который принес долгожданную весть о победе, возбудил в ее сердце дремавшую до поры тоску о сыне. Как ни велико благодеяние создателя, разве зазорно желать большего? Человек — существо ненасытное. Одной радости ему мало, подавай ему и другую. В этот день, когда сбылась самая большая мечта народа о мире, надежда, тлевшая угольком в ее сердце, разгорелась с новой силой.

«Моему Малику столько же лет, сколько этому парнишке. Если бы он был со мной, то, может, сегодня он стал бы вестником победы. Где он и что с ним? Если он

¹ Суюнши — подарок за радостную весть.

жив, то каким вырос?» — думала Ырыс. Она долго мучилась, пытаясь представить, как выглядит ее сын. Теперь, когда настали мирные времена, повзрослевший сын ее, возможно, будет искать родных. Каким это было бы счастьем, если бы они встретились.

С тех пор, как Сатым на фронте, связь с ним ни разу не обрывалась. Если он в одном письме сообщал: «Ранен, лежу в госпитале», то в другом писал: «Вылечился, отправляюсь в часть». В последнее время в каждом письме твердил: «Гоним врагов, победа близко». Женщины были рады хотя бы тому, что он жив.

— Даст бог, вернется когда-нибудь, — терпеливо твердили они.

— Это что за нескончаемая война. И земле, оказывается, нет ни конца ни края. Все гонят и гонят. Эта гонка кончится когда-нибудь? — вопрошали они гневно, когда истощалось терпение.

Услышав, что война кончилась, они до самого вечера были в ожидании, словно Сатым должен был вернуться в тот же день. Ждали его с нетерпением, но он все не ехал. Потом они откочевали в горы и поддерживать связь с аулом стало слишком сложно. Переживали втихомолку, подозревая самое худшее.

Чем дальше, тем меньше оставалось у них надежды на его возвращение, как вдруг посреди лета он свалился им как снег на голову.

Это было в разгаре июля. Для стоянки они выбрали то же самое место у родника, что и каждый год. Трава на склонах выгорела от зноя. Лишь у родников и в логах сохранились зеленые островки, и пестрая степь напоминала желтый лист бумаги, забрызганный зеленой краской.

Как обычно, они с утра пораньше погнали отару на выпас, а в полдень после водопоя оставили ее отдыхать у прохладного родника, а сами пошли домой попить чаю. Вдруг залаял пес, лежавший в тени у юрты. Вслед за этим они услышали топот копыт. Зеркуль, сидевшая ближе к двери, встала, чтобы выглянуть наружу. Она высунулась из двери да так и застыла.

Ырыс заинтересовалась:

— Зеркуль, что там? Едет кто-то, что ли?

— Ой, женеше, там отец Болата, — дрожащим голосом ответила Зеркуль и, поблуднев, прислонилась к косяку.

— Да что ты говоришь? — воскликнула Ырыс и под-

скочила к ней. Из-за невысокого пригорка показались двое верховых.

— Душа моя, да их же двое! Кто же второй?— заволновалась Ырыс. Она разобрала, что тот, который в солдатской форме,— это Сатым, а второго не могла разглядеть. В ту же минуту в душе ее вспыхнула безумная надежда. Колени вмиг ослабли, в глазах замелькало. Она протерла глаза, снова всмотрелась в спутника Сатыма. Это был взрослый человек.

— А-а, это кто-то его из аула сопровождает,— разочарованно протянула она. И тут же устыдилась своего настроения. «Что же это я? Почему не радуюсь, когда близкий человек вернулся цел и невредим с кровавой битвы? Разве я сегодня потеряла сына? А если не сегодня, то зачем омрачать чью-то радость?»— одернула она себя, взбодрилась, расправила поникшие плечи.

— Болат! Болат! Серик! Отец ваш едет! Идите сюда, смотрите! Ну, бегите же к нему!— шагнув за порог, крикнула она.

Стоило малышам услышать это, как они ринулись вперед. Когда до них оставалось несколько шагов, Сатым свешился с лошади, подхватил детей на руки, начал обнимать и целовать их. Вслед за детьми прибежали и женщины.

Приехавший вместе с Сатымом Жакан, сам светясь от радости, долго жал руки Зеркуль и Ырыс.

— Ну как, дождались своего героя? Видите, все обошлось как нельзя лучше. Теперь вот в доме будет хозяин, и все печали забудутся. Мы еще, знаете, как заживем!

Сатым нахлобучил на старшего свою пилотку, младшего опоясал солдатским ремнем, поднял их на руки и зашагал к дому.

Старый председатель выглядел неважно. Ырыс слышала, что он мучается кашлем, и теперь расспрашивала его о здоровье.

— Э-э, свет мой, о чем тут спрашивать? Хорошо еще, что я продержался до этих пор. И на том спасибо.

— Вы перетрудились слишком. Легко ли в ваши годы мотаться день и ночь, как вы мотались,— сказала Ырыс, искренне огорченная его нездоровьем.

— И то правда. Раньше была возможность беречь себя, тем и был жив. Болезнь-то у меня застарелая, с детских лет тянется, а нынче вот дает себя знать. Совсем одолела, проклятая.

— За вами уход нужен хороший. На покой вам пора.

— Я как раз сдал все дела. Те, кому суждено было вернуться, вернулись. Пусть сами заправляют всем хозяйством. В тяжелые времена я не жалел себя, а теперь попросил освободить меня. Получил разрешение у районного руководства. Сняли с меня обязанности председателя. Потому и приехал к вам. Воздух в горах целебный. Тут и Сатым вернулся, будет с кем поговорить по душам. Да и вы мне не чужие. Так что не заскучаю. Попью молока, отдохну от души. Глядишь, и поправлюсь.

— Это вы хорошо сделали,— обрадовалась за старика Ырыс.

Первый послевоенный год памятен народу особым праздничным настроением души, светлыми радостями, звонкими песнями, крепким братством. Стосковавшиеся по гуляниям, они не считались с нуждой и рады были по любому поводу встретиться, пообщаться.

Весть о возвращении Сатыма собрала всех чабанов округа.

Серый козел, который все эти годы нагуливал жир, пошел под нож. В вещмешке Сатыма нашлось что выпить. Угощения этого хватило, чтобы торжественно отметить возвращение хозяина.

Постепенно жизнь входила в свои берега, потекла тихо и спокойно.

— Пора детей отдать в школу. Может, мы с Зеркуль останемся пасти овец, а вы с детьми переберетесь в усадьбу, и пусть они пойдут учиться?— спросил Сатым в канун сентября у Ырыс.

— Да, Болатжана жалко, отстал от своих сверстников. Надо их определять в школу,— поддержала его Ырыс.

Не откладывая дела в долгий ящик, Сатым перевез Ырыс с детьми в колхозную усадьбу.

Незаметно летели годы. Вот и ребята окончили школу. Болат выучился на шофера и остался в ауле. Серик уехал учиться в город. Сатым с Зеркуль вышли на пенсию и вернулись в аул. Все, кроме студента Серика, жили вместе. Болат женился и пошли у стариков внуки. Зеркуль, вот ведь святая душа, ни к одному из внуков не прикасалась первой. Всех приняла в свои руки Ырыс.

— Иди к своей большой аже,— твердила Зеркуль внукам, когда те подросли. И дети усвоили, что самая

главная в семье — Ырыс. Когда их спрашивали: «Чей ты?», отвечали: «Большой аже».

Прошло еще какое-то время и Ырыс похоронила Сатыма с Зеркуль, которые отошли в мир иной почти одновременно. Зеркуль, да будет ей земля пухом, перед смертью призвала Ырыс к себе, чтобы спросить:

— Женеше, я ни в чем не провинилась перед вами? Если было такое, простите меня. Я никогда не хотела вас обидеть.

Ырыс, обливаясь слезами, гладила руку умирающей:

— Айналайн, я благодарна тебе на этом и на том свете.

Зеркуль смущенно кивнула головой, и слабая улыбка на какой-то миг осветила ее лицо; смертельно бледное, оно слегка порозовело. Некоторое время она лежала молча, потом едва слышно произнесла:

— Старый человек бывает обидчивым. Ребята еще слишком молоды. А в молодости человек многому не знает цены. Если они когда-нибудь огорчат вас, вы не переживайте. Они же вам не чужие.

— О чем ты говоришь, Зеркуль! — воскликнула Ырыс.

— Я ведь просто так говорю, женеше, — сказала Зеркуль дрогнувшим голосом. — Как жаль, что мне при жизни так и не удалось узнать хоть что-то о Малике, — вздохнула она и отвернулась.

— Выходит, такова воля всевышнего, что мы не встретились с ним. Где-то он ходит по свету. Кабы знать, где он... встал на ноги... Может, сейчас у него и семья есть, и дети. Что делать? Где бы он ни был, нам остается только желать ему благополучия и утешаться хоть этим. Доведется нам встретиться с ним на этом свете или не доведется — все в воле аллаха, — исчаинно проговорила Ырыс и замолкла.

К кому-то смерть приходит раньше, к кому-то — позже. Прошло немало лет, как близкие ей люди покинули этот мир. А на долю Ырыс выпала долгая жизнь. Правда, она не сетует, что зажила на этом свете. Что может сравниться с белым светом? Ей дорог каждый день. Однако, она надеется, что не нарушит закона природы. «Не приведи бог услышать дурную весть о ком-нибудь из детей. Лишь бы он призвал меня раньше них», — мо-

лится она денно и ночью. И нет у нее других желаний, кроме этого.

И у сыновей ее совесть чиста. Живет она у Болат. Теперь он хранитель семейного очага. У него семь малышей, и все в ней души не чают. Серик после окончания института работает инженером на заводе, построенном на том самом месте, где она когда-то прощалась со своими спутниками — русскими геологами.

Там поднялся большой город, где и живет ее младший сын со своей семьей. Каждую субботу он приезжает на своем «Жигули» в аул. Детишек у него трое. Высыпав из машины, они первым делом бегут к своей бабушке. Да и Серик, даром что взрослый, так и ластится к ней. А у самой Ырыс с языка не сходят слова любви и ласки. Ни о чем другом она не мечтает, как о благополучии своих детей. О благополучии народа.

ГОЛУБАЯ ДОЛИНА

В просторной комнате, два огромных окна которой выходят на запад, стоит полумрак. Только плотные темные шторы и спасают от палящего солнца, когда даже толстые глинобитные стены домов дышат жаром. Потому и заведен в ауле, расположенном в засушливом южном краю, обычай с приходом лета наглухо завешивать окна. Правда, июльский зной еще впереди. Пока и жары особенной нет, однако обычай есть обычай. Раз лето наступило, то окна в доме зашторены. Потому Жумакуль, едва переступив порог, замерла, словно наткнулась на неожиданную преграду. Она поморгала и обвела комнату невидящим взором.

— Отец, ты здесь? — произнесла она нерешительно, обратив напряженное лицо в глубь комнаты.

Канат, погруженный в свои невеселые думы, отозвался не сразу.

— Ну, что там у тебя? — сухо спросил он немного погодя.

— А-а, вот ты где, оказывается.

Жумакуль уже уверенно направилась на голос, подошла и остановилась рядом с мужем.

— Помылся бы и шел чай пить. Что сидишь-то? Даже не переоделся до сих пор.

Вернувшись с работы, Канат прошел в дом, чтобы сменить одежду, но вдруг ему захотелось отдохнуть немного, дать натруженным ногам остыть, и он сел, откинулся на спинку стула и забылся надолго. И только когда дверь распахнулась, и в светлом проеме появилась Жумакуль, он очнулся от дум и, как-то разом отринув заботы, словно бы ободрился, воспрянул духом. Он

встал, скинул с себя верхнюю одежду, набросил легкую поддевку, которую носил дома, и вышел. Во дворе умылся холодной водой и, уже обтираясь полотенцем, огляделся вокруг.

Старший его сын — восьмиклассник Болат — взялся самостоятельно скосить клевер за домом.

Но Болату, пожалуй, одному не справиться. «Да, надо, не откладывая, приниматься за дело самому, иначе будет поздно. После чая и начну», — подумал Канат.

— Болат! Сходи к соседям, возьми у них косу да поточи как следует, я приду помогу тебе! — крикнул он сыну.

Мальчик, не прекращая работу, кивнул согласно: хорошо, сделаю.

— Ты не придешь к чаю? — крикнул Канат снова, любуясь исподтишка подросшим сыном. Паренек был высок. Непокорные вихры топорщились, отчего голова казалась великоватой. Отец отметил сходство сына с собой и удовлетворенно улыбнулся. Болат, который все также размахивал косой, не поднимая головы, коротко бросил:

— Я пил недавно.

«Робкая душа, все время молчит, глаза потуплены. Не поговорит с человеком открыто, приветливо. Ох, и замкнутым он будет, — посмеялся про себя Канат, наблюдая за сыном. — Одно хорошо — не шатается бесцельно, как другие. Да и не избалован, шалостей и капризов за ним отродясь не водилось».

— Ой, уж не стихи ли ты надумал писать? Что за странности? Стоишь ли, сидишь ли, все время витаешь в облаках? — шутливо окликнула его Жумакуль с порога. — Чай остывает.

Канат пошел пить чай. Преданная и заботливая жена, Жумакуль привыкла угадывать настроение мужа без слов. И сейчас, заметив, что Канат удручен чем-то, она сразу посерьезнела, захлопотала около него. Мягко и бесшумно двигаясь, переставила с центра стола масло, сахар и конфеты поближе к мужу. Тихо пошептала что-то на ухо среднему сыну, и тот с грудным малышом на руках отправился в другую комнату смотреть телевизор.

За чаем молчали. Когда жена принялась убирать со стола, Канат потянулся с хрустом, затем откинулся на спинку стула, посидел, отдыхая, после чего резко поднялся:

— Хватит прохлаждаться, пойду помогу Болату.

— Не беспокоился бы понапрасну. Если устал, лучше отдохни. Завтра воскресенье. Болат говорил, что в выходной день приведет на помощь своих одноклассников. Как-нибудь и без тебя управятся,— пожалела его Жумакуль.

— Нам, Кулеке, и самим не мешало бы время от времени поразмяться, разогнать кровь. Нынче клевер такой уродился, что и на долю ребят останется.

Обычно Канат называл жену ее полным именем и только в добром или, напротив, дурном расположении духа звал «Кулеке». Оба давно привыкли к этому и никогда не задумывались, откуда появлялись эта отстраненность и подчеркнутое уважение.

От прогретого дневным жаром клевера дохнуло влажным теплом и душистым запахом вянущей травы. После двух-трех взмахов Канат покрылся испариной. Прокосив три ряда, присел на свежую копну. Пот лился с него градом. Он достал платок, отер шею и крикнул возившейся во дворе Жумакуль:

— Принеси сигареты!

Жена принесла ему сигареты и коробку спичек.

— Ой, ты зачем потный сел на сырую траву?— удивилась она.— Вот простудишься, потом жалобами замучишь.

— А клевер очень теплый. Знаешь, как приятно сидеть.

— Все равно влажный. И земля сырая.

— С тобой спорить опасно. Встану-ка я лучше...

— Болатжан, принеси из дома стул для папы.

— Не надо,— махнул рукой Канат.— Я же не кино пришел смотреть. В детстве, помнится, мы не то что на копне, на зеленой травке валялись. Бывало, и заснешь на лужайке, но ни о какой простуде и речи не было. А теперь и сырости боишься, и сквозняка. Не пойму я, что у нас со здоровьем делается.

— То в молодости было. Ты уже не мальчик. Молодость не воротишь.

— Разве нас уже одолевает старость? Правда, по всем приметам она уже не за горами. Медики утверждают, что в наш век средняя продолжительность жизни возросла, следовательно, и молодость длится дольше. А кого из ровесников ни спроси, все, как один, жалуется на болячки. Ни одного здорового не найдешь.

— Ну и отчего это, как ты считаешь?

— Кто знает. Наверное, избаловались мы, слишком

себя бережем, жалеть стали себя чересчур. А может, в природе произошли такие изменения, которые подтачивают силы, выматывают нервы, изнашивают человека до времени. Но хуже всего то, что стоит нам чуть прихворнуть, как начинаются бурные переживания. Мне кажется, что на мелкие недомогания вообще не стоит обращать внимание. Надо уметь бороться с ними. Борьба — главное условие жизни и ее содержание. А главное условие борьбы — риск. Ничто так не изводит человека, как тоска и тревога... Что-то мы в философию ударились... Ладно, ступай. Мне пора приниматься за дело.

По природе своей Канат не был словоохотливым, но иногда, заговорив о чем-то интересном для себя, мог пускаться в долгие рассуждения. Он не был лишен способности увлечь собеседника здоровыми мыслями, верными наблюдениями.

Жумакуль, в чьем лице он всегда находил внимательного и благодарного слушателя, вся обратилась было в слух, но он уже начал точить косу.

— Ну, удачного вам покоса, а я пошла, — и отправилась домой.

Отец и сын косили дотемна, до той поры, когда народ, утомившись, собирается у очага. Когда солнце, перевалив через пологие складки полуразрушенной горной гряды, едва достигает за долгий летний день закатной черты, жителям аула, что ютится в просторной голубой долине, пора укладываться спать. И Канат, вернувшись с покоса, умылся студеной водой, осушил полную чашу шубата и прилег. Неожиданно зазвонил телефон. Трубку подняла Жумакуль.

— Тебя просят, — сказала она мужу.

— Кто?

— Альмирза.

Разговор этот был мучителен для Каната, с лица его не сходила хмурая озабоченность. Он изредка отвечал что-то, и то коротко. Зато Альмирза, как видно, слов не жалел.

Жумакуль вспомнила, каким удрученным вернулся Канат домой, свела вместе поздний телефонный звонок и обрывочные фразы, не имевшие отношения к повседневным хозяйственным делам, и поняла, что произошло что-то неладное.

— Слышал, — произнес недобрым голосом Канат, стиснув трубку так, что она чуть не треснула.

— ...
— Искал, чтобы поговорить. Сказали, что ты в район уехал. Ну, а теперь ты, надеюсь, в конторе?

— ...
— Ладно.

Он опустил трубку на рычажок, задумался на миг.

— Что-нибудь случилось?— спросила его Жумакуль. Канат оставил ее вопрос без внимания.

— Я схожу ненадолго в контору,— сказал он и начал одеваться.

— Оу, ты ответил бы вначале. Что это за ночной вызов? Что произошло?— всерьез обеспокоенная, повторила свой вопрос Жумакуль.

— Просто нам нужно поговорить. К тебе это не имеет отношения,— ответил он в дверях, и в голосе его прозвучал упрек жене за излишнюю настойчивость.

«Не поладили между собой,— огорченно подумала Жумакуль.— До сих пор обходилось без стычек. Что же все-таки случилось?»

Несмотря на то, что многие считали Каната интеллигентным и уравновешенным человеком, Жумакуль знала, что доброта и нежелание обидеть кого бы то ни было уживались с такой неуступчивостью, какая не изменила бы ему и под страхом смерти, если он был уверен в своей правоте. Ради своих убеждений он не пощадил бы ничье самолюбие, не посчитался ни со старым, ни с малым. Обычно он был снисходителен к чужим недостаткам, терпеливо сносил многое, в любой ситуации умел сохранять хладнокровие, но иногда в нем просыпался дух противоречия, и он уже не принимал никаких компромиссов. Но никто об этой черте его характера не догадывался. Он старался быть предельно мягким. Прожив вместе много лет, жена привыкла отмечать малейшие перемены в его настроении, и знала то, что скрыто от чужих глаз.

Почему-то Жумакуль предчувствовала, что отношения Каната с Альмирзой когда-нибудь дадут трещину. Она отгоняла самую мысль о возможном разрыве. Старалась ничем не омрачить их дружбу, как могла, укрепляла ее вниманием к семье Альмирзы, тесным общением, гостеприимством. Между тем холодок недоверия оставался. Канат в последнее время все чаще возвращался с работы хмурым и недовольным. Это ее беспокоило. Она несколько раз порывалась сказать мужу: «Попроси перевести тебя в другой совхоз». Ей казалось, что Канату:

сложно работать в родном ауле. Кто-то старше тебя, кто-то — моложе, один тебе брат, другой — сват. Попробуй всем угодить, найти с каждым общий язык. А сколько в хозяйстве забот и хлопот — о том и речи нет. Обычно на тех, кто работает с душой, и ложится основная тяжесть.

Канат и Альмирза с детства росли вместе, вместе учились. На работе без промахов и недочетов не обходится. Бывает, что и у близких людей мнения резко расходятся. В такой ситуации Канат не может высказать все прямо и открыто, а закрыть глаза и согласно кивать головой ему не позволяет врожденная честность, и он мучается, загнанный в тупик. И, безусловно, ему еще тяжелее от того, что, замкнутый по натуре, он старается ничем не выдать душевного смятения. Зная все это, Жумакуль, однако, так и не решилась произнести давно готовые сорваться с губ слова. Ее колебания объяснялись, во-первых, нежеланием покинуть родной аул, во-вторых, убеждением, что ей не следует вмешиваться в дела мужа. «Ему ли жить моим умом? Пусть сам решает», — рассуждала она.

Жумакуль разделась было и легла, но сон не шел. Через открытую дверь из длинных сеней, где горела лампа, косо падала полоска света, рассеивая темноту. Захныкал Нурлан — младшенький. Она подержала его над горшком, потом покормила грудью, и малыш уснул. Посмотрела на часы, они показывали двенадцать. «Неужели он до сих пор в конторе?» — успела подумать Жумакуль, и тут же услышала скрип наружной двери. В такое время чужие не заходят. Это мог быть только Канат, и она не стала набрасывать поверх нижней рубашки халат, а села, как была, на кровати. Канат сделал вид, что не заметил сидящей жены, начал молча раздеваться.

— Может, ты попил бы чего-нибудь? — спросила Жумакуль.

— Нет, не хочется. Лежи, пожалуйста.

По голосу чувствовалось, что он сильно устал и расстроен.

— Кто-то приехал или вы вдвоем столько времени просидели?

— Вдвоем. Никого не было.

— Что за срочное дело среди ночи?

— Зачем тебе знать? Ничего достойного внимания...

Он произнес это раздраженным тоном, в котором про-

звучала просьба не касаться этой темы. Пытливо посмотрела в угрюмое лицо Каната и осторожно справилась:

— Вы не поссорились случаем?

— Ты боишься, что из-за нашей ссоры мир расколется надвое?

На этом разговор прекратился. Жумакуль убедилась: не зря она мучилась сомнениями. Канат дал ей понять, что недоволен Альмирзой. Теперь они лежали молча, думая каждый о своем.

— Почему бы тебе не попроситься в другое хозяйство? Может, и в районе нашлось бы что-нибудь подходящее, — сказала после долгого молчания Жумакуль.

Против ожидания Канат не возмутился: «Это что еще за слова?» В глубокой задумчивости он оставил ее вопрос без ответа. Он и сам подумывал об этом. Поначалу казалось, что наконец нашелся вполне разумный выход. В самом деле, почему бы не перевестись? Но, поразмыслив, он отказался от своего намерения. Нужны достаточно веские основания, чтобы бросить дело, которое тебе по душе и по плечу, и просить другое. А что он скажет в свое оправдание? Какие доводы приведет? Можно ли сослаться на дружбу с Альмирзой? «Тем лучше, — скажут ему. — Друг друга знаете. Вам легче столкнуться, а значит, и работать будете результативней». Между прочим, районное руководство направило его сюда не потому, что не знает об их дружеских отношениях. Там, наверное, ожидали большей согласованности в работе, полного взаимопонимания. И если он внезапно заговорит о переводе в другое место, как это будет истолковано? Что подумают люди? Кем он окажется в их глазах? В том-то вся соль. В конце концов, совхоз — не вотчина Альмирзы. Это государственное учреждение.

Те же люди, которые назначили Альмирзу директором, направили сюда на работу и Каната. Тогда почему он пасует? Почему бежит отсюда? Если человек в меру сил своих и возможностей добросовестно делает свое дело: не помышляя о личной выгоде, не завидуя чужой славе, не оспаривая чей-то успех, старается с честью исполнить свой долг перед народом и партией, то что еще нужно?

Совесть его чиста. Так почему он робеет, чего опасается? Если все время уступать, уклоняться от борьбы, жизнь не станет легче. Она сама сталкивает человека с самыми разными людьми, поэтому конфликты порой неизбежны. С кем-то жизнь нас сводит снова, с кем-то раз-

водит навсегда. Пальцы на руках и те неодинаковые — таков закон природы.

Конечно, надо приложить усилия, чтобы прийти к соглашению, чтобы вместе разобраться и исправить допущенные ошибки. Не захотят его понять, будут по-прежнему гнуть свое, он больше нянчиться не намерен. Поговорит начистоту.

Канат очень долго мучился, колебался, старался трезво оценить сложившуюся ситуацию, вновь и вновь перебирал различные варианты, все тщательно взвесил и пришел наконец к такому выводу. Он понимал, что рано или поздно, но впереди их с Альмирзой ждет крупное столкновение. И хотя он внутренне подготовился к нему, но был не прочь отдалить тот горький час, когда оно произойдет. Из сегодняшнего разговора с аксакалом Нурмагамбетом он понял, что откладывать объяснение с Альмирзой больше нельзя. Он был далек от мысли злорадствовать или осуждать Альмирзу за бесчестный поступок, но друг его не вызывал в нем ни сочувствия, ни жалости. Наоборот, Канат был раздосадован и зол до крайности.

* * *

Они с Альмирзой учились в одном классе, но никогда не были особенно близки. Общались постольку, поскольку жили в одном ауле и оказались ровесниками. После окончания десятилетки вдвоем отправились в город поступать в институт. Канат поступил в сельскохозяйственный институт, Альмирза — в зооветеринарный. Пять лет промелькнули, как пять дней. В аул они вернулись дипломированными специалистами. За годы их учебы Сарыдалинский колхоз объединился с тремя другими и на базе укрупненного хозяйства был создан новый совхоз. Нурмагамбета перевели заведующим центральной фермой. Приехав в аул, оба выпускника попали на эту ферму: Альмирза — зоотехником-селекционером, Канат — агрономом. Работали под началом Нуркена. Вскоре Альмирзу повысили в должности: он стал главным зоотехником совхоза, а спустя немного времени его перевели заместителем начальника райсельхозуправления. Канат проработал на ферме несколько лет и только потом перешел главным агрономом в соседний совхоз. В это время Альмирза вернулся в совхоз уже директором.

С самого начала дела Альмирзы пошли в гору. О нем

сразу заговорили как о толковом специалисте, способном руководителе. Авторитет его рос с каждым днем. Совхоз «Сарыдала» с его крепким налаженным хозяйством и прежде числился в передовых.

Со временем совхоз стал лучшим в районе. В таких он значился и по сей день. Но были некоторые обстоятельства, лишавшие Каната сна и покоя. Отмахнуться от них он не мог. Они были похожи на болезнь, пустившую глубокие корни. Иногда Канат мучился мыслью, что напрасно принял предложение работать в родном ауле. Еще в детские годы даже самая незначительная услуга или помощь, оказанные ему посторонними, вызывали в нем странную неловкость; чувствуя себя обязанным, он не мог уже держаться с этими людьми просто и естественно. Вернувшись в аул, он первые годы никак не мог избавиться от этого неприятного чувства. Тогда и зародилось в нем раскаяние: «Зачем я только согласился?» А терзался Канат потому, что его назначению в какой-то мере содействовал Альмирза.

* * *

Когда Альмирза стал директором совхоза «Сарыдала», Канат уже несколько лет работал в соседнем хозяйстве. При встрече Альмирза не раз полушутя-полувсерьез повторял:

— Эй, ты что-то надолго застрял в своем «Актасе». Почему бы тебе не вернуться в аул?

— «Актас» мне тоже не чужой, — смеялся в ответ Канат.

Однажды они встретились на районном совещании. В перерыве Альмирза, сославшись на важное дело, отвел его в сторонку. Расспросив о жите-бытье, неожиданно сказал:

— Эй, батыр, ты так и будешь ходить?

— А что, это уже принимает опасный оборот? — рассмеялся Канат, испытующе глядя на друга. — Что за вопрос?

— Оставь шутки. Я с тобой посоветоваться хочу.

— О чем?

— Наш Отекен скоро уходит на пенсию. Возраст подошел. Об этом и хотел поставить тебя в известность...

— Так-так, — сказал Канат, начиная понимать, куда клонит Альмирза.

Он говорил о парторге Сарыдалинского совхоза, уже много лет проработавшем на этом посту.

— По-моему, твоя кандидатура как раз подошла бы.

— Ну это будут решать в райкоме. Я же не могу себя предлагать.

— Я и не говорю, чтобы ты предлагал. Просто имей в виду. Тебя они, конечно, знают, но не мешало бы напомнить им, что есть такой человек.

Канат был благодарен Альмирзе за то, что тот искренне заинтересован в его судьбе, за дружескую заботу и, давая понять, что, если вопрос в инстанциях решится положительно, он возражать не станет, от души сказал:

— Что я могу сказать? Куда мне прикажут, туда и пойду.

После этого разговора Альмирза действительно был у районного руководства, рекомендуя Каната на место парторга.

«Хороший специалист. Дело знает. С нынешней своей работой справляется. К тому же уроженец нашего аула. Со всеми знаком, все изучил с детства. Да и мне было бы легко сработаться со знакомым человеком», — так он аттестовал Каната перед начальством.

Предложение ли Альмирзы подействовало или так было решено самим руководством, но вскоре Канат получил назначение в свой аул.

Вероятно, потому, что Канат долго жил в других местах и смотрел уже на родной аул чужими глазами, может, повзрослел, юная восторженность в нем поостыла, и судил он обо всем объективно, а возможно, тут сказались свойственная новому начальству придирчивость и зоркость, по чем дальше, тем больше находил он поводов для огорчения. Да, тут многое шло вразрез с требованиями времени.

Собрания, кино, концерты проводились в клубе, выстроенном еще колхозом. Если учесть, что во всем районе не осталось ни одного хозяйства, где нет своего Дворца культуры, то для такого богатого совхоза, как «Сарыдала», это совершенно непростительно. А как хорошо было бы разбить парк с площадью.

Самое главное, такой парк необходим именно как место отдыха трудящихся. Трудно перечислить то, что на первый взгляд кажется мелочью, но без чего в современной жизни не обойтись.

Надо признать, люди в ауле живут зажиточно. Что ни год, встают просторные светлые дома. Аул похорошел,

разросся. Когда-то это было маленькое селение в голубой долине, теперь оно разрослось на много километров и напоминает скорее небольшой городок.

Канат считал, что одним из направлений его работы должна стать забота о повышении культуры быта в ауле. Надо оказывать помощь в строительстве новых домов и общественных зданий. Пусть аул станет еще краше.

Выполнить задуманное оказалось не так уж просто. Но Канат был твердо настроен не отступать от намеченного собой курса.

* * *

Года три назад Канат решил объехать стоянки чабанов, чтобы проверить подготовку к зимовке. Стада Сарыдалинского совхоза издавна зимовали на теплых и богатых кормами пастбищах. Край этот был хорошо известен и по-особому дорог Канату — сыну потомственного чабана. Он не бывал здесь несколько лет, и, чувствуя ко всему живейший интерес, был весел и доволен. В низинах росли саксаульники, гребни песчаных холмов были покрыты тамариском и солянкой, торчали сухие стебли типчака и пустынной осоки, кусты боялыча и верблюжьей колючки, колыхались густые заросли изена и черной полыни. А как хорош был воздух, напоенный ароматом разнотравья.

Дом чабана, где они устроились на ночлег, располагался в ложбине под песчаной грядой. Душистый и мягкий воздух, и без того теплый, за день прогрелся еще больше, налился дремотной духотой, а к ночи крупными хлопьями пошел снег. Он падал всю ночь и прекратился лишь на рассвете. Степь оделась белым пухом. Тучи еще не рассеялись, но было ясно видно далеко вокруг.

Канат встал спозаранок и, чтобы не мешать утренней уборке и скоротать время до завтрака, поднялся на холм за домом.

Природа будто омолодилась, лежала обновленная. На самом гребне возвышенности нетронутый снег прорезали две четкие линии. «Следы-то заячьи. Видно, только что пробежали», — подметил Канат и с любопытством огляделся. Совсем рядом, на пригорке, среди сухостоя, то исчезая, то вновь появляясь, резвилась пара зайцев. Кажется, и они его заметили, но скрыться не спешили. Только иногда, наострив уши и встав торчком, какое-то мгновение глядели в его сторону, потом снова принимались за свои игры,

«А, понимают, что от меня им вреда не будет. Было бы со мной ружье, тут же шмыгнули бы в кусты», — посмеялся Канат.

В ту пору, когда он был еще босоногим мальчишкой, зайцев здесь бегало видимо-невидимо. В ауле любили рассказывать, что некий чабан по имени Абди, который как раз облюбовал для зимовки вот эту гряду, уверял, что прямо возле дома обитает ни много ни мало, а тысяча двести зайцев.

«Очень даже возможно, что этот чудак и впрямь их пересчитал», — говорили одни. «Ой, ты, как Кожа Насыр, веришь всякой ерунде, — поднимали легковерных на смех более трезвые. — Разве можно пересчитать зверье в степи?»

Считал Абди или нет, но раньше зайцы и лисы в песках водились в великом множестве. Было время, когда их чуть не истребили поголовно, но благодаря государственной заботе об охране и приумножении природных богатств, обитатели песков понемногу расплодились снова.

Канат закурил сигарету, затянулся. «Почему бы к борьбе с браконьерством не привлечь каждого чабана, специалистов, наконец, которые всегда в разъездах, шофера, что колесит по всему свету?»

Канату стало холодно, и он надел наброшенное на плечи пальто и застегнулся на все пуговицы. В воздухе пахло морозной свежестью. Степь живет в вечном ожидании дождя или снега. Редкие осадки для нее — как генеральная уборка — смывают пыль, освежают краски, и она сияет, словно рожденная заново. Кому же и знать об этом, как не коренным степнякам, которые и сами ждут дождя как праздника.

С высоты Канату все было видно как на ладони. Внизу, в ложбине возле чабанского домика, захлопотали. Чабан сходил к небольшому стожку неподалеку от загона, принес охапку сена и бросил перед конем, привязанным около дома. Ярко зеленел, кудрявясь, початый край стожка, поставленного летом. Едва уловимый травяной дух, витавший в морозном воздухе, шел, видимо, от этого стога. Положив коню корма, чабан пошел зачем-то в обход дома, оставляя за собой черные провалы следов. В это время вышла хозяйка и начала расчищать снег во дворе. Из трубы над крышей поднялся столб дыма, возвещающий близкий завтрак.

Канат начал не спеша спускаться с холма. Хотя он и продрог изрядно, но в дом заходить не стал, а задержался во дворе, разговорившись с чабаном. Тогда и произошла неприятность, начисто лишившая его веселого и бодрого настроения, в каком он пребывал последние два дня.

Из-за перевала на дорогу, взбегавшую напротив дома на невысокий гребень, внезапно вынырнула машина, и только вслед за этим они услышали ее гудение. Собаки — черномордая гончая светлой масти и рыжий с пежинами волкодав не кинулись с лаем, как это бывает обычно, навстречу машине, а лениво побрехали, словно затем, чтобы не промолчать. Когда зеленый автофургон подъехал ближе, Канат разобрал надпись «Ветпомощь».

— Это же главный зоотехник! — воскликнул удивленный Канат. — Что он делает здесь с утра пораньше?

— Да, будто бы Алтай, — поддержал его чабан.

Машина подъехала к дому и остановилась возле них.

— Здравствуйте!

— Как вы, живы-здоровы?

После приветствий Канат с тревогой спросил:

— Как вы здесь оказались? Из аула едете?

— Нет, мы еще ночью приехали.

Канат догадывался, что главный зоотехник прибыл неспроста.

— Оу, все ли в порядке? Что ты ринулся за мной вдогонку?

— Посоветоваться нам надо, Канеке. Давайте отойдем в сторонку, поговорим, — сказал зоотехник.

Они оставили чабана и зашагали к холмам.

— Что случилось?

— ЧП, Канеке.

— Что за ЧП?

— У чабана Утеулова пропало сто тридцать овцематок.

— Что ты говоришь? Как пропало? Мор напал, что ли?

Канат уже два дня провел среди чабанов, но о потерях ничего не слышал. Потому и удивился.

Отгонное животноводство с его отдаленными летними и зимними пастбищами не застраховано от случайностей. Это стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия — буря, снег или дождь, во время которых часть стада может отбиться и потеряться, волчьих набеги. Но вести о таких случаях разносились среди чабанов с мол-

ниеносной быстротой. Тут же снаряжались на поиски люди, чтобы найти пропавших овец или хотя бы их останки. Случись такое, Канат уже знал бы об этом.

— Сто тридцать голов, говоришь?— переспросил он.

— Да, сто тридцать.

— Как они погибли? Когда это произошло?

Канат все еще думал, что виной тому несчастный случай.

— Понятия не имею. Знаю только, что ста тридцати голов недостает.

— Почему недостает? Как могут исчезнуть разом сто тридцать овец, если не было несчастья? Это же не одна, не две головы! Что за ерунда? Когда вы это обнаружили?

— Да я и сам следов не найду. Сдается мне, что это издавна тянется. Просто чабан до этих пор скрывал.

— Он в своем уме? Как это скрывал?

Канат не был лично знаком с Утеуловым.

Вчера он специально заезжал в зимовье Утеулова, чтобы познакомиться с ним, а заодно проверить состояние дел. Чабана он не застал дома, поговорил с его женой. Она сказала, что муж погнал отару на пастьбу. Канат расспросил о житье-бытье, осмотрел хозяйственные постройки и уехал, пообещав заглянуть на обратном пути. Где ему было искать отару в степи. И сейчас он задавал такой вопрос всерьез.

— Слушай, он что, ненормальный? Что он сам-то говорит? Хоть объяснил, куда девал столько голов?

— Когда надо оправдаться, он нас с вами в два счета обставит, Канеке,— невесело посмеялся Алтай. Было непонятно, иронизирует он или раздосадован.— Это он сейчас дурачком прикидывается, мямлит что-то невразумительное.

— Ну, а что именно?

— Говорит, еще летом на джайляу исчезли. Вроде, нигде не смог отыскать. Попросить, чтобы людей дали в помощь, смелости не хватило. Надеялся, что за два-три года сумеет покрыть недостачу.

— Вот незадача! Бывает же такое!— Канат в сильном волнении потянулся за сигаретой. Потом, словно вспомнив о чем-то, задумался, молчал долго, уставив сосредоточенный взгляд на зоотехника.— А ты сам пересчитывал отару?

— Пересчитал.

— Надо немедленно вызвать с фермы бухгалтера и кого-нибудь из специалистов. Снова пересчитаем в их

присутствии отару и составим акт. Видимо, надо будет передать дело в суд. Ты отправь сейчас свою машину за ними, а мы с тобой поедем на зимовье к Утеулову.

Они торопливо попили чай и выехали в дорогу.

— А ты как узнал об этом? И когда?— спросил Канат в машине.

— Вчера.

— От кого?

— От зоотехника с фермы.

— Что он говорит? Когда узнал о пропаже?

— Осенью, когда Утеулов пригнал отару на стрижку, обнаружилось, что голов много меньше, чем значится в подотчете. Ведь на ферме за пересчет при стрижке отвечает зоотехник.

— Если он узнал о недостатке, то почему не сообщил куда следует?

— Он завфермой доложил, что отару пригнали не всю и шерсти, соответственно, сдано меньше. Тот сказал: «Ладно, как-нибудь за счет других отар перекроем, лучше не поднимать шума». Зоотехник подумал после этого, что руководству обо всем известно, и промолчал.

— Ой, да будь он неладен! И их еще называют работниками! Ну, а теперь он с чего заговорил?

— Недавно во время осеменения снова проводился пересчет. У Утеулова опять вышла недостача. Ну, зоотехник ему и говорит: «У тебя же не вся отара, многих голов недостает. Как же так? Где они?» А Утеулов накинулся на него: «Что ты мне житья не даешь? С какой стати ты пристал ко мне?» и так далее. Вот они и поскандалили. Тот в гневе сразу пошел ко мне с докладом. А я как услышал, так сразу и выехал сюда.

— Э-э, вот как...— Канат, уставясь в ветровое стекло, замолк надолго.

Утеулова они нашли на выпасе. Это был дюжий джигит лет сорока. Судя по пытливому и настороженному взгляду узких зеленых глаз, чабан не принадлежал к натурам простодушным и доверчивым. Вид у него был угрюмый, мрачный.

— За одну ночь всех потерял,— жаловался он, старательно ковыряя палкой в земле. В позе его была приниженность, не вязавшаяся с внимательным взглядом исподлобья, который он бросал изредка на собеседников.— Не знаю, то ли они сами отделились и забрели куда, то ли угнал их кто. Исчезли бесследно. Где я только ни искал их,

все кругом обрыскал. Сообщить, что сразу столько голов потерял, не решился. Боялся, что под суд отдадут. Детей мал мала меньше.

— Сколько у тебя детей?— спросил Канат.

— Семеро малышей.

— Как же тебе хватило смелости молчать столько времени, если у тебя огромная недостача? Ходишь себе спокойно. Как тебе кусок в горло полез, когда с тобой стряслось такое? Я не могу понять, почему ты никому из начальства не сообщил. Почему ты скрыл? Это же преступление! Что теперь нам делать?

Канат все больше взвинчивался.

— Я говорил в свое время Алекену...

— Кто такой Алекен?— не понял его Канат.

— Это Альмирза Жорабекович,— пояснил Алтай.

Канат, удивленный, чуть не поперхнулся.

— Как, Альмирза знал об этом?— еле выговорил он.

— Знал,— промямлил Утеулов.

— Откуда он знал? Ты сам ему признался?

— Летом они были тут с завфермой. Тогда я ему и рассказал все.

— А он что?

— Расстроился, конечно. Сердился. Перед отъездом сказал: «Жалко, детей у него куча. Отдать бы его под суд, да разве этим чего-нибудь добьешься? Только детей осиротишь. У него же есть родня. Поможет, наверное, не оставит в беде. И у самого кое-какая скотина имеется, можно приплод сдавать. Глядишь, года через два ущерб и возместится. Так что шум поднимать не стоит. А то дойдет до района, позора не оберешься. Пусть все останется между нами».

Канату было трудно принять какое-то решение. От природы тихий и скромный, зоотехник молчал, готовый одобрить любое решение. Вряд ли он возьмет на себя смелость советовать что-то.

Заведующий фермой, человек пожилой и болезненный, с некоторых пор лежал в городской больнице. Альмирза вскоре должен был вернуться с курорта. Он придет самое большее через три-четыре дня. Видимо, окончательное решение вопроса следует отложить до его приезда.

Что ни говори, именно он несет ответственность за все, что происходит в совхозе. Сам Канат здесь человек новый. Первый же руководитель в курсе всех дел. Придется все-таки дожидаться Альмирзу. Но отару Утеулова пере-

считали снова, акт составили, его от работы отстранили, а отару передали другому человеку.

Пока Канат объездил все стойбища и вернулся, оказалось, что и Альмирза вышел на работу. Канат доложил о случившемся. Впрочем, его рассказ на Альмирзу особого впечатления не произвел. Тот выслушал его хладнокровно и небрежно сказал:

— Правильно сделали. Такого человека с самого начала не надо было допускать к отаре. Это я его направил, думал, парень здоровый, сильный, пусть чабаном поработает. Семья-то у него большая, а чабаны хорошо зарабатывают. Вот и делай людям добро после этого.

— Ну, а теперь что будем делать? Надо с этим до конца разобраться,— напомнил Канат.

— Не знаю...— Альмирза со страдальческой миной уставился в окно и долго сидел молча, так долго, что за это время можно было бы вскипятить молоко.

— Он к нам пришел со стороны, но тут у него тьма близких родственников,— повернулся он наконец к Канату. Альмирза привел имена нескольких людей, состоявших с Утеуловым в родстве.

— Да, я слышал,— кивнул головой Канат.

— Если передать дело в органы, его мигом посадят за решетку. А сто тридцать баранов — дело нешуточное.— Альмирза, словно колеблясь, то и дело затягивался сигаретой, беспокойно ерзал на месте.— Есть еще одно обстоятельство,— продолжал он.— Родственники его будут взваливать вину на нас с тобой. Так прямо и скажут, что это мы отдали его под суд. Ты же знаешь, когда говорит обидца, им не до рассуждений. Канат, отделаться бы нам от этой беды без огласки.

— Как? Каким образом?

— Он ведь еще летом нам плакался. Тогда я ему говорил: «Сдай своих личных баранов вместе с приплодом. Скупи ягнят, добавь. Не хватит, давай к родне твоей обратимся, пусть помогут. И чтобы ты за кратчайший срок восполнил стадо». Теперь отару у него забрали. Наше долг почти в полтораста голов. Надеяться, что он в его положении сумеет возместить убыток, глупо. Пока он выплатит долг сполна, много воды утечет. Скоро у нас снова будет пересчет поголовья. Нам нужно, не дожидаясь, как-нибудь рассчитаться с этим.

— А как это сделать?

— Все будет по закону. Надо определить стоимость баранов по госцене, и пусть он внесет деньгами. Надо

постараться, чтобы концы с концами сошлись, иначе нареканий не избежать.

Канат в замешательстве не мог ни одобрить это решение, ни осудить его, как противозаконное.

Утеулова обязали выплатить за каждую овцу двадцать два рубля, он внес в совхозную кассу две тысячи восемьсот рублей и, избавясь от долга, переехал с семьей в соседний совхоз. Дело таким образом было улажено миром. Только Канат никак не мог избавиться от зародившихся тогда подозрений и в мыслях часто возвращался к ним.

Он терялся в догадках, как можно в ясный летний день лишиться разом ста тридцати голов. Куда исчезло целое стадо? Может, закрыв то дело, они допустили оплошность?

Несколькими годами позже, возвращаясь с районного совещания, вспомнили эту историю, и Канат был поражен тем, что услышал от Алтая. Тогда и пришлось ему горько пожалеть, что в свое время дело Утеулова не было передано в суд. За многие годы работы в сельском хозяйстве он впервые столкнулся с явной махинацией и даже помыслить не мог, что на такое можно закрыть глаза.

— Это было не в первый раз,— рассказывал Алтай.— Когда я только перевелся сюда главным зоотехником, тоже случилось нечто подобное. Я, как и вы, пришел в недоумение. С годами я поуменел и уже ничему не удивляюсь. А в деле Утеулова действительно много неясностей.

— Вот как?

— Именно так. Утеулов — известный пройдоха. Хитрости и ловкости ему не занимать.

— Да, мне тоже показалось, что он жуликоватый парень.

— Не был бы он жуликом, ему не провернуть бы такую операцию. Он эти сто тридцать баранов спроводил перекупщику и, будьте уверены, взял за каждого не меньше ста пятидесяти рублей. А совхозу он выплатил по двадцать два рубля и ушел из-под суда. Теперь подсчитайте, сколько осталось у него в кармане.

— Он что, свою жизнь ни в грош не ставит, что у всех на глазах рискует проделывать такие фокусы?

— Да нет, он неглупый человек. И точно знает, где потеряет. Просто он был уверен, что его под суд не отдадут, что у него есть надежная защита.

Канату от этих слов стало не по себе. Ему понадобилось время, чтобы прийти в себя и спросить:

— Почему же ты в то время промолчал? Или тогда ты ни о чем еще не подозревал?

— Как можно говорить о чем-то, не имея точных доказательств? Я, собственно, в самом начале понял, что тут что-то нечисто. Позже, летом, я потихоньку расспросил чабанов с соседних стойбищ. Они рассказали, что к Утеулову часто наведывались спекулянты в крытых машинах, груженных арбузами, дынями, овощами, фруктами. И у меня исчезли последние сомнения.

— Жаль, зря ты молчал. Ты хоть намекнул бы мне о своих подозрениях.

— Как намекнешь, если ты не поймал его с полчиным? Да и с вами мы еще были мало знакомы. Как бы вы к этому отнеслись...

Канат повернулся, взглянул на него непонимающе: «Что ты хочешь этим сказать?», и Алтай заерзал, засмеялся принужденно.

— Утеулов был в фаворе у директора. Чем-то тот сумел ему приглянуться. Не знаю, за какие заслуги, но директор делал ему поблажки. К тому же...— Алтай замялся, не решаясь продолжить, помолчал немного. Канат сидел в выжидательной позе, внимательно слушал зоотехника. Тот почувствовал, что уже неудобно не договаривать, почесал в затылке и уже тише добавил:

— К тому же... вы с Алекенем — близкие друзья. Когда дошло бы до главного, вы вполне могли пойти на поводу у Алекеана, и получилось бы, что я напрасно старался. И фактами я не располагал. Опасался, что могут подумать, будто я преследую кого-то. Глядишь, меня бы стали притеснять. Нынче трудно угадать, куда ветер дует. Достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы пасть в опалу...

Канат крикнул, недовольный. Алтай, заметив его недовольство, умолк и, отодвинувшись, стал смотреть в окно. Канат и сам не понимал, на кого сердится, но охота поговорить прошла, и он затих надолго. Сейчас обвинять или осуждать Алтая он не мог. «Попробуй отрицать все, что сказал зоотехник,— виновато думал он про себя.— Разве неправда, что вы с Альмирзой — друзья? Неужели ты не прислушался бы к его мнению? Ну а если зоотехник не ладит с директором, он прав, что боится не понравиться и парторгу. Его в этом упрекать нельзя. Лучше жить со всеми в мире, чтобы спокойно работать».

чтобы, в конце концов, кормить свою семью. Алтай я знаю давно. Нельзя сказать, чтобы он был плохим человеком, никудышным специалистом. Прекрасно справляется со своими обязанностями, никому зла не делал, держится с достоинством. Как его обвинять в чем-то, за что осуждать?»

Так размышлял Канат, затягиваясь раз за разом сигаретой. Но в глубине сознания уже зрела другая мысль. Увлеченный ею, он вдруг с удивлением подумал: «А почему, собственно, мы ждем, что жизнь будет с нами всегда тиха, ласкова, безмятежна? Почему мы не любим смотреть на все трезвыми глазами? Отчего мы не любим рисковать? Все знаем, все понимаем, но, послушные чужой воле, согласны быть и глухими, и слепыми. Как глубоко укоренилось в нас лицемерие и изворотливость. Мы отвыкли называть белое — белым, черное — черным. Незаметно все это въелось в нашу кровь, приносит непоправимый вред всем нам, всему обществу. Неужели это никого не волнует? Разве мы не должны видеть свой долг в том, чтобы изжить эту заразу?»

Погруженный в свои мысли, Канат уже никого не замечал. Конечно, он мог бы упрекнуть Алтая, что тот проявил несамостоятельность и беспринципность, скрыв свои подозрения. Один из руководителей совхоза, Алтай должен был найти средства проверить их обоснованность, а он не захотел усложнять свою жизнь, трусливо ушел в кусты. Но к чему ворошить прошлое, ведь этим дела теперь не поправишь. Нет смысла винить Алтая в том, что так случилось. Разве дело упирается в одного Алтая? Нужно искать мотивы, заставившие его жить с оглядкой, быть сторонним наблюдателем.

С Алтаем все просто. Его можно наказать по всей строгости, можно даже снять с работы, если это что-то изменит в сложившейся практике. Но кто может поручиться, что новый человек на месте Алтая не поведет себя так же? Нет, чтобы выкорчевать зло, нужно знать, что причина его кроется глубже. Вина, большая или малая, остается виной. Если хочешь бороться за честность и справедливость, смотри в корень. И тебе понадобятся вся твоя решимость и отвага, терпение и упорство.

Приведя свои мысли в систему, он повернулся снова к зоотехнику.

— Алтай, у нас есть дурная привычка, общая для всех. Мы прежде кроим, потом под скроенное подгоняем

мерки. Мы не умеем быть искренними, не умеем смотреть правде в глаза. Конечно, это выходит нам боком, но мы не делаем выводов. Уроки не идут нам впрок. Поговорку «Дружба дружбой, служба службой» мы слышим и повторяем десятки раз. Употребляем шутки ради. А ведь это вовсе не шутка. Да, мы с Альмирзой вместе учились, росли вместе, близкие друзья. Но эта близость не должна сказываться на деловых отношениях. Дружба — она дома дружба, за праздничным столом, в кругу друзей и знакомых. А наш долг перед обществом, наши служебные обязанности не должны зависеть от личных связей.

Машина выбралась на гребень холма. В долине, раскинувшейся у подножия холма, где сгущались лиловые сумерки, одетый в изумрудные сады, открылся родной аул. Солнце только село, и наверху было еще светло. А в ауле уже зажглись огни, еле различимые отсюда. Канат залюбовался причудливой игрой света и тени, прервал разговор, потом продолжил:

— Мой отец всю жизнь был скотоводом. Но я до сегодняшнего дня не перестаю удивляться его мудрости и человечности. Мне, своему сыну, он завещал только справедливость и веру в доброе и разумное. Не могу сказать, что из его уроков мной усвоено, а что развеяно по ветру... Он не учился в школе, не прочел ни одной газеты, ни одной книги, но его понятия о чести, о совести, о долге находились в полном соответствии с коммунистическими идеалами. Удивительно это и радостно...

Канат внезапно прервал свою взволнованную исповедь, затих. Мелькнула мысль: «Зачем это? Получается, будто я сам себя хвалю». Потом, помолчав немного, добавил:

— Алтай, во всем, что касается хозяйства, давай высказываться открыто, без утайки. Это наше общее дело. Так нам легче понять друг друга. И делу будет польза. И не столь важно, чтобы мы думали одинаково. Никто тебя не осудит, если ты думаешь иначе, чем другие. Совхоз имеет ко мне ровно столько же отношения, сколько к тебе. Это не чья-то собственность. Государство и с тебя, и с меня будет спрашивать одинаково. Мы вместе несем ответственность за все. Мы с тобой уже допустили крупную ошибку. Как бы нам не повторить ее в будущем.

Бывает, что человек и сам не поймет, почему в отно-

шениях с товарищем появляются скованность и принужденность. Если раньше Канат мог болтать с Альмирзой обо всем на свете, делился сокровенными мыслями, советовался как быть, то теперь, сколько ни старался, не мог заставить себя заговорить с ним об Утеулове. И чем больше он раздумывал, имеет ли Альмирза отношение к махинациям чабана, тем тяжелее становилось на душе, а клубок сомнений все разрастался. Так между ними возникли холодность и отчуждение.

Когда он был назначен парторгом, его навелит Нуркен — Нурмагамбет. Канат относился к аксакалу с особой симпатией и уважением, и поэтому мог не напускать на себя солидность, держался просто, тепло расспрашивал о здоровье родных и близких, оживленно обсуждал со стариком положение аула и планы на будущее.

— Хорошо, что ты вернулся,— одобрил его Нуркен.— Мы здесь постоянно следим за твоими успехами. До сих пор ты не посрамил чести аула, ничем себя не запятнал. Желаем тебе и в будущем оставаться таким же. Хороший человек, где бы он ни работал, стремится честно исполнять свой долг. И исполняет. А в родном ауле на него ложится двойная ответственность. Он должен трудиться вдвое больше прежнего. Я так говорю потому, что забота у нас общая — будущее нашего хозяйства. Ты живешь в родном ауле. Значит, не можешь оставаться в стороне от радостей и тревог своих односельчан. Твой долг — стать для каждого советчиком, защитником, другом. И от тебя будет зависеть, заслужишь ты благодарность людей или всеобщее осуждение, от твоего поведения, от твоей работы будет зависеть.

— Вы правы, Нуреке,— тронутый сердечностью старика, ответил Канат.— Спасибо вам за добрые слова. Хоть я и в родном ауле, а дома, говорят, и стены помогают, но на новой работе, конечно, без сложностей и разного рода неожиданностей не обойдется. Когда я еще всему научусь, освоюсь со своими обязанностями...

— Разумеется.

— Заходите почаще. Ваши советы мне всегда пригодятся. Может, у вас появятся какие-то соображения, предложения. Я буду рад их выслушать. Коли в чем-то я ошибусь — подскажите. Говорят, кобылица, лягая своего жеребенка, не причиняет ему боли, а вы мне не чужой.

— Так рассуждает умный человек,— Нурекен откинулся на спинку стула. В глазах его, обращенных к Канату, светилась признательность.— Я всю жизнь работал в этом хозяйстве. И руководителем был, и подчиненным. Были у нас успехи и неудачи. Всякое довелось испытать на своем веку. И как итог прожитой жизни открылась мне одна истина — всегда, в любой ситуации защищай правое дело, и тогда тебя ничто не сломит. В конце концов люди оценят и поймут тебя. Не прельщайся временным, случайным. Не заметишь, как в пылу увлечения окажешься в мутной заводии. Потеряешь себя...

Нурекен в ту первую встречу говорил о многом и, в частности, не очень лестно отозвался об Альмирзе.

— Отец его был человеком открытым — вся душа нараспашку. Этот же непонятно в кого уродился. С хитрецей. Держись от него подальше. А то неизвестно куда заведет,— посоветовал он Канату.

После ухода старого Нурмагамбета Канат долго сидел в одиночестве и перебирал в памяти подробности разговора, взвесил услышанное, сделал для себя кое-какие выводы. Он и мысли не мог допустить, что Альмирза способен на дурное. «Видимо, Нурекен, как это бывает с аксакалами, в обиде на Альмирзу. Может, тот недостаточно внимателен, непочтительно держится с ним».

Как-то они сидели вдвоем с Альмирзой и говорили о разных пустяках. Почему-то речь зашла о Нурекене, и Альмирза досадливо поморщился:

— Да ну этого старика. Любит позлословить. Сеет смуту. Возраст преклонный, так нет бы сидеть у очага, греть старые кости, а он еще хочет ходить в активистах. Тоскует по тем временам, когда сам был начальником. Как будто мы все тут мздоимцы, совхоз обобрали дочиста, растащили до последнего гвоздика, и только он один радеет за его процветание. Что ни собрание, этот критикан тут как тут, бичует, разоблачает.

— Зачем так говорить? Если есть здесь кто-нибудь, кто старался, чтобы аул действительно стал аулом, а хозяйство — хозяйством, то это Нурекен. Вы просто прислушивались бы к нему, считались с его мнением. Вреда от его наставлений не будет.

— Это просто болтливый старикашка, который к тому же помешан на своем героическом прошлом. Он бы считался со временем, раскрыл глаза, посмотрел бы

вокруг. Пусть они трудились, когда-то босые и голодные, никто не спорит. Пусть тогда нечего было есть, не в чем ходить, но это же еще не означает, что и мы, и наши потомки должны донашивать те же старые кители, отказывать себе во всем. Раз средства позволяют, пусть едят и пьют досыта, пользуются всеми благами.

Канат не стал с ним спорить. Не было желания. Просто, когда Альмирза договорил, он спокойно сказал:

— При чем старые кители? И про Нуреке-на ты наговорил лишнего.

Тогда Альмирза взял и перевел весь разговор в шутку.

— Ладно-ладно. Кому это понравится, когда ругают родственника. Слушай, Нуреке-н же тебе вроде второго отца. И раньше всегда тебя выделял.

— А тебя? Тебя он разве не любил?

Альмирза резко повернулся и очень серьезно ответил:

— Мне казалось, что я еще в детстве ему чем-то не нравился. А с тех пор, как стал директором, так и вовсе нашла коса на камень.

Это прозвучало искренне. Беседа оборвалась, и каждый ушел в свои думы. Вот тогда и вспомнил Канат одну давнюю историю.

* * *

Он в то время только окончил институт и приехал в аул. Работал агрономом на ферме, которой заведовал Нуреке-н. Как-то они договорились съездить вместе в Костоган, где несколько гектаров было засеяно кукурузой, предназначенной на силос. Канат с утра пришел в контору, но Нуреке-н был у директора и пришлось довольно долго ждать во дворе, пока он освободится.

Нуреке-н вышел мрачнее тучи. Видно, поругался с кем-то. Торопливо пересек двор, направляясь к своему коню, привязанному к штакетнику, рывком сдернул ремешок поводка и спросил Каната:

— Ну что, тронули?

— Что-то долго вы заседали, Нуреке-н.

— Заждался, что ли? Да, все те же нескончаемые споры. Нурмагамбет же любит поспорить. Вот и нынче завелся.

— И о чем спор?— Канат прищипнул коня и поравнялся со снутником.

Нурмагамбет ничего не ответил. Словно не соглашаясь с чем-то, недоуменно пожал плечами, цокнул языком.

— Нет, я, наверное, не смогу ужиться,— сказал он, обращаясь скорее к самому себе.— Не представляю, как можно смолчать, когда каждый день повторяется одно и то же. Тут разные умники лезут с советами. «Зачем, мол, тебе воевать со всеми? Что ты лезешь на старости лет в активисты? Бараны, как паслись, так и пасутся, кошары, как строились, так и строятся. И без тебя обойдутся. Разве я из корысти активничаю, славы себе ищу? Если я с кем-то и ругаюсь, то не потому, что он зарится на мою долю.

Он строптиво фыркнул, сплюнул сквозь зубы, потом, приосанясь, успокоился вроде. Так они ехали, покачиваясь в такт езде, и молчали, думая каждый о своем. Растущие по обочинам дороги кусты полыни и редкие островки лютиков утонули в пыли. Над проселочной дорогой, будто цепляясь за конские хвосты, поднимались клубы пыли, чтобы, не оседая, зависнуть в воздухе. Легкий ветерок, веявший поутру свежестью и прохладой, наливался удушливым теплом. Чем солнце ближе к зениту, тем жарче становится. У путников уже пересохло в горле, дышать все труднее.

— Жара что-то долго держится, не спадает, а?

Канат взглянул на своего спутника, приглашая к беседе.

— Что ты хочешь? Середина июля. Самое время для жары,— отозвался безо всякой охоты Нурмагамбет.

Сам он, очевидно, не страдает от зноя. Только растегнул верхнюю пуговицу белого кителя да нагнул на брови порыжевшую на солнце соломенную шляпу. Еще совсем бодрый, он легонько подстегивает коня. На лице его, побуревшем от солнца, как сама полынная степь, не осталось и следа от недавнего огорчения. Лоб покрылся испариной, морщины разошлись.

«Да, жара Нурекену привычна так же, как этой полыни,— подумал Канат.— Изменился он. Заметно, что старость надвигается. Будет кругленьким, плотным, аккуратным старичком. Глаза у него были раньше веселые, с прищуром. Ярко-коричневые. Теперь подернулись белесой дымкой. И морщины вокруг глаз. Усы какне были чернющие, теперь — с проседью. Губы сделались совсем тонкими. Щетина на щеках и подбородке и то стала свая. Только движения и походка быстрые и лов-

кие, как прежде. А ведь он был из крепких. Для кого-то шестьдесят — старость, а кто-то и не замечает прожитых лет. Но Нуреке, чувствуется, еще не всю силу растратил. Кстати, узнать бы, что его так огорчило». Канат все порывался спросить, но так и не решился.

— Этот луг косят какой уже день. Пока они соберутся, пока раскатаются, дело идет ни шатко, ни валко. Так оно и будет тянуться до самой осени. А там наспех закончат и доложат, что, мол, все убрали. И откуда только берется такая беспечность,— проворчал Нуреке, повернув хмурое лицо к Канату. Это и занимало его всю дорогу.

— Ох, косари будут недовольны,— заворчал он снова.

— Почему?

— Жилья нет. Все ютятся в одной юрте. В полдень передохнуть и то негде. Были две лишние юрты на ферме, их осенью отвезли в пески на осеменительный пункт. Так до сих пор и не привезли.

— А разве вчера машину не за ними послали?

— Да я же из-за этого и ругался в конторе почти до полудня. На той машине зоотехник Альмирза привез домой дрова. Шофер говорит, что юрты были на складе, а сторожа базы они не нашли. Видишь, какие деятели. Сторож не за тридевять земель ушел, наверное. Бродил где-то поблизости. А зоотехнику того и надо. Воспользовался поводом, чтоб запастись дровами. Нет бы как руководителю позаботиться о людях.

— Ну а теперь что?

— Опять погонят машину за сто километров. Он же не думает, что где-то люди страдают, что машина, хоть и железная, но тоже изнашивается, что все это — сплошное расточительство. Как можно после такого смолчать? Кое-кому это не нравится. С чего, дескать, кипятиться? Как с чего? Добро-то не чужое, а наше. За каждую кроху отец твой и мать пот проливали, сам я ладони в кровь истер.— Нуреке с гордостью показал Канату свою задубевшую от мозолей ладонь.

Канат понимал, сколько правды и высокого смысла в его словах, но язык не поворачивался сказать: «Да, Нуреке, вы правы», потому что в пустом поддакивании нет нужды, да и слабое это утешение для такого человека, как Нуреке. А нужные слова не шли на ум.

— Надо же,— опять заговорил Нуреке. Уж такая

привычка была у него: что бы ни собирался сказать, всегда начинал со слов: «Надо же».

— Удивляюсь я некоторым молодым. Какую нужду они видели? И чего им не хватает?..— Он вопросительно посмотрел на Каната, призывая его к вниманию.

— Да, что они такого видели в жизни, в чем нуждались? Погрязли в мелких суетных заботах, чтоб только урвать себе кусок.

Нурекен вынул из нагрудного кармана «Беломор», прикурил и с наслаждением затянулся.

— Ведь этот Альмирза тоже целых пятнадцать лет проучился,— задумчиво продолжал он.— «Я никогда не видел, кто разобрал бы свою крышу, чтоб огородить колхозное поле»,— говорит. И ни один мускул у него не дрогнет. А речистый какой, такой еще уверенный... Такого не переговоришь и ничего ему не докажешь. Как же... образованный. Бойкий на язык, приятная внешность, интеллигентность. Это-то и хуже всего.

Мундштук папиросы вымок и расползся, и Нурекен мрачно выплюнул ее.

— Чем по дороге петлять, поедем-ка напрямик по лугу. Последний полив был давно, так что сухо, наверное,— сказал он, и, прищипорив коня, поехал вперед.

Канату были как-то особенно дороги и близки старики односельчане — свидетели его детства, наполненного играми, шалостями, мечтами. А среди стариков он выделял этого человека, который, сосредоточенный, хмурый, ехал сейчас рядом. И не потому, что их связывает не столь уж дальнее родство, и даже не потому, что Нурекен — ровесник и в известном смысле товарищ его отца.

Он не упомнит, чтобы кто-нибудь из знакомых усомнился бы в честности и порядочности Нурекена. «Всякое бывало в жизни,— говорили земляки,— и цену настоящим джигитам мы узнали по тем, кто по велению времени был и в волчьей шкуре. Были и такие, что кичились своей порядочностью, а пришел час — не погнушались ни подлостью, ни предательством, Нурмагамбет же во все времена оставался самим собой. Выпали ему в жизни и радости полной мерой, и серьезные испытания.

Но ни в радости, ни в беде не был он мелким и жалким, не терял головы. Он из тех, кто все переносит с мудрым спокойствием».

Родной аул Каната раньше назывался колхозом «Сарыдала». Жители этого аула были уроженцами Арки.

Кочевой народ нашел в тридцатые годы пристанище в ущелье Каратау. Позже мелкие колхозы «Екпиды», «Красный восход», «Жасоркен» слились в один большой совхоз «Сарыдала». Нурмагамбет был одним из первых колхозников в ауле. После войны он стал председателем колхоза. Успел побывать затем и бригадиром, и простым поливщиком. Снова возглавив колхоз, он долгое время оставался председателем, вплоть до шестидесятых годов, когда стали создаваться укрупненные хозяйства. Теперь он работал заведующим фермой в совхозе.

Каждый раз, когда Канат встречается с Нурекемом, ему вспоминается один случай. Он не мог с уверенностью сказать, что до той истории знал Нурекема, видел его среди жителей аула. Запомнился он ему с того достопамятного дня.

Это было в первые послевоенные годы. Видимо, рабочих рук не хватало, и с окончанием учебных занятий ребят постарше отправляли работать на колхозный ток или на сенокос. Был в ауле один озорной и бесшабашный парнишка лет тринадцати-четырнадцати. Звали его Омиртай. Однажды он появился среди ребячьей мелкоты, коротавшей время за игрой в асыки. Дня три назад он вместе с другими ребятами выехал на колхозный ток.

— Сбежал,— объяснил Омиртай ребятам свое появление.— Смотрите, заноза вонзилась, когда бежал,— показал он правую пятку.

— А как ты сбежал? Никто не видел, что ли?— окружив, забросали его вопросами малыши.

Тот в ярких красках расписал, как они приехали на ток, что там видели, чем занимались. Для побега он воспользовался конем уполномоченного из района — дорога-то все же неблизкая. Конь, стреноженный, пасся на дугу. Отсюда Омиртай и увел его. Приехал в аул и сразу сдал коня конюху Аубакиру.

— Я ж на току на молотилке работал. Конь у меня был без седла. Не конь, а кляча. Хребет выпирает, как у тощего пса, задницу мне до волдырей натерло,— закончил он свой рассказ, после чего включился в игру.

— Наутро Канат проснулся от чьей-то ругани и истошных воплей. Голосил какой-то мальчишка. Канат вышел и видит: двое верховых гоняются за Омиртаем. Вот один из них нагнал мальчишку, дважды прошелся по нему камчой. Канат вздрогнул от ужаса. Он узнал заведующего фермой Усентая и уполномоченного из района —

черного мужчину. В это самое время Усентай прыгнул с лошади и преградил путь мальчику. Подоспел уполномоченный и схватил мальчика за руки.

— Помоги поднять негодника, — крикнул он Усентаю. — Ишь, пасадник нашелся... Такого надо отвезти на ток и привязать там, чтобы не сбежал, — добавил он грозно.

Мальчик упирался, пытаясь отбиться.

— Коке, за что же это они! — задыхаясь, визжал он во весь голос, призывая на помощь умершего в прошлом году отца. — Это все из-за того, что нет тебя! Нету!

Канат вытаращил глаза, озираясь по сторонам, и заплакал. В это самое время, откуда ни возьмись, появился Нурекен. Злой, почерневший от гнева. Наверное, все видел и слышал. Яростно сжимая сложенную вдвое камчу, подлетел, со всего маху рубанул таволжьей рукоятью, окованной медью, по рукам, стискивавшим запястья Омиртая. Руки разжались, мальчик вырвался на свободу.

— Что за самоуправство? Какое вы имеете право так издеваться над ребенком?

Уполномоченный из района метнул на него сердитый взгляд. Канат испугался. Казалось, тот кинется сейчас на Нурекека, и будет большая драка. Пикни тот мужик, и Нурекеке готов снова пустить камчу в ход.

— Танатаров! Это тебе даром не пройдет. Ты за свой поступок ответишь в установленном месте. Ты еще узнаешь, с кем связываться, — сказал он в бешенстве и, круто повернувшись, ушел. Усентай затрусил следом.

Кое-кому Нурекен не нравился. «Что за человек, — возмущались они. — Ни себе житья не дает, ни другим. Колхозное добро, если на то пошло, — неистощимая казна. Черпай из нее, — не ополовинится. Если постоянно крутишься в хозяйственном аппарате, можно ведь иногда и поинтересоваться что-нибудь. Да куда там! И подступиться не даст, пуще отцовского добра бережет. Мы же как-никак при деле находимся, потом как-нибудь перекрыли бы расходы. И ничего этому Нурмагамбету не было бы!»

Такие всегда в неусыпной слежке, ждут подходящего момента, чтобы дать подножку. Как правило, они действуют с завидным единством. Случается, им удается попасть точно в намеченную цель.

Спустя некоторое время после того случая по аулу поползли слухи: «Нурекен освобожден от должности».

Кто-то искренне огорчился, кто-то недоумевал: «Как же так? За что?»

«Теперь он уедет из колхоза»,— предсказывали некоторые. «Да, после того, как человек побывал председателем, он уже не захочет простой работы,— рассуждали другие.— Недаром же говорят, что добрый пес никому не покажет своей гibelи. Или он найдет себе что-нибудь подходящее на стороне, или...»

Ну а Нурекен не обращал на эти пересуды внимания. Канат помнит, что после этого Нурекен спокойно работал в своем ауле поливщиком.

Что не поделил этот старый человек с зоотехником? Из-за чего ссорится? Не потому, что боится за себя. Его никто не станет винить за то, что домиков не хватило... Но, говоря его же словами: «Как можно молчать, если видишь такое»? В конце концов, стоять за правду — это и есть твой человеческий долг, долг коммуниста.

От этих мыслей Канат взбодрился, почувствовал силу. Встрепенувшись, подался вперед, бросил взгляд окрест. Впереди, опережая его на туловище коня, покачивалась в такт езде сухонькая нелепая фигура старого Нурмагамбета. И снова вспомнились его слова: «Разве я из корысти активничаю, славы себе ищу?» И Канат тепло улыбнулся.

И с того дня, если посчитать, прошло ни мало, ни много — полтора десятка лет... А Нурекен за это время ничуть не изменился: та же манера спорить, тот же характер, тот же неукротимый дух.

—Что ни говори, а стоящий он человек, цельный. Про таких говорят: настоящий гражданин,— сказал Канат вслух, чтобы слышал Альмирза.

* * *

Время — зеркало жизни. Все в нем можно увидеть, только умей смотреть. Оно раскроет тебе глаза на многое, позволит постичь тайные мотивы поведения живущих рядом с тобой людей. Время может все переменить: события, некогда огорчавшие нас, вдруг оборачиваются радостью и, наоборот, то, что доставляло удовлетворение, позже начинает тяготить нас.

Так и Канат со временем на многие вещи стал смотреть по-другому. Первое, что он заметил,— это перемена, происшедшая в Альмирзе. Уверенность в себе сменилась самодесвольством, невнимание к людям —

спесью. Любой специалист был для него не больше, чем мальчик на побегушках. Слово свое он считал едва ли не законом, признавал только свою правоту. Возможно, Канат был для него, как говорится, «свой человек», или тут сказывались их давние, устоявшиеся отношения, но при том, что между ними сохранялся прежний теплый, дружеский тон, Альмирза, пользуясь своим директорским правом, умел каким-то образом держать его в стороне от важных дел и забот хозяйства и, было похоже, рассчитывал, что так оно будет оставаться всегда. Вряд ли его интересовало, что думает Канат по тому или иному вопросу, он не спрашивал его мнения, не ждал от него совета. Канат по природе не был самолюбивым, но позицию Альмирзы заметил и про себя решил: «Ладно, увидим. Время терпит». Сам он признавал единственный стиль работы: взаимопонимание, коллегиальность, общность усилий. Но чем дальше, тем чаще вспыхивали между ними разногласия.

В позапрошлом году Альмирза как-то уехал на дальние джайляу. Канат с утра не покидал своего кабинета. Позвонил начальник райбыткомбината, сообщил, что комбинат планирует открыть в одном из крупных хозяйств района свой филиал. Посоветовавшись у себя, решили остановить свой выбор на совхозе «Сарыдала». Начальник хотел бы знать мнение руководства совхоза. Если возражений не будет, филиал откроется в ближайшее время. Но в этом случае райбыткомбинат просит руководителей совхоза позаботиться о подходящем помещении для аренды на некоторое время. В будущем комбинат за свой счет выстроит в центре совхоза двухэтажное здание, а арендованное помещение будет возвращено совхозу. Строительство начнется на следующий год. А пока понадобятся три-четыре комнаты, где разместятся мастерские по пошиву одежды и обуви. Комбинат пришлет несколько мастеров, которые берутся обучать ремеслу местных жителей, из них предполагается доукомплектовать штат.

Канат, естественно, не возражал. Напротив, он горячо поддерживает предложение райбыткомбината.

«Пусть вернется директор. Мы посоветуемся, изыщем возможности, о результатах сообщим», — так он ответил начальнику райбыткомбината.

Альмирза о филиале и слышать не захотел, сразу стал отнекиваться.

— Нет-нет! Да ну их! Будто других забот мало. Не

хватало нам еще морочить себе голову этим быткомбинатом.

— Да нам и не придется морочить. По-моему, отказываться не стоит. Дело нужное.

— Ай, мы испокон веку обходились без него! Нужно людям что-то починить — едут в район и чинят; все необходимое могут купить в магазине.

— А что им делать? Нет у себя, вот и едут в район. Уж куда лучше иметь свое, чем ездить за тридевять земель. Вреда во всяком случае от него не будет. Раз представился случай, надо воспользоваться.

— А где помещение возьмешь? Какой дом освободить для них прикажешь?

У Каната был готов ответ и на этот вопрос, но он не стал его выпаливать, а осторожно предложил:

— Детсад же переезжает в новое помещение. Старое можно отдать комбинату.

— Мы же договорились, что там будет центральный склад совхоза. Сам знаешь, что и склад ютится в развалюхе.

— Со складом можно повременить. Пусть пока остается в старом здании. В скором времени комбинат собирается построить двухэтажный дом быта. Самое большее, на это уйдет два года. Склад-то никуда не денется. С ним мы и сами решить можем. Главное сейчас — не упустить возможность.

— Не упустить, не упустить... Заладил тоже... Ну, какая выгода совхозу от этого комбината? И что ты так ради них стараешься?

— Положим, совхозу от комбината — прямая выгода. Нельзя же выгоду искать только в выполнении хозяйственных планов.

— Ладно, скажи мне тогда, какая это выгода, чтобы и я знал.

Канат, стараясь держать себя в руках, спокойно и внушительно начал:

— Если в ауле будет работать комбинат бытового обслуживания, оказывать необходимые услуги населению, то людям не придется таскаться за десятки километров в район, гонять машины, тратить время попусту. К тому же, работать он будет под нашим ведомством.

Мы сможем диктовать свои условия. Например, изготавливать дефицитные вещи, в которых испытывают острую нужду наши рабочие, животноводы. Разве это не

выход из положения? Закажем для всех спецодежду. Потом...

Канат многозначительно замолчал, бросил задумчивый взгляд на Альмирзу. Тот слушал нехотя и явно не разделял восторгов Каната, поэтому он не спешил продолжать, а немного поерзал на стуле, устраиваясь поудобней, прокашлялся, сел прямо и, слегка повысив голос, заговорил снова.

— Потом,— сказал он,— ты не учитываешь одного обстоятельства.

— Что еще такое?

— Ты посмотри, сколько у нас молодежи в ауле. Год от года ее будет становиться все больше—это факт. Большинство молодых, особенно девушки и женщины, бывают заняты от силы два-три месяца на сезонных работах, все остальное время они вынуждены сидеть дома. Обеспечить их постоянной работой совхоз, естественно, не в состоянии. Хорошо, хоть в последние годы они идут в механизаторы, кое-кто вошел в комсомольско-молодежные чабанские бригады. Ну, а если в ауле откроется филиал комбината, это позволит двум, а то и трем десяткам получить постоянную работу. Разве это не выгода? Нельзя упускать из виду и вопросы благоустройства села, повышения культуры, расширения сферы услуг—они стоят на повестке дня. Село красят новые здания, новые дома. Если кто-то своими силами и на свои средства собирается построить в самом центре аула двухэтажный дворец, здесь, кажется, нужно сказать только спасибо, а не бежать, очертя голову, иначе нас не поймут.

Или до Альмирзы наконец дошел смысл ожидаемых перемен, или уже нечего было возразить, но он не сопротивлялся.

— Ладно, пусть будет по-твоему,— со смехом уступил он парторгу.

Филиал комбината недавно переехал в свое новое здание. Он стал своего рода небольшой фабрикой. Выпускает разнообразную продукцию, оказывает множество услуг. Особенно важен для совхоза цех по ремонту электроприборов. Одежда, шитая в быткомбинате, и другие поделки находят сбыт не только в соседних совхозах, но и в сопредельных районах. Заказы поступают отовсюду. План ежеквартально выполняется на 130—150 процентов. Многие выпускники школ нашли применение своим рукам.

При решении таких вот спорных проблем Альмирзу можно допечь только неоспоримыми доводами и при этом проявить максимум упорства, иначе, прав он или не прав, но никому не даст воли, гнет свое. Критику совершенно не воспринимает. Привык всегда стоять на своем. И если кто-то вздумает перечить ему, с ним он сразу начнет враждовать, не даст такому проходу,—пока не изведет вконец.

«Как он изменился»,—удивляется Канат. Тот Альмирза, каким он знал его, был шумным и довольно наивным парнем, вот разве что любил прихвастнуть, но в общем-то относился к людям положительно и никому зла не делал.

«Неужели время, среда, должность так влияют на человека? Или можно расти вместе, дружить много лет и не знать его истинной природы? Возможно, что и так...»

Канат перебрал в памяти все годы, проведенные с Альмирзой, начиная с первого дня знакомства.

* * *

Тогда они учились в десятом классе. Учебный год только начался. И во дворе, и в классах царило праздничное оживление. Десятиклассники занимались в первую смену. Школа была выстроена вдали от совхозной усадьбы и в окружении аккуратных учительских домиков напоминала созвездие Плеяд. Дорога в школу и обратно уже сама по себе доставляла ученикам несказанную радость, какую они вряд ли получили бы и от участия в каком-нибудь торжественном шествии.

Шли группами и парами, весело переговариваясь, иногда напевали, устраняли шумные потасовки, играли, бегали наперегонки, и не было лучше той поры. Старшие старались идти особняком, держались чинно и степенно и разговаривали между собой вполголоса.

Благословенны первые дни осени. Нет изнурительной духоты, нет спаляющего зноя. Солнце щедро льет на землю золотистые лучи, пригревает мягко и ласково; чистос-пречистое высокое синее небо приветливо, как ясный нрав добряка, и на душе легко и радостно. Под этим милостивым небом купается в солнечном свете полная истомы и неги голубая долина с ее переливающимися у горизонта миражами. По обе стороны дороги

на выкошенном поле пасутся овцы и козы, стреноженные кони.

Густые заросли курчавки, полыни по обочинам, уютно в пыли, склонились до самой земли.

Канат, как всегда, шел домой со своей одноклассницей Салтанат — первой певуньей в школе, миловидной и стройной девушкой, прозванной подругами «Кербез» — чаровницей.

Почти у самого аула их нагнал Альмирза.

— Пойдем на Актобе, полакомимся дынями, — предложил он Канату.

Актобе находился в двух-трех километрах. Возможно, в старину это был насыпной курган, который служил предкам караульной вышкой, или крепость, позже разрушенная врагами. Теперь это просто глинистый белый холм. Совершенно лишенный растительности, он высился среди голубой долины гигантской лысой макушкой. Под холмом протекал головной арык. По его берегам тянулась бахча.

В те годы в колхозе и понятия не имели о других овощах. По краю поля сеяли ряд подсолнухов или кукурузы. Арбузы и дыни здесь созревали на редкость сладкими и сочными. Какие только сорта тут не росли: и темно-зеленые с черной пестринкой арбузы, и желтые, с широкими зеленоватыми полосами сахарные дыни, и рассыпчатые дыни, от которых набиваешь оскомину, и нежные и ароматные, истекающие медовым соком золотистые торлама и много других сортов.

Из-за нехватки воды в тех краях личных огородов не было. Все пользовались плодами с одной, общей бахчи. Сезон сбора бахчевых завершался с приходом сентября. Бахчу дней за двадцать убирали, все арбузы и дыни складывали посреди поля в одну кучу.

Обычно с конца июля едут и едут с Актобе повозки, груженные арбузами и дынями, и кажется, что на поле давным-давно ничего не осталось, но еще долго из-под стеблей все достают и достают парочку-другую ароматных плодов.

И после того, как уедет последний воз и начнется уборка подсолнухов и кукурузы, плетеная сторожка караульщика Бирибая в одном конце поля и его серая юрта — в другом остаются на месте еще две-три недели. Пока их не вывезут, на бахчу продолжает наведываться народ. В основном, это ребята, охочая до сладких дынь.

Бирибай приходится Альмирзе родственником. Потому тот и зовет Каната, не то в такой сезон дыни найдется не для всякого.

Старик без слов догадался, зачем пожаловали ребята, и сразу же после приветствий извлек из-под копны сена, наваленной у сторожки, огромную полосатую дыню и арбуз; расстелил дастархан, подал пол-лепешки.

Ребята после занятий и долгой утомительной дороги сильно проголодались и поэтому принялись уплетать угощение за обе щеки. Ели быстро, жадно и очень скоро насытились, но остановиться не могли, пока не наелись до отвала. Потом повалились на травку отдохнуть. На закате отправились в аул, унося по арбузу. И тут выяснилось, почему Альмирза вдруг повел Каната полакомиться дынями.

— Канат,— сказал он,— я хочу тебе открыть одну тайну. Я верю, что ты никому из нашего класса не проболтаешься о нашем разговоре. Ты же не проболтаешься, а?

Канат был немало удивлен словами Альмирзы и даже не нашелся, что ответить. Уставился на него во все глаза и молчал.

— Ты же не скажешь, да? Я верю, что не скажешь.— Голос Альмирзы слегка дрожал, вид был взволнованный.

То ли Канат внезапно почувствовал жалость к Альмирзе, но, еще не оправившись от изумления, он воскликнул:

— Не скажу! Конечно, не скажу! А что?

Альмирза замешкался, не решаясь говорить. Заметив его смущение, Канат, искренне желая помочь, по-своейски подбодрил:

— О чем ты? Ну говори же!

— ...У меня к тебе дружеская просьба...— Альмирза, перекладывая арбуз с правой руки на левую, снова умолк, пряча глаза. «Что он такое собирается сказать? Почему напускает загадочность?»— Канат внимательно посмотрел на товарища. Альмирза, будто разгадав его мысли, выпрямился и взглянул ему прямо в глаза. Вопрос его прозвучал неожиданно:

— Канат, ты же не любишь Гульсаю?

Канат растерялся окончательно. И хотя он и догадывался, о ком тот говорит, но все же переспросил:

— Какую Гульсаю? Из девятого «б», что ли?

— Да, ес...

«К чему это, о чем он?»— ломал голову Канат.

— Альмирза, что за таинственность? Что ты хотел сказать? При чем Гульсая? У меня с ней никаких отношений. Я даже ни разу с ней словом не перемолвился,— ответил он, то ли осторожничая, то ли возмущаясь.

Но Альмирза не замечал как его состояния, так и повышенного тона.

— Канат, если я попрошу тебя о чем-то, сделаешь?— умоляюще спросил он.

Сказалась ли ввевшаяся в кровь привычка никому ни в чем не отказывать, а может, здесь известную роль сыграло чисто детское желание поскорее узнать, в чем дело, но Канат легко пообещал:

— Ладно. А что за дело?

— Я написал письмо одной девочке. Отнесешь?

— Кому?

— Гульсае...

Просьба прозвучала столь неожиданно, что Канат молчал, не смея сказать ни «да», ни «нет». Но поразмыслив, он не решился нарушить сорвавшегося с языка обещания, да и не мог бы он обмануть ожидания Альмирзы, который обратился к нему, как к другу.

— Ладно, отнесу,— согласился он.

— Спасибо. На, пусть оно будет у тебя.— Альмирза достал из заднего кармана брюк письмо, сложенное треугольником. Оно было написано на обычном тетрадном листке.— Отдашь, как только представится случай.

Они оба почему-то вдруг застеснялись и какое-то время молчали. Первым не выдержал, нарушил неловкую тишину Канат.

— А зачем ты меня спрашивал о ней?

— Подруги ее говорят, что она в тебя влюблена. Поэтому я хотел узнать, как ты к ней относишься.

Бледное лицо Каната вспыхнуло, побагровело, потом кровь отхлынула, и он снова побледнел. Засмутившись, он нарочито громко рассмеялся.

Альмирза, чтобы успокоить Каната, а заодно загладить свою вину перед ним, сказал:

— У тебя же есть девчонка. К чему тебе другие, когда ты дружишь с самой Салтанат. Мало ли что могут говорить.

Канат ничего не ответил. Разговор прервался. После некоторого молчания он спросил:

— А почему ты письмо не передал через кого-нибудь из ее подружек. Почему ты меня просишь?

— Я ведь уже сказал. Потому что считаю, что на тебя можно рассчитывать. Доверяю тебе...— Альмирза почесал в затылке, призадумавшись. По тому как он юлит, Канат догадывался, что главная причина кроется в другом, но посчитал неудобным выпрашивать. Между тем Альмирза заговорил снова.

— Гульсая — девушка строптивая. Может, она из чужих рук и не возьмет. А тебя она уважает. Если ты отнесешь, возьмет, мне кажется... Вы же дружите семьями. Она тебя знает...

Гульсая училась классом ниже Каната. Это была высокая, стройная смуглянка. Молчаливая и серьезная, она не кокетничала, как некоторые легкомысленные девочки и, пожалуй, была несколько замкнутой для своих лет. Очень следила за своей внешностью, одевалась всегда опрятно и красиво. Жила девушка как раз напротив дома Каната, через дорогу. Раньше частенько заглядывала к его сестренке Сулу — своей однокласснице. В последнее время перестала бывать. Видимо, повзрослев, стала стесняться Каната. Пугливая, как горная коза, она дичилась всех, кто старше ее, поэтому Канат даже никогда не заговаривал с нею. Что-то было в ней такое, по чему он догадался, что девушка переменялась к нему. Завидев его издали или даже столкнувшись с ним неожиданно лицом к лицу, Гульсая низко опускала голову и быстро проскальзывала мимо. Несмотря на эту нехитрую уловку, Канату иногда казалось, что ни одно его движение не ускользает от ее внимания. Иногда по вечерам он, бывая в кино или на концерте, замечал, что она исподтишка наблюдает за ним из толпы подруг. И если они вдруг встречались взглядами, девушка тут же отводила глаза, а через некоторое время он чувствовал, что она смотрит снова.

По дороге в школу и домой Гульсая почти всегда шла где-нибудь в стороне, но при этом старалась не терять его из виду. Не каждому дано заметить столь робкие знаки внимания. Но Канат был достаточно чуток. Возможно, он не принимал всерьез ее влюбленности, а потому не придавал ей значения. Относился ко всему с безразличием, словно это его не касалось. Тогда у него на уме была одна Салтанат.

Сколько у них в школе было уверенных в себе ребят, которые так и вились вокруг Салтанат, готовые костью лечь, чтобы заслужить ее улыбку. Надо отдать ей долж-

ное, Салтанат была благосклонной к одному Канату. Стоило девушке увидеть его, как темные ее глаза тепле-ли, прекрасное, открытое лицо озарялось нежностью. И без того приветливая и радушная, она в такие минуты притягивала особой мягкостью и очарованием. Ровесники считали их неразлучной парой.

Дружба Каната и Салтанат зародилась весной. И кажется даже, что начало ей положила сама Салтанат. Однажды в ауле справлялась чья-то свадьба. В юрте, поставленной во дворе, развлекалась молодежь. И до того дня все, что касалось Салтанат, вызывало в юноше живейший интерес. Он постоянно тянулся к ней. Но как-то не представлялось случая сойтись с ней поближе, а если и выпадала такая возможность, ему не хватало смелости. В каком-то томительном беспокойстве тянулись дни, а в тот вечер ему удалось вдруг хоть на секунду остаться с ней наедине.

Случилось это в перерыве, когда гости вышли из юрты подышать свежим воздухом. Через какое-то время все возвратились в юрту, а он замешкал, чтобы шепнуть идущей впереди девушке:

— Салтанат, постой!

Она резко повернулась, спросила:

— Что такое?

Ее белое шелковое платье трепетало от легкого ветерка, издавая чуть слышный шелест. Черная бархатная безрукавка туго обтягивала упругую грудь. В темноте вежно сияли огромные черные глаза. Он сказал, что любит ее. Они стояли так близко, что он почувствовал на своей щеке ее жаркое дыхание, и у него закружилась голова. Когда теплая ладонь девушки коснулась его руки, юноша вспыхнул. Сердце, и без того стучавшее громко-громко, как необузданный конь, рванулось из груди.

Она, почти касаясь губами его уха, прошептала:

— Возьми. Я взяла сегодня с собой, чтобы отдать тебе.

В его руку легло что-то невесомое и мягкое, мягче ее ладони. Он не успел еще разобрать что это, как девушка, шепнув: «Будь здоров», бросила украдкой взгляд по сторонам: не заметил ли их кто-нибудь, и быстро скользнула в дверь юрты.

Канат опьянел от счастья и, не совсем понимая, где он и что с ним, недоуменно смотрел на подарок любимой. Это был вышитый шелковый платочек. Уже дома

он из страха, что кто-то разгадает его тайну, спрятался от чужих глаз подальше и внимательно разглядел надушенный тоненький платочек, узоры, вышитые по краям.

Видимо, они считали себя уже взрослыми, когда сбежали из школы с новогодней елки и пришли в клуб. Танцы были в разгаре. В большинстве своем обутые в порыжевшие кирзовые сапоги с подвернутыми почти до самых щиколоток голенищами, одетые в фуфайки, которые для особого шика застегивались только на нижнюю пуговицу, в малахаях, сбитых на затылок, или, напротив, надвинутых на брови, джигиты аула, разудалые и беспечные, служили отличным фоном для аккуратных и чистеньких приезжих. А среди них первым, как козел-предводитель среди овечьего стада, выделялся прошлогодний выпускник школы, а ныне студент пединститута Ауталип. Наверное, каникулы начались и для него.

Город обладает чудесным свойством преобразовать всякого, кто с ним соприкоснется. Обтесал он и Ауталипа, его было не узнать. Одет по моде: в узких штанах, в лоснящихся, как шерсть гончей, узконосых туфлях на каблуках. Ноги его в танце так и мелькали. Сознание превосходства над серой толпой земляков придало Ауталипу уверенности, озарило его лицо особым светом. Был он непринужден и весел.

Джигиты как вошли, так и остались стоять, сгрудившись у дверей, словно чужие. Не торопились подключаться к танцам, а выжидали, оценивая обстановку. В это время Ауталип, все такой же самоуверенный, раскованный, проследовал через весь зал и пригласил Салтанат на танец. Все разом обернулись, уставились на них. Канат подумал: «Салтанат откажет». Но Салтанат подалась вперед, явно выражая готовность танцевать с Ауталипом, и ему это не понравилось. Но он все еще надеялся, что она спросит его согласия. «Удерживать неудобно, еще решит, что ревную. Пусть станцуют разок... Но зачем Салтанат так легко соглашается, буд-то только и ждала его приглашения...»

Не успел он додумать, как Салтанат с Ауталипом закружились в танце. Уходя, она даже не обернулась ни разу. Канат почувствовал, как стеснило грудь. Щеки разом запылали. Он был зол.

Ему казалось, будто все насмеяются над ним. Салтанат же и дела не было до него, она упоенно порхала по залу и время от времени бросала на него счастливый

взгляд: мол, видишь, я какая. Или она не догадывалась о его состоянии, или ей хотелось разозлить его еще пуще. Как беспечный жеребенок, который разыгрался не в меру. И музыка, словно испытывая его терпение, все никак не умолкала. Он еле-еле дождался конца танца. Глаза его потемнели от гнева, стали ярче. Он весь покрылся испариной. Когда Салтанат вернулась к нему, он уже нарочно не обращал на нее внимания, а смотрел поверх ее головы, делал вид, что увлечен разговором с другими. И даже когда девушка слегка коснулась его руки, напоминая о себе, он не посмотрел на нее. После того, как все отдышались, отерли пот, передохнули немного, музыка заиграла вновь.

— Канат, ты будешь танцевать?— спросила Салтанат.

Его душил гнев, хотя он, следуя пословице «Волк дыбит шерсть, чтобы скрыть свою худобу», и не подавал виду. Стоило Салтанат произнести эти слова, как он, уже не в силах сдерживаться, посмотрел на нее долгим насмешливым взглядом.

— Танцуй уж сама,— неприязненно ответил он и отвернулся.

Девушка в замешательстве помолчала, потом немного виновато спросила:

— Что с тобой? Ты серднишься?

— А тебе какое дело?

— Ладно, раз так...

В ней тоже заговорила природная строптивость. Приветливое выражение мгновенно сменилось холодностью, лицо слегка побледнело. Она резким движением откинула челку со лба, надменно выпрямилась. Канат пожалел, что был слишком резок. Но идти на попятную не смог, не сумел переломить себя. Обиженная девушка упрямо не поворачивала головы. Застыла, уставясь на танцующих. Пока Канат лихорадочно обдумывал, как выправить положение, Ауталип снова пригласил Салтанат. Она и словом не возразила, ушла с ним.

Теперь Канату и смотреть на танцующих было тошно. Он постоял, не зная, куда себя девать, увидел стул в углу и сел. Напрасно старался он не замечать Салтанат, она так и мелькала перед ним. Все так же беспечна, весела. Глаза смеются. Медленно и легко плывет в танце и рассказывает Ауталипу что-то смешное. Иногда скользнет пренебрежительным взглядом по нему. Ауталип не отходит от нее и в перерыве между танцами. Го-

ворит о чем-то с ней, а у самого рот до ушей. Так и кружится возле нее, ни на миг не оставляет. А пока он рядом, Канат ни за что не подойдет к ней.

Снова заиграла музыка. Снова они танцевали вместе. Сидеть и смотреть на них стало невозможно, и Канат вышел. Во дворе было темно. Он отошел от выхода подальше и остановился. Ночь выдалась до того теплая, что жир и тот бы не застыл. Падал хлопьями снег. Кружился белыми бабочками и тихо-тихо ложился на лицо, на открытые руки, и так мягко и щекотно, будто кошка касалась кончиком хвоста.

Он запрокинул голову, подставляя лицо снежинкам. Ему хотелось забыться хоть на минутку. Вдруг совсем рядом раздалось:

— Канат!

Он вздрогнул от неожиданности.

— Кто это?

— Это я.

— Жездыбай?

— Да, твой отец родной.

— Куда там!— рассмеялся Канат.

— Да кабы не я, посмотрели бы на ваше житье! Я-то день и ночь в трудах и заботах о вас.

— Да что ты говоришь?

Они дружно расхохотались.

— Эй, а что мы торчим тут? Какие у нас планы?— спросил Жездыбай, посерьезнев, как человек, озабоченный не на шутку. Канат не понял, куда тот клонит.

— Какие планы?— заинтересованный, спросил он в свою очередь Жездыбая.

— Как будто не знаешь... Что с этим типом делать будем? Может, «темную» устроим?

Канат понял в чем дело, улыбнулся про себя. Жездыбая знали в классе как завязатого забияку. Там, где назревала драка, первым, выдвинув правое плечо вперед, бросался врукопашную Жездыбай. Силенок у него, правда, было маловато. Между тем многие, видя, как неистово прет он на противника, возможно, подозревали в нем силу необыкновенную, а может, просто не хотели связываться с драчуном, дабы не оскандалиться, и держались от Жездыбая подальше. Жездыбая это вполне устраивало. Он петушился еще пуще, будто в самом деле запугал всех ребят в ауле. Видимо, это было для него самой большой утехой. С теми, кто был по-настоящему силен и доведись встретиться в поединке, запросто

мог бы накостылять ему, он предпочитал не портить отношений, при случае не забывал заверить в дружеском расположении к ним. У него и в мыслях не было задирать таких. С другой стороны, если находился хороший напарник, то он был не прочь затеять ссору с кем угодно.

Понимал Канат и мотивы Жездыбая. Во-первых, тому хотелось удовлетворить неумную жажду скандала, во-вторых, засвидетельствовать свое доброе отношение к Канату. Он ждет, когда народ начнет расходиться по темным улицам. Тогда можно будет подстеречь Ауталипа и накостылять ему по шее.

— Я могу начать, — возбужденно продолжал тот. — Только и ты не зевай. Отвесь пару раз так, чтоб на всю жизнь запомнилось. Ну как, договорились?

Против ожидания Канат не выразил восторга. Он думал. Если б ему нужно было подраться, то он сошелся бы с Ауталипом в честном поединке. Помощь Жездыбая ему не нужна. Он верит в свои силы. Но какой смысл поднимать шум. Он не хотел бы, чтобы завтра же вспыхнули разговоры, что драка произошла из-за девушки. К тому же для драки нет достойного повода. Пусть Канат злится сейчас на Ауталипа, ненавидит его всею душой, но с какой стати он станет поднимать на него руку? Сказать по совести, его больше гложет обида на Салтанат. Ее неожиданная выходка, потом это непонятное поведение нанесли ему такую рану... Как она могла забыть о его существовании? Как она могла не заметить его отсутствия? Как представит он ее зарумянившееся лицо, ее смеющиеся глаза, обращенные на Ауталипа, так все нутро жжет, будто посыпанное горячей солью.

Сейчас он хотел бы дождаться, когда народ выйдет, отозвать в сторонку Салтанат и высказать ей все, что думает, чтобы отлегло от сердца, чтобы успокоиться, но почему-то не смог сделать и шага в ее сторону. Говорила ли в нем гордость, или помешала природная застенчивость? Он понял, что сейчас, в эту минуту, не отважится взглянуть ей в лицо, не скажет ей ни одного слова. Разговор не состоялся, наверное, и потому, что где-то в глубине души затаилась надежда: «Салтанат поймет, что обидела меня, придет сама и все станет на свое место».

Юноша по молодости, по неопытности и не подозревал, что своенравной девушке очень хотелось, чтобы он

подошел первым, чтобы осознал свою грубую выходку, покаялся в неуместной гордыне. А время шло, и они все больше отдалялись друг от друга и не заметили, как чувства их охладели. Кончилось тем, что уже летом, после выпускного вечера, они расстались совсем чужими.

Конечно, все это случилось гораздо позже. А в тот день, когда Альмирза попросил Каната отнести письмо Гульсае, для того весь мир заключался в одной Салтанат.

На другой день, возвращаясь из школы, Канат выждал, пока ребята на окраине аула разойдутся по разным улицам, и догнал свернувшую к своему дому Гульсаю.

— Гульсая, подожди!

Когда он подошел, смуглое лицо девушки залилось краской. Она не поднимала глаз. Стояла и ковыряла носком туфли землю, всем видом выражая внимание. Он растерянно забормотал:

— Гульсая, тут тебе...— умолк, смущенно сунул руку в карман, нащупал письмо, подал девушке. Та, густо зардевшись, смотрела с испугом на письмо.

— Что это?

— Это Альмирза просил передать...

— Альмирза?

Девушка подобралась вся и будто бы даже отшатнулась слегка. Он заметил ее недовольство, но думал только о том, что ему нужно во что бы то ни стало выполнить поручение, а затем умыть руки, и сказал умоляюще:

— Гульсая, возьми, пожалуйста, а то я обижусь...

Наступая на нее, он все совал ей в руку это злосчастное письмо. Обидеть, оттолкнуть его руку ей не хватило решимости, и, прихватив письмо, она резко повернулась и молча заспешила прочь. Он же, пристыженный, остался стоять.

Как условились с Альмирзой, Канат должен был принести ему ответ девушки. Назавтра Гульсая, завидев Каната, постаралась обойти его стороной. И на другой день она как могла избегала встречи. Делала вид, что вовсе его не замечает, и упорно не поднимала опущенных глаз. Ему же останавливать ее при всех тоже было неловко. На третий день он подстерег-таки ее в коридоре и напрямик спросил:

— Гульсая, а где же ответ на то письмо?

Она посмотрела на него совершенно спокойно, без злобы, и произнесла с неожиданной горечью:

— Ответ я скажу самому Альмирзе. Вы, Канат, не беспокойтесь об этом.— Было в ее голосе что-то такое, отчего Канату стало не по себе.

От смущения он не знал куда деваться, быстро зашагал к своему классу.

Позже он даже не спросил у Альмирзы, что ему ответила Гульсая. Тот не спешил посвящать друга в свои отношения с девушкой. И вообще они тщательно избегали разговоров на эту тему. Одно было ясно Канату: Альмирза больше не крутился возле девушки. Но и после этого случая Канат не раз замечал, что Гульсая исподтишка поглядывает на него, наблюдает со стороны, где и с кем он.

Канат уже окончил школу и готовился к отъезду в институт, когда бабушка ему однажды сказала:

— Канатжан, отцу твоему все некогда, за скотиной ходит день и ночь. Гляди, клевер поспел давно, желтеет уже. В те дни мне жалко было от экзаменов тебя отрывать. Но теперь надо, наверное, скосить его, а то пропадет ни за что. Ты сам убрал бы его за два-три дня. А там бы уже ехал.

Пришлось Канату, засучив рукава, взяться за косьбу. К вечеру второго дня он успел скосить весь клевер перед домом и перешел на дальний участок, что был ближе к плетню. Сделав прокос, он разогнулся и увидел свою младшую сестру. С ней шла девушка. Они направлялись прямо к нему. Сперва Канат подумал, что сестра ведет одну из своих подруг на подмогу, и не придавал их приходу значения, но вблизи разобрал, что это Гульсая. Приступая к работе, он разделся до пояса, а тут вдруг застыдился. Быстро прошел туда, где на валке скошенного клевера лежала его рубашка, натянул ее на себя, потом отер пот со лба и, успокоенный, оперся на косу, дожидаясь девушек.

Нетрудно было заметить, что Гульсая сильно смущена и идет с неохотой. Возможно, она стеснялась Каната, а может, ей не хотелось попадаться на глаза землякам, которые в этот час все возились по дворам, но каждый шаг давался ей с трудом. Он понял ее состояние и шагнул ей навстречу.

— Здравствуй, Гульсая,— сказал как можно приветливей.

— Здравствуйте,— ответила девушка с застенчивой улыбкой. Лицо ее, покрасневшее от смущения, в закатных лучах пылало еще ярче. Ситцевое платье в синих васильках подчеркивало гибкий и тонкий стан. На стройные, загорелые ноги легли едва заметными штрихами белые царапины от сухих стеблей клевера. Пальцы ног, выглядывавшие из открытых носков легких босоножек, беспрестанно шевелились, будто девушке хотелось втянуть их поглубже. Она не знала, куда девать руки: то прятала их за спину, то теребила подол платья. От Каната не укрылось, что они у нее легонько дрожат.

В это время сестра его всплеснула руками.

— Ой, я совсем забыла! Мне же лепешку надо вынуть из сковородки. Ты постой немного, я сейчас,— выпалила она одним духом и побежала домой.

Оставшись наедине с Канатом, девушка вовсе смутилась. Канат, чтобы как-то помочь ей преодолеть застенчивость, стал задавать вопросы.

— Рассказала бы что-нибудь, Гульсая. Ты никуда не едешь на каникулы? Здесь будешь?

— Поеду к маминой родне на сенокос. Наверное, все лето буду там... А вы когда уезжаете?

— Через два-три дня.

— А я завтра выеду. Узнала, что вы поедете поступать. Вот, пришла попрощаться...

— Спасибо.

— Желаю вам удачи.

В голосе девушки, взволнованно дрогнувшем, Канат услышал искреннее тепло и участие. Ее лицо, выражавшее одновременно и радость, и грусть, было озарено светлым чувством. В глубине темных прозрачных глаз затаилась готовая излиться нежность. Она резко повернулась к нему, прижала ладони к мгновенно вспыхнувшим щекам.

— Ну, всего вам доброго, будьте здоровы.

Потом повернулась и, не поднимая головы, торопливо убежала.

Увиделись они только на следующий год, поздней осенью, когда Канат уже окончил первый курс, съездил летом вместе со стройотрядом на целину и приехал домой на ноябрьские праздники. Он нашел, что девушка за год очень повзрослела, стала уверенней. Это была не прежняя пугливая и застенчивая, как дитя, Гульсая, а вполне зрелый человек, спокойный и уравновешенный,

который и поговорить умеет, знает, как одеваться, как вести себя.

Канат был приглашен на молодежную вечеринку, устроенную по случаю праздника. Здесь он и встретил Гульсаю. Кроме него никто, пожалуй, и не обратил внимания, как радостно сверкнули ее глаза, как вспыхнуло лицо, когда она увидела Каната. Поздоровалась сдержанно, приветствуя его легким кивком. И потом она вела себя как ни в чем не бывало, видимо, опасаясь любопытства друзей. Весь вечер оставалась тихой и незаметной. После полуночи народ стал расходиться. Канат дал понять, что хотел бы проводить ее. Она, видимо, ждала этого, потому что сразу выскользнула из толпы, пошла в стороне.

В открытом небе сияли мириады звезд. Канату было весело. Надо сказать, он не мог устоять перед уговорами друзей, с которыми не виделся более года, и выпил лишнего. Видно, ему изменили обычное спокойствие и рассудительность, потому что вдруг напали необыкновенное легкомыслие и беззаботность. Болтал обо всем, что придет на ум. Причем, говорил он один. Девушка молча слушала. Иногда смеялась, словно поощряла его. Так он рассказывал без умолку о том о сем, потом вдруг взял и ляпнул:

— Гульсаю, ты почему не приехала поступать? А я ведь ждал тебя.

Девушка ответила не сразу. По ее молчанию он понял, что сказал что-то не то. Нельзя было задавать ей такой вопрос.

— У меня же мама одна... Больная к тому же... Как бы я поехала...— Девушка еле подавила вздох. Канат так раскаивался в собственной бестактности, что на лбу выступил холодный пот. У Гульсаи никого не было, кроме матери. Отец не вернулся с фронта.

Разговор прервался. Молчаливые, они медленно приближались к дому.

— Здесь мы расстанемся,— почти шепотом сказала Гульсаю.— Уже пришли.

В этот самый миг в хмельную голову Каната пришла бредовая идея.

Бабушка, как это водится среди пожилых женщин аула, постоянно твердила ему: «Приведи мне невестку». Разумеется, она понимала, что у Каната пока и в мыслях нет такого, что, говори-не говори, а толку не будет, но упорно повторяла одно и то же. Наверное, она нахо-

дила забавными разговорами о женитьбе внука или ей доставляло удовольствие то, что он достиг жениховского возраста. Канат обычно смеялся в ответ, но бывало, что и огрызался: «Хватит об этом!»

Теперь у него в голове мелькнуло: «Сейчас я на каникулах. Канун великого праздника. А что если привести домой Гульсаю: «Вот вам невестка». Ведь моей женитьбе родные будут только рады, да и все в ауле будут рады».

И он тут же, неожиданно для себя, сделал предложение девушке. Гульсая, потупившись, молчала. Не ответила ни «да», ни «нет».

— Гульсая, ты почему молчишь? — не вынес он молчания.

— А что я скажу?

— Я же спросил тебя...

— Надо подумать... Не знаю... Прямо сейчас? Так нельзя, неудобно... И потом это помешает твоей учебе.

— Чем помешает! После свадьбы я уеду. Ты останешься дома.

Видимо, Гульсая считала, что он после выпитого едва ли отдавал отчет в своих словах, и отнеслась к ним с недоверием. Но, чувствовалось, была не прочь поговорить на эту тему. Кажется, предложение его даже пришлось ей по душе. Хотелось ли ей показать свою сдержанность, призывая его к рассудку, или, вероятно, она и в самом деле так думала, но она спокойно сказала:

— Канат, если ты действительно этого хочешь, зачем торопиться. Нужно одолеть хотя бы два-три курса. А сейчас женитьба будет только помехой.

И он скорее в шутку, чем всерьез, воскликнул:

— Оу, ты же до тех пор не станешь ждать меня, убежишь.

Девушка почувствовала перемену в его настроении, однако отвечала твердо и серьезно:

— Если ты уверен, что к тому времени не передумаешь, я никуда не денусь. Если надо, буду ждать до самого окончания.

— Ну что ж, тогда ладно, — согласился он с ней, уже протрезвев.

— Только ты пиши мне, — попросила Гульсая на прощание.

— Конечно, — ответил он тогда. Это был их последний разговор. Через несколько дней он уехал. Может,

его увлекла богатая событиями студенческая жизнь, кто знает, но за всю зиму он не послал девушке ни одной весточки и даже не раскаивался в этом.

Подходила к концу летняя сессия второго курса, через день-другой Канат собирался сдать последний экзамен и ехать в аул. Он ждал из дома денег на дорогу и отправился на центральный почтамт. Там на его имя поступил перевод, а также письмо от младшего брата. Младший брат, как всегда, начал письмо с расспросов о житье-бытье, затем написал о каждом из членов семьи, а завершал письмо новостями аула. В самом конце он сообщал, что Гульсая вышла замуж: «К ней посватался один парень из соседнего района. Молодой, только что из армии. Увез к себе». Его точно обухом кто по голове ударил. Он сидел-сидел, потом от удивления или с досады закусил нижнюю губу и покачал головой: «Да-а...» Встал, постоял, бессмысленно таращась по сторонам, словно забыл, куда ему идти. Заметил, что стоит у цветущего газона перед почтой. По недоуменным взглядам, которые бросали на него прохожие, догадался, что ведёт себя странно, и прошел в дальний уголок. Долго бродил, собираясь с мыслями. На душе было скверно. Им овладело горькое сожаление. Лишь сейчас он понял, что потерял самое дорогое, чему и сам не знал цены.

Жалей-не жалей, все равно теперь ничего не поправишь...

Больше он никогда не встречал Гульсаю. Самое интересное, что в последнее время он частенько видел ее во сне. И всегда в самые тяжелые для себя дни, когда одолевают неприятности. После этих снов он вставал посвежевшим, бодрым и полным сил.

Гульсая в его снах была всегда такой, какой он увидел ее тем летом на лугу. К нему не подходила, не заговаривала, а только стояла и смотрела на него со смущенной улыбкой.

Канат первое время удивлялся. «Наверное, Гульсая не может простить мне обиды. Может, она проклинает меня. Ведь так получилось, что я будто растоптал ее чувства. Обманул и бросил... Я для нее как враг, она и слышать обо мне не желает...» — думал он всегда. Но, когда Канату было плохо, она приходила к нему во сне всегда ласковая, заботливая. И с такой тревогой и любовью смотрела на него, что на душе становилось радостно. Как же ему было не удивляться.

«Что за странность? Или она и сейчас относится ко мне по-прежнему? Думает обо мне? Хочет издали убедить и защитить? Как загадочны и необъяснимы человеческие чувства, какая в них скрыта глубокая тайна. Ведь неспроста она мне снится. Наверное, не даром», — вот к какому он пришел заключению. И спустя много лет корил себя за легкомыслие и непостоянство и, каясь перед девушкой — а Гульсая для него оставалась семнадцатилетней стройной смуглянкой, — он, мужчина на склоне лет, от всей души желал ей благополучия.

С Жумакуль он познакомился на третьем курсе. Знакомством этим был обязан Альмирзе. В первый же год учебы Альмирза подружился со студенткой женского педагогического института, своей нынешней женой Сыргаш. Все свободное время они проводили втроем, гуляли, ходили в кино, в театр. Сокурсницы Сыргаш хорошо знали Каната, считали его своим человеком. С ними он довольно часто виделся на вечеринках, свадьбах, студенческих балах.

Как-то они с Альмирзой были приглашены на день рождения Сыргаш. Явились с охапками цветов, с подарками. Все, кто собрался на праздник, были знакомы между собой. Но среди гостей оказалась и новенькая. Эту девушку Канат видел впервые. Сыргаш представила ее гостям:

— Моя землячка, из одного со мной аула. Жумакуль. Студентка биофака КазГУ. На втором курсе.

Кто-то пошутил:

— Что же она раньше не показывалась?

— Пряталась от ваших завидующих глаз.

— Сыргаш, ну и хитрюга же ты. До сих пор скрывала от нас такое сокровище.

— Она девушка стеснительная. Оставьте ребенка в покое.

— Жалко, видите ли, ее стало...

На все эти намеки и шутки девушка никак не ответила, слабо улыбнулась и только.

— Эй, тому, кто сильно жалеет, что время упущено, и сейчас не поздно проявить себя, — рассмеялась Сыргаш. — Первый раз увидели нашу Жумакуль и сразу попадали все.

По тону, по взаимоотношениям девушек было ясно, что Сыргаш старше своей землячки. Видимо, поэтому

Жумакуль весь вечер вела себя очень скромно, как и подобает младшим.

Сидела она рядом с Канатом. Была молчаливой, тихой. Коротко отвечала на вопросы, обращенные к ней, и снова умолкала. Ему понравились ее сдержанность и учтивость.

Канат и сам не был любителем шуток и застольной беседы и лишь время от времени предлагал девушке что-нибудь из угощений.

— Ешьте, что же вы ничего не берете.

На большее у него не хватило смелости. Но девушка с признательностью отвечала:

— Спасибо, спасибо.

Расходились поздно. Сыргаш со своими подругами осталась в общежитии. Остальные вышли на улицу, и каждый пошел своей дорогой. Они с Альмирзой решили вначале проводить Жумакуль, а потом поехать к себе и отправились на трамвайную остановку. Альмирза, вероятно, изрядно перебрал. На остановке народу было много. Парни вспомнили, что в центральных кинотеатрах закончился последний сеанс. Подошел шестой трамвай, битком набитый. Протиснуться к дверям в страшной толчее оказалось непросто. Альмирза, который обычно, выпив, становится заносчивым и грубым, успел повздорить с кем-то. Поднялся невообразимый крик. И сцепился-то он не с кем-нибудь, а с тройкой подвыпивших парней, которые только и ждали, как бы подраться. О том, чтоб разойтись миром, они и слушать не желали.

— Ни они тебе ничего не должны, ни ты им. Какое тебе дело до них? Прекрати,— пытался урезонить друга Канат, но тот уперся и лез напролом.

В адрес парней полетели бранные слова.

И у тех языки, как железо каленое. Откуда только берутся такие.

Раз Альмирзу не удалось успокоить, то Канату поневоле пришлось принять его сторону. К тому же и противники своей бранью вынудили его к резкости. Чувствуя, что ссора зашла слишком далеко, Жумакуль попросила Каната:

— Пропади все пропадом. Зачем вам нужен скандал? Хоть вы перестаньте.

Канат взял себя в руки, но остальные не унимались.

На остановке за ними вышли из трамвая те трое. Настроены они были весьма воинственно и, судя по всему, собирались задать жестокую трепку. Альмирза, почувст-

вовав серьезную опасность, тут же ринулся в конец улицы, к зданию отдела внутренних дел:

— Я сейчас милицию приведу.

Те трое не стали его догонять. Надвинулись, окружая, на Каната, не посмотрели на девушку, которая металась между ними, уговаривая идти своей дорогой. Первым напал тот, что подошел спереди. Канат уже внутренне подготовился к отпору. Он поймал руку противника на лету, неуловимым движением занес ее за голову и перекинул того через себя. И тут же резко повернулся, чтобы предупредить атаку сбоку. Второго он сшиб с ног одним пинком. Но тут ему показалось, что голова его расколосась надвое, из глаз посыпались искры, потом он начал медленно падать в темноту.

Когда сознание вернулось к нему, он узнал Жумакуль. Та, обхватив его за шею, с плачем звала его:

— Канат! Канат! Что с тобой? Ну открой же глаза.

Потом ему показалось, что подошел кто-то. Он слышал неясный говор и четкий голос Жумакуль, выговаривавший кому-то:

— Если бы вы оба были тут, с Канатом бы такого не случилось. Ты сам все начал, потом смылся, оставил им его на растерзание.

Альмирза, виновато горбясь, сокрушенно бормотал:

— Какая жалость... Ну надо же.

— Когда и куда они ушли?— равнодушно спросил долговязый милиционер.

Сняв с Каната рубаху, они перевязали ему голову и, поддерживая с трех сторон, привели в комнату дежурного РОВД. Через несколько минут примчалась и машина «скорой помощи».

— Сотрясение,— сказал врач «скорой».— Кажется, трещина в надбровье. Видимо, ударили свинчаткой. Надо везти в больницу.

Канат пролежал тогда в больнице около полумесяца. Каждый вечер к нему приходила Жумакуль. Иногда одна, реже вместе с Сыргаш. Сидит часами около него, рассказывает что-то. Так они привыкли друг к другу, даже сроднились. Их свадьбу сыграли осенью того года, когда Канат учился на пятом курсе.

* * *

Совхоз «Сарыдала»— многоотраслевое хозяйство, но главное его направление — животноводство. Большие

площади занимают посевы хлопчатника, кукурузы, клевера. Для многочисленных табунов коней, овечьих отар и большого коровьего стада совхоза заготавливаются корма и сено. Говорить об этом легко. А каких трудов это стоит, знают только сельские жители. Сезонным работам нет конца. Что-то идет к завершению, зато вот-вот начнется другое.

На производстве не обходится без огорчений и радостей. Бывает, не поладишь с кем-то, но тут же и помиришься. И все это не забавы ради, а для нужд совхоза. Каким бы спокойным и выдержанным ты ни считал себя, но стычки с окружающими неизбежны. Одно хорошо: в горячке дел обиды начисто забываются.

Если задуматься, то между Альмирзой и Канатом разногласия по хозяйственным вопросам возникали довольно часто. Но Канат не придавал этому значения, потому что они носили чисто производственный характер. В спорах Альмирза всегда умеет настоять на своем. В общем, это было вполне закономерным. Все же он первый руководитель и имеет немалый опыт работы. Потому Канат не оспаривал его решений. Но если он был убежден в своей правоте, то принципиально придерживался своей точки зрения, не уступал. И тут уже Альмирза был вынужден считаться с его мнением.

Рядом с центральной усадьбой находилось небольшое поле, отведенное под бахчевые. Выращивали арбузы и дыни только для своих нужд. В последние годы этим занимались приезжие. Они прибывали из города весной, все лето работали на бахче, осенью, сдав собранный урожай совхозу, уезжали.

Тут и раньше, еще в детские годы Каната, была бахча. На песчаной и сухой почве арбузы и дыни уродились крупными и сладкими. Теперь все обстояло иначе. Шабашники, будь они неладны,— народ жадный. Им надо, чтобы плоды созревали пораньше да были покрупней. Вот и сыпят удобрения мешками, лишь бы первыми вынести свой товар на базар, а в арбузах тех — ни вкуса, ни толку. Раньше их можно было хранить два-три месяца, нынче уже через две недели мякоть расслаивалась, размягчалась, опадала, арбуз становился вялым и уже не годился для употребления. Да и тогда, когда его брали прямо с грядки, в нем не было упругости и свежего хруста, а на разрезе вместо алой

прозрачной и нежной зернистости появлялась тяжеловатая, темная, маслянистая студенистость. И, как паутиной, мякоть прорастала белыми волокнами. Когда поешь такой арбуз, во рту остается неприятный привкус.

Заметив эти изменения, Канат весной вызвал к себе агронома и наказал тому проследить за бахчой.

— И зачем использовать удобрения на таком маленьком участке? Тем более, что они не идут впрок.

Агроном переговорил с джигитами и пришел доложить Канату.

— Не соглашаются, Канеке. Для них важен вес, им за вес платят. А подряжаются они ради денег. Так что ваши претензии в счет не идут, у них свои расчеты. К тому же это нужно и нам для плана, разве нет? Для показателей. Чем выше они, тем лучше для нас.

— Плановые показатели совхоза и его благосостояние не зависят от этого клочка земли в полгектара. И бахчу посадили не затем, чтобы обращать ее в прибыль. К тому же мы заинтересованы не в тоннаже, а в качестве. Речь идет о сезонных плодах, они нужны детям и старикам, и я не понимаю, при чем тут план.

— Они предложили для актива совхоза засеять отдельный участок.

— А это еще что за новости? Как же мы, живя в одном ауле, заведем отдельную бахчу для себя, жизнь другую для себя устроим? Это что за порядки такие? Что же, у людей глаз нет, чтобы видеть это, нет ушей, чтобы слышать?

— Ну тогда они откажутся работать.

— Пусть отказываются. Неужели у нас в ауле не найдется двух-трех человек, чтобы смотреть за гектаром земли? Что перед ними лебезить? Не хватало нам от шабашников еще зависеть...

Разговоры эти дошли до Альмирзы.

— Любишь ты из мухи слона делать,— посмеялся он.— Ты же сам агроном. Скажи, кто в наш век встает против химии?

— Химия химии рознь. Применять ее нужно умеючи.

— Ну посмотрим, как после твоего запрета удобрения снимут с производства.

— А я и не говорю, чтоб их сняли с производства. Я против того, чтобы к их применению относились безответственно, надо не надо, а применяли везде и всюду. Как бы ни рассуждали, но, скажи, какая необходимость в селитре, которую валом валят на эту бахчу?

— Ай, мы ведь им тоже даем указания. Думаешь, хорошо слыть отстающим? Нам лишь бы показатели не сдизнить.

Канат рассмеялся.

— Ну это уже чистый формализм. Из-за этой бахчи нас в отстающие не запишут.

— Ой, ты тоже скажешь... Обязательно надо, чтобы записали, что ли? А где гарантия, что тот, у кого язык чешется, не ляпнет где-нибудь: «А они план по бахчевым не выполнили».

— Ну и что же? Поговорят и перестанут. Это не столь существенно.

— Одно я знаю, что лучше на язык не попадаться. Если ты не можешь есть арбузы с селитрой, они обещали вырастить для тебя отдельно. Пусть сделают так. А остальное пусть тебя не волнует. Нам выберут среди них лучшие. Так что и говорить не о чем.

— Я для себя и своих детей могу вырастить овощи на своем участке. Меня не это заботит.

Альмирза начал терять терпение, нахмурил лоб, наступил брови.

— Если так, то нам вовсе незачем разводить бахчу. Пользы никакой, одни хлопоты. И голову морочить не стоит. Больше дрызг и пересудов, чем доходов. Нас никто не попрекнет, если мы вовсе откажемся засеять бахчу. Значит, надо это дело свернуть.

— Нет, бахча как раз нужна,— решительно сказал Канат.— Вреда от нее не будет. Арбузы и дыни — это вещь лакомая, в сезон на них спрос большой. Чем нашим людям покупать их в райцентре за бешеную цену, а потом тащить на себе, лучше уж по госцене и с доставкой на дом брать в своем совхозе. Разве это не замечательно? Подумаем о народе. Не худо бы и чабанам на джайляу завезти. Им зелень совершенно необходима, Это же хорошо, когда у самих имеется. Жалко, что ли, для народа?

Альмирза, видимо, признал его правоту.

— Знаешь что, милый, ты у нас и сам агроном, так что поручаю эту бахчу тебе. Что хочешь, то и делай. Что засеешь, как засеешь — твое дело,— сказал он и поднялся из-за стола.

Конысбека Канат знал, как и многих в ауле, со стороны, никогда с ним близко не сталкивался. Одно он заметил: тот Альмирзе не по душе. И от специалистов о нем слова доброго не слышал. Но со слов других знал, что у Конысбека показатели высокие, что он в числе лучших чабанов, что живет в достатке, хлебосольный хозяин — из тех, которые у всех на виду. Как правило, о всяком, кто отличился, ходят кривотолки. С тех пор, как Канат приехал в аул, он слышал о Конысбеке и худое, и хорошее. Кое-кто говорил: «Сын Жолды вырос настоящим джигитом. И гостей принять умеет, и поговорить с людьми может. В семье у него все ладно». Другие насмешничали: «Ой, он нынче первый богач в Сарыдале».

— Коли казах набьет себе брюхо, ему сам хан нипочем, говорят. Твой братишка сейчас разбогател, — отзывался о нем Альмирза. — Мы поначалу поддерживали его, вывели в передовики, в партию приняли. Все-таки парень из нашего аула, молодой еще. Мы тянули его, вот он и возомнил о себе. Есть в нем чванство какое-то. Самомнение выше самого высокого пика. Теперь у него в подворье целый косяк лошадей, ни до кого дела нет, прямо ни дать ни взять отдельное государство и только. Его поприжать не мешало бы, да людей стыдно. Кто-нибудь да скажет: «Альмирза, мол, так поступает». И он может подумать: «Завидует моему достатку». Вот и приходится мириться.

Несмотря на все эти разговоры, уже после нескольких случайных встреч Конысбек произвел на Каната хорошее впечатление. Он не стремился понравиться, но был достаточно учтив, говорил уместно. Чувствовалось, что он умеет поддерживать добрые отношения с теми, кто этого заслуживает.

Возможность познакомиться с ним поближе, поговорить по душам выдалась только летом, когда Канат поехал на джайляу к животноводам.

Стоянка Конысбека находилась у родника на пологом и просторном подножье западного склона горы. Место было сыроватое, богатое разнотравьем. Родник образовал небольшое озерцо, размером с овечий загон. Из озерка вытекал ручей, веявший прохладой и свежестью. Иногда ветер приносил запах мяты, росшей по берегам ручья. За юртой на зеленой лужайке с высокой травой

на общей привязи томилось пять-шесть жеребят, дальше, скучившись, дремали лошади, пряча головы под тенью друг у друга, сонно отмахивались от мошканы.

Солнце стояло в зените. Отара в этот час уже отдыхала вдалеке от аула, за озером, на берегу ручья.

Небольшая серая юрта, где хранились посуда и продукты, готовили пищу и куда выпроваживали детей, когда в доме были гости, а также высокая шестикрылая юрта, крытая белым войлоком, почти до середины утонули в траве.

Видимо, место стоянки было выбрано недавно, так девственно свежими остались зеленые заросли вокруг жилья.

Все здесь радовало глаз: и окрестности аула, и эти опрятные юрты — все дышало довольствием и благополучием.

— Прекрасное тебе досталось пастбище, Конысбек. Ты каждый год здесь устраиваешься? — спросил Канат, с удовольствием осматриваясь по сторонам.

— Да, десять лет уже, как я облюбывал это место. Выбрал я его еще в первый год, когда принял отару. С тех пор присвоил себе, никому отдавать не хочу. Оно ведь испокон веков называлось «Жазык-булак». Сейчас народ переименовал его в «Конысбек-булак» — родник Конысбека, — сдержанно посмеялся хозяин. — Так что я, возможно, войду в историю, агай.

Слова его развеселили Каната.

— Ты напрасно шутишь, так оно и случится в конце концов, — засмеялся он в ответ и вполне серьезно добавил: — А кто же войдет в историю, если не такие вот прославленные труженники, как ты. Так и должно быть.

Поскольку сказано это было вполне искренне, то и Конысбек не стал отнекиваться: «Да что вы? Где, мол, нам», а поблагодарил сердечно:

— Да возвысится ваша душа, агай.

— Ты, наверное, недавно сменил стоянку?

— Да, тут у ручья привольно, можно два-три раза переезжать. Раньше мы вон где жили, — указал он на площадку с пожухлой, вытоптанной травой на западном берегу ручья.

Раздевшись, они вымылись до пояса студеной родниковой водой и пошли в юрту. Убранство белой юрты говорило о достатке и отменном вкусе хозяев. Стены были увешаны коврами ручной работы. На полу лежал узорный текемет, поверх которого был постелен ковер и бро-

шены корпеше. Купол юрты, притолоку, косяки, верхний край кереге украшали натянутые крест-накрест баскуры, бельбеу и бау — тканые ковровые ленты. Висящие по стенам ковры привлекали взор яркими и сочными красками, богатством узоров.

«Остов юрты выполнен мастером,— подумал Канат, любуясь жилищем чабана.— Да и украшена она на славу».

— Пока подадут чай, утолите жажду,— сказал Конысбек, внося кумыс в большой эмалированной чаше. На поверхности кумыса маковыми зернышками плавал черный жир. Канат одну за другой выпил две пиалы холодного и необыкновенно вкусного напитка и почувствовал, как расслабилось сведенное усталостью тело. Он отер полотенцем пот со лба и благодарно сказал:

— Кумыс у тебя замечательный. Это келин сама готовила или женге постаралась?

— В общем, под руководством мамы,— со смехом ответил Конысбек.

— Да нет. Это келин сама приготовила, милый мой Канат. Давно ни к чему не прикасаюсь. Нам теперь одно осталось — покрикивать, да вот с этими негодниками возиться, развлекать их,— сказала мать Конысбека, поглаживая головы целой куче смуглых крепышей, как две капли воды похожих друг на друга.

— Неужели келин и эти прекрасные вещи соткала сама?— изумленно спросил Канат, поворачиваясь к старухе.

— Еще как. Почти все пряла и ткала сама. Только некогда ей этим заниматься, и дел невпроворот, а тут еще у очага крутится день-деньской, не то она еще не такое умеет.

— Хорошо вы воспитали свою келин, женгей.

— Э-э, о чем говорить. Учила всему, что умею. А остальное от нее самой зависело. Выходит, такая толковая попалась, а иначе как человека ни принуждай, пользы не будет.

— И келин спасибо, что усвоила уроки старого человека, не гнушалась советами. Сейчас большинство молодых не прислушиваются к старшим, не желают ничему учиться.

— Я не заберу все это с собой на тот свет.

Спокойная уверенность, с какой держалась старуха, понравилась Канату. «Это заслуга сына и снохи, что старый человек не сломлен, не чувствует себя зависи-

мым. Достойный пример. Как это приятно. Говорят: «не жди от детей большего, чем сделал сам для родителей». Или мы стали забывать это правило? Надо, видимо, везде пропагандировать счастливую семейную практику. Мы постоянно пропагандируем передовой производственный опыт. А почему бы наряду с ним не распространять лучший опыт общения, семейных отношений, взаимоотношения? Это имеет огромное воспитательное значение. Пусть эта семья будет примером, уроком для молодежи аула и даже района. Почему одним из направлений воспитательной работы не станет слияние новых трудовых семейных традиций с лучшими обычаями и традициями отцов? Воспитательная работа сегодня расширяет свои горизонты, требует особой ответственности, тонкого подхода. Тут необходимы не только знания и умение, осторожность и известная прозорливость, но и предельная чуткость, отзывчивость.

Канат решил, что в ближайшее время пригласит членов этой семьи в центр, соберет молодежь и проведет беседу. «Надо переговорить также с районной редакцией, а может, и одной из республиканских газет,— подумал он.— Если подготовить хороший материал о том, как дружно живет и трудится эта семья, возможно, будет на пользу и читателям».

— Агай, пейте кумыс, пока он холодный,— Конысбек подвинул к погрузившемуся в свои думы Канату белую чашу с кумысом.

— Вы каждый год донте кобылицу?

— Да. Как переедем весной на джайлау, так до самой осени.

— Хорошее дело.

— Ну что ты, Канатжан,— вмешалась в разговор старуха.— Если бы у нас не было кобылы, тогда другое дело. А раз имеешь, то почему бы не пользоваться? Всеу свое время. Как летом обходиться без кумыса, если есть дойная кобыла? Сейчас, конечно, много другой еды, но кумыс она не заменит.

— Какой может быть разговор... Но чабаны нынче завели дурной обычай. В доме одна, а то и две жеребых кобылы, но они гуляют на воле со своими жеребятами. В этот раз я в нескольких чабанских семьях побывал, но ни в одной меня кумысом не угостили. Спрашиваю в чем дело, отвечают, что некогда им, больно хлопотное это дело. Зачем, мол, нам возиться. «Сейчас никто не донт кобыл,— говорят.— Нет таких, кто пьет свой кумыс».

— Э-э, свет мой, это все от лени. Еды сейчас вдоволь. Никто не хочет нагнуться, поднять то, что под ногами лежит. Лишний раз пошевелиться не заставишь. Ну а для чабана это вовсе непростительно. Если б ты в конторе сидел, тогда другое дело. Жил бы в центре совхоза. Там скотину содержать трудно. А здесь, на джайляу, грешно людям так поступать. Нехорошо так. Совсем нехорошо. Жены просто лентяят доить. А мужьям подадут что есть, а те и довольны. Стариков, что ходили бы за кобылицей да доили ее вовремя, уж нет в живых...

Канат с сожалением кивнул:

— Да, видимо, так...

— Сейчас по радио чуть не каждый день твердят: «Кумыс — целебен, шубат — полезен». Ну и народ, своей же пользы не видит! «Нет проку в неприрученной скотине», — говорили в старину. Потому и не оставались без внимания ни жеребят, ни кобылицы, признавали власть человека, были привычны к рукам. Сейчас ни одного чабана не найдешь, у кого не было бы скотины. Слава богу, никто не бедствует. Но у большинства лошади совсем одичали. Есть такие, что не знают ни узды, ни курука. Хозяева только следят, чтоб не отбились от косяка, весной перегоняют на джайляу, к зиме — в пески. И сами подойти к ним не смеют. А что ужаснее всего — когда надо запастись мясом на зиму, им приходится отстреливать одну-две из косяка. А что в том хорошего, когда домашнее животное надо отстреливать, как степного зверя. — Старуху, как видно, всерьез огорчало это обстоятельство. — А кому мы скажем об этом? Да и кто послушает нас? Вот тебе еще о чем надо позаботиться, свет мой Канат. Все-таки ты у власти. К тебе прислушиваются. Говорить надо людям, объяснять, наставлять их. Наш народ испокон веку жил скотоводством. Если пасти скотину, то делать это надо с любовью. Нам нравится, когда стада наши множатся. И мясо мы любим, и деньги, вырученные от продажи скота, тратим и копим с большой охотой. А пасти этот скот хотели бы не сходя с машины.

— Вы правы, женгей.

— Ты же и сам видишь, что в совхозе кто-то ходит в передовиках, кто-то в отстающих. Так?

Канат улыбнулся:

— Так, так...

— А почему?... Пастбища одни и те же, водопой тоже. И скотина та же, совхозная. И чабаны ничем друг от друга не отличаются. А разница лишь в том, что один

хорошо пасет, другой — плохо. Или я неправильно говорю, свет мой?

— Нет, нет. Вы правильно говорите. Это действительно так.

— Тогда слушай дальше, мой свет. Лет десять назад, когда Конысбек и келин приняли отару ярк и впервые поселились у Жазык-булака, в нашем доме из скотины была одна буланая кобыла. Нынче сам видишь, как мы живем. Да убережет нас бог от сглаза, но вот он — косяк лошадей, вот — полон двор овец. Захочет прокатиться — у него «москвич» под рукой.

Старуха кивком указала на обтянутую брезентом легковую машину, стоявшую около юрты, и продолжила:

— А благодаря чему все это? Откуда что взялось? Благодаря тому, что честно трудился, пот проливали. Сейчас тот, кто трудится, сыт, живет в достатке, в почете. Спасибо государству, ничего для чабанов не жалеет.

Паси свое стадо как следует, тогда и совхозу будет прибыль, и ты сам всегда в выигрыше. Ешь-пей не хочу, всего вдоволь, все в достатке. Это, вроде, и дети уже понимают, не то что взрослые. Но до некоторых никак не дойдет. Я и сына своего и сноху не хочу хвалить. Просто к слову пришлось. Надо отдать им должное, оба пекутся прежде всего о совхозной отаре. Себя не жалеют. Благодаря этому Конысбек, слава богу, и стал Конысбеком. С тех пор, как чабаном стал, всегда в почете. Не было года, чтобы на соревнованиях не занял среди чабанов если не первое, то хотя бы второе или третье место. Государство за одно это в конце года дает премии до тысячи рублей, до сотни ягнят. Чего еще желать? Если он умеет распорядиться как следует тем, что имеет, то нынче нет завидней положения чабана. Во как он живет! — Старуха подалась вперед, показала большой палец.

— Вы правы.

— То-то и оно, мой свет. И в этот век, когда и на собачью голову льются молочные реки, пахотятся чабаны, что еле концы с концами сводят. Видели мы и такое. Зла не хватает на них. У каждого точно такое же стадо, как и у нас.

Руки-ноги у всех целы, сил хоть отбавляй. С чего бы им бедствовать? Сами виноваты, что не умеют вести хозяйство. Ленивы. Все делают спустя рукава. Мало того, еще и пьют. Разве у таких дела пойдут на лад? Ча-

банское дело — тогда благо, когда не ленишься, а ленивому оно — только морока. Плохо, что сейчас многие дурную привычку завели — сидят и ждут, когда о них кто-то позаботится, надеются на чью-то помощь. У некоторых жены хворостину не обломают, развалятся и лежат, отлеживают бока. Сам сядет верхом, наведается за день разок на пастбище и ечитает, что довольно. Все остальные заботы взваливают на совхоз. Считают, что он обязан им. Одежду им подавай самолучшую, провизию доставь прямо в юрту. Жилье ли, загоны, корма, топливо — все на шее совхоза. О переезде заботится тоже совхоз. Совсем приучились к безделью. Уж ни нагнуться не могут, ни головы повернуть. Тогда какой же он чабан. Чуть что, он в крик: «Того нет! Этим не обеспечили!» Даже если загон не очищен от навоза, он уже жалобы в верха грозит написать. Он не подумает: «Это мое дело. Это моя обязанность. Все, что я делаю, приносит мне плоды. Поэтому я не буду себя жалеть». А что можно ожидать от такого человека?

— Чтобы все это понимать, как вы понимаете, женгей, нужно быть сознательным. Что же касается сознания, то нам его пока не хватает. Таких горе-чабанов я встречал немало.

— Чем взывать к сознанию, лучше не приучать их к дурному. Стыдить их надо. На собрании говорить о таких. Ни в прежние, ни в нынешние времена не припомню такого, чтоб кто-то умер от непосильных трудов. Здесь есть несколько домов. Отелившиеся коровы у них недоедные бродят на лугу, а самим чай нечем забелить. Таких лентяев еще поискать надо.

— Сколько всего у матери накопилось, хоть душу отвела с вами, — посмеялся Конысбек.

— Э-э, свет мой, что мне душу отводить? Я, что ли, страдаю? Просто к слову пришлось, вот и высказалась.

Старуха, словно почувствовав, что разговорилась не в меру, отодвинулась назад, взялась за свое веретено.

— Да, апа все правильно говорит, — сказал Конысбек. — У нас тут есть один чабан. Томарбай его зовут. Мы часто селимся рядом. У самих три коровы, а жена его не хочет доить. Завернет к ним автолавка, вечно бранятся. Опять, дескать, не завезли сгущенного молока и сливочного масла.

Старуха заговорила снова.

— Келин в том доме больно заносчивая. Вот где горе мужу. Сам Томарбай, бедняга, — простой человек, без

капризов, без затей. А келли от гордости распирает. Задается, куда там! Людей ни во что не ставит. В белоручки метит. Ох и тяжело, когда человек не знает цены тому, что имеет.

Старуха резким движением раскрутила веретено и замолкла, сосредоточенно следя за пряжей, затем остановила веретено, расположилась поудобнее, словно приготовившись для долгого разговора, и, подавшись вперед, сказала ласково:

— Канат, свет мой, ты уж прости, старикки — народ болтливый. Я тут несу невесть что... А началось все с выходок той самой келли...

— Нет-нет, мне очень интересно. Люблю послушать старых людей. Вы много повидали на своем веку, многое передумали. Для нас это поучительно.

— Спасибо, милый, за добрые слова... Каждому свое, так я считаю. «Тот живет вон как, почему бы и мне не жить так?» — рассуждают некоторые, но это ошибка. Если ты жена чабана, то и живи как подобает жене чабана, делай, что следует делать. И стыдиться этого, жалеть себя не из-за чего. Только так ты не уронишь себя. Знай свое дело. Кто тебе запрещал выходить замуж за начальника? Судьба. Будь довольна ею. Смирись. Думай о благополучии семьи. Плох или хорош, мал или велик, но это твой муж, уважай его. Считайся с его настроением. Незавидная доля ждет женщину, которая унижает мужа. Счастье в доме зависит от уверенности мужчины в своих силах. Зачем говорить, что жена считает мужа ниже себя? Лучше сразу сказать, что в том доме рухнула опора... Как же звали ту келли, Коньсбек?

— Кайшакуль.

— Да-да, Кайшакуль же ее звали... Мы ведь говорим о том, что видели, что вынесли из этой жизни... Запомните, милые: проклята та женщина, которая день и ночь пилит мужа. Хорошая жена не станет колоть в глаза мужу, что у одних то-то, у других — это, не будет пенять чьим-то богатством, чьей-то славой. Все равно из этого ничего не выйдет. Просто сломит дух мужчины, лишит его силы. Изведет вконец. Чем говорить, что мужчина пал духом, лучше сразу сказать, что узы разрушены. Молодой ли, старой ли, женщине легко вскружить чем-то голову. А вслед за этим начинаются дразги, обиды, раздоры.

Канат немало удивился житейской мудрости старой

женщины: «В быту она просто академик. Какой умный и достойный человек».

— Правильно вы говорите, женгей,— поддержал он ее.— Жаль, что вас не слышат все молодые хозяйки, хорошо бы им понять и затвердить ваши уроки...

Канат после того долго ломал голову: «Чем же этот умный и деловитый чабан не угодил Альмирзе? То, что он его явно не жалует, видно по всему. Узнать бы причину!» Будто невзначай он навел разговор на Альмирзу. Попытался осторожно выведать, что думает Конысбек о своем директоре. Ему удалось вызвать собеседника на откровенность, и тот, не таясь, заявил:

— Нельзя сказать, чтобы Алекен не разобрался в деле. Разбирается и даже очень. Этого у него не отнимешь. Все-таки он смолоду на руководящей работе. И опыта у него хватает. Знает совхоз как свои пять пальцев. И методами руководства владеет в полной мере. Грешно было бы не признавать его заслуг. Авторитет у него есть. Но, кроме первого секретаря райкома, во всем районе нет ни одного человека, который мог бы указать на его ошибки. Однако...

Конысбек запнулся, возможно, размышляя, говорить или умолчать, а может, он хотел удостовериться в том, что его слушают. Заметив, с каким вниманием его слушает Канат, облегченно рассмеялся:

— Кажется, я говорю что-то не совсем лестное для нашего уважаемого брата.

— Ничего страшного. Это не сплетни, не наговор. При том, что всех нас соединяют узы родства, мы еще и коммунисты. И это наш долг — говорить обо всем прямо и открыто. Продолжай.

— Мне кажется, Алекен — сильный директор. Но у него есть большой недостаток. Глотка уж больно велика. Заносчивости тоже хватает. Ненасытный. Все ему подавай. Уж до того любит брать, что от любого примет. Жаждет, чтоб все носились перед ним, заискивали.

Раз Канысбек начал, то решил быть до конца откровенным. Он рассказал, как у него складывались отношения с Альмирзой и что стало причиной разлада.

Альмирза на первых порах действительно приблизил его к себе, опекал, считая своим человеком. Конысбек уважал его, как старшего брата. Но его оттолкнула неприятная манера Альмирзы относиться к своим приближенным свысока, принижать их. Не нравилось и то, что тот козырял своими мелочными заслугами, чванился так,

будто без его покровительства Конысбек не стал бы человеком, не смог бы прокормить семью. Когда Конысбек понял это, он стал держаться подальше от Альмирзы. Но директор, наверное, считал, что Конысбек, твердо став на ноги, возгордился и не помнит добра. Во-вторых, имея столько голов скота, не поднес в дар своему благодетелю хотя бы паршивой овцы. Под влиянием Альмирзы многие специалисты и члены правления стали посматривать косо на Конысбека, чего раньше не было и в помине. Но он вовсе не встревожен этим. «Пусть поступают как знают», — решил он. И унижаться перед кем-бы то ни было не собирается. А что ему унижаться? Он не боится, что его уволят из чабанов. Ну за что бы его уволили? Разве он не выполняет план по увеличению поголовья или сдаче шерсти? Или, может, он плохо пасет свою отару? Или положение у него хуже, чем у других? Не говоря обо всем прочем, за последние пять лет у него не потеряно ни одной головы. Конечно, без падежа не обходится. Если такое иногда и случается, то у него есть личный скот, и он всегда восполнит потери. В общем, поголовье совхозного стада сохраняется. Он не допустит уменьшения. Если стадо цело, если прирост налично, семье хватает его заработка и ежегодных премий, которые он получает за высокие показатели. Потому он в совхозе на хорошем счету, потому и достаток есть в доме! Все эти годы он выходит если не на первое место, то, по крайней мере, на второе или третье. Раз он уверен в результатах своего труда, то с какой стати ему гнуть шею перед кем-то?

Он считает себя абсолютно правым, и все-таки его одолевают сомнения. Обидно ему становится.

— Мы ведь каждый год все кочуем вместе, селимся рядом, прекрасно знаем, как у кого обстоят дела. Гольтай, который в этом году вышел на первое место, не в обиду будет сказано, получил ягнят от каждой сотни овцематок не больше, чем я. Мне кажется, что подсуживали ему, что-то там с процентами намудрили. Честное слово, Канат-ага, я не завидую ему. Пусть получает. Что зря на человека грешить, трудится он не меньше моего. Они всей семьей есть-пить не будут, но уход за скотной обеспечат. Никто не будет спорить, он один из лучших чабанов в совхозе. Но в этом году он точно дал ягнят не больше, чем я. Здесь Алекен допустил нечестность.

После той встречи Канат понял, что нашел себе хорошего товарища, с которым можно говорить начистоту.

«Благополучие хозяйства зависит от таких вот джигитов. Если спросят, каким должен быть сегодня человек труда, современный чабан, мы можем с гордостью ответить: «Таким, как Конысбек», — не раз отмечал с удовлетворением Канат.

Альмирзе не понравилось, что Конысбек нашел с ним общий язык. Но показывать свое неудовольствие не стал.

* * *

За прошедший год район по приросту поголовья овец вышел на первое место по области. Это вызвало большой подъем среди животноводов. В честь этого важного события в начале лета после завершения стрижки состоялся районный слет чабанов. На слете принимал участие первый секретарь обкома партии товарищ Коныров. Задолго до праздника позвонили из района и предупредили: «Подготовьте кого-нибудь из ваших передовиков к выступлению. За два-три дня до начала слета сообщите нам фамилию выступающего».

Канат подумал и остановился на кандидатуре Конысбека. В список выступающих таким образом от их совхоза включили Конысбека. Альмирза, узнав об этом, предложил другого человека.

— Мы уже сообщили фамилию, и теперь поздно менять, — возразил ему Канат. — Да и не все ли равно, кто выступит. Конысбеку как раз можно выступить перед народом.

— Тогда ладно, — вынужден был согласиться Альмирза. — Правда, с ним никогда не знаешь, куда он повернет. Человек он поперечный. Лишь бы ты проследил, чтоб он не вздумал молоть всякий вздор, не опозорил нас перед всеми.

— Я бы не сказал, что он такой безответственный, что не отдает себе отчет в своих словах... — пожал плечами Канат.

Позже Канат вызвал Конысбека и сообщил ему о предстоящем выступлении.

— Будет первый секретарь обкома. Дело очень ответственное. Так что подготовься как следует, — предупредил он джигита.

Конысбек ничуть не испугался, не отнекивался, не говорил, что не сумеет.

— Ладно, если надо, я выступлю. Только о чем будет правильное сказать?— спросил он совета у Каната.

— Подумай сам,— ответил Канат.— Выступающих и без тебя много, почти все будут говорить о своих показателях, делиться опытом, рассказывать о своем трудовом пути. Ты, конечно, тоже можешь вкратце остановиться на этом. А самое главное — сказать всем о самых острых вопросах, которые тебя волнуют. Чего не хватает животноводам, что им нужно. Какие меры, на твой взгляд, надо принять, чтобы повысить продуктивность животноводства. Расскажи о быте чабанов, об условиях, в которых они живут и работают. Помни, что там будет весь районный актив, передовики производства. Тебя будет слушать и руководство области. Все будут смотреть на тебя критическим оком. Выступи так, чтобы тебя одобрил народ. Будь ответственной. Тебе как раз выпал удобный случай высказать все, что у тебя на душе. Дельные предложения, высказанные на таких представительных собраниях, не остаются без внимания, от них всегда прямая польза. Если ты хочешь, можешь записать свое выступление. Тогда я прочел бы и поправил, если будет нужно.

— Да то, что надо, я смогу сказать и так. Зачем выступать по бумажке?

— Ну, как знаешь,— сказал Канат.— Тем лучше. Только ты заранее все обдумай и приведи в систему свои мысли... Раз так, успеха тебе.

Праздник чабанов проходил на джайляу, в широкой зеленой долине одного из красивейших ущелий Каратау. Плотной толпой окружили собравшиеся площадь, на которой должен был состояться торжественный митинг. Конысбеку предоставили слово, когда миновала середина митинга. Канат волновался, как человек, выставивший коня на байгу. Конысбек сказал несколько слов о своих показателях за минувший год и обязательствах на будущей.

— Настало время обсудить действительное положение дел,— продолжал он,— открыто поговорить о недостатках и просчетах. Посоветоваться вместе, чтобы не повторять ошибок завтра.

Товарищ Коныров встрепенулся, легко повернулся всем своим грузным телом к трибуне, окинул заинтересованным взглядом оратора.

— В этом году и наш район, и совхоз «Сарыдала» ус-

пешно провели окот. В целом в последние годы мы поработали неплохо. Но, думаю я, поголовье скота растет очень медленно. Почему? В нашем совхозе в начале шестидесятых годов, когда я еще был ребенком, насчитывалось до семидесяти тысяч голов. Правда, с тех пор мы пережили две суровых зимы, были большие потери. Конечно, поголовье сразу резко сократилось. Но разве можно все списывать за счет джута?

Народ притих. Сидящие в президиуме во главе с Кобыровым настороженно слушали, стараясь не пропустить ни слова.

«Молодец, Кобысбек, курс ты взял правильный. Вниманием людей сумел завладеть, теперь держись, не сбивайся», — мысленно пожелал ему Канат.

Он радовался за парня и все еще волновался, как тот справится со своей задачей.

— Если хотите, это мы виноваты в потерях. Дело в нашей недобросовестности, в нашей лени и безответственности. Разве мало среди чабанов таких, которые не выпасают своих овец? Мало специалистов, которые месяцами их в глаза не видят? Немало. А чего ждать от животновода, который идет к нам работать из-за больших денег, но не желает утруждать себя тяготами и заботами? Гореводов у нас хватает. У таких стадо не будет расти. Лучшие чабаны дали по сто пятьдесят-сто шестьдесят ягнят от каждой сотни овцематок. А есть чабаны, у которых нет прироста. Спросите, в чем причина? Причина в том, что нет нормального выпаса, а истощенные животные не дают приплода. По той же причине бывают и падеж скота, и недостача. Действительные цифры начальство скрывает, актирует только часть павшего скота. А сотни мертвых овец значатся в живых. Эти овцы есть на бумаге, фактически же их нет. А как можно настричь шерсть и получить приплод от несуществующих овец?

Немало потерь случается из-за пьянства. Самые низкие показатели у тех, кто пьет. Напьется иной чабан, глядишь, на другой день полстада не досчитался.

Кобыров обвел задумчивым взглядом толпу и, обернувшись к Кобысбеку, сказал:

— Правильно. Правильно говоришь. «Тот, кто скрывает свой недуг, от него и погибнет», — говорят в народе. Такое очковтирательство до добра не доведет, товарищи. А такая практика, как я понимаю, получила широкое распространение. Тогда кого мы обманываем? Давайте подумаем об этом... — Кобыров опять обвел глазами соб-

равшихся и, откинувшись на спинку стула, кивнул Конысбеку.— Не скрывай ничего, говори.— Румяное лицо его посуровело.— И назови имена тех, кто от ста овцематок не смог дать по сотне ягнят. Пусть народ услышит. Может, в них проснется совесть, если это не совсем пропащие люди...

Конысбек назвал двух-трех чабанов из своего совхоза.

— А эти джигиты сегодня тут?— спросил Коныров, обращаясь к толпе.

Все молчали, только один голос несмело отозвался:

— Откуда им быть здесь? Это ведь слет передовиков.

В спокойных глазах Конырова мелькнула смешинка.

— Надо было и их пригласить,— сказал он.— Пусть посмотрели бы на достижения своих товарищей, послушали. Увидели своими глазами, какой почет оказывают передовикам... Ладно, продолжай,— он приветливо кивнул Конысбеку.

Конысбек в то время, пока говорил Коныров, отер пот, разыскал глазами сидящего в первом ряду Каната. Канат с улыбкой кивнул ему: «Все верно».

Конысбек посетовал, что пастбищ и воды не хватает, что засухи повторяются все чаще.

— Что же делают ученые?— спросил он.— Когда они нам помогут?

Все дружно захлопали, раздался оживленный гомон.

— Молодцом, джигит!

— Давай, валяй дальше!

— Прямо мысли наши читает!

— Так и есть, как он говорит. Все одно к одному.

— Он из «Сарыдалы», что ли?

— Да, оттуда. Конысбек Жолдисуз зовут.

Говор долго не утихал, и председателю еле удалось успокоить собрание.

— Товарищи, не мешайте. Соблюдайте тишину.

Пока Конысбек говорил, Канат то и дело поглядывал на сидящего в президиуме Альмирзу. По неприязненной мимике директора понял, что тот недоволен говорящим и готов вот-вот лопнуть от злости.

Когда собрание закончилось, и люди стали расходиться по специально поставленным для праздника юртам, где был организован праздничный обед, Канат остановился, чтоб дождаться Альмирзу. Тот подошел и, недовольно хмурия брови, холодно сказал:

— Ты тоже хорош, нашел кому потакать. Это ж та-

кой парод, дай им волю, сразу зарываться станут. А имеют ли они право других поучать — о том и не подумают.

— Оу, а чем ты так раздосадован? Молодец он. Очень даже хорошо говорил. Может, кто-то сказал, что он не так выступил?

— Кто скажет? Наоборот, будут потирать от удовольствия руки, лишь бы кто-то чернил кого-то. Людям потеха нужна...

— Зачем так говорить? Кого он очернил? Если и по-критиковал в своем кругу кого-то, то только на пользу.

— Какая критика?.. Какой такой «свой круг»? Перед всем районом, перед руководством области говорит, что чабаны «Сарыдалы» дали мало ягнят. Что спились все. Этим мы, что ли, заслужим себе доброе имя?

— Ой, перестань перепиначивать. Ничего такого не было и в помине.

Пока они говорили, к ним подбежал начальник райсельхозуправления.

— Эй, сарыдалиницы, идемте. Вас ищет сам товарищ Коныров. Говорит: «Зовите сюда вашего давешнего смельчака, а заодно директора и парторга», — запыхавшись, выложил он.

Они оба смотрели с испугом, не понимая, к добру ли этот вызов.

— Ой, да он же просто пригласил вас к чаю. Доволен вами так, что передать нельзя, — посмеиваясь над их страхом, сказал начальник сельхозуправления.

И только тогда их лица просветлели.

В белоснежную шестикрылую юрту, где обедали руководители района и области, они вошли втроем, громко приветствуя гостей. Навстречу поднялся Коныров, перекрывая гул, позвал:

— Жолдиев, иди сюда, — он указал на место справа от себя. — А вас, — сказал, обращаясь к Альмирзе и Канату, — и весь коллектив вашего совхоза мы должны поблагодарить за то, что вы воспитали такого чабана, гражданина. Молодцы. Желаю вам, чтобы все ваши чабаны были такими.

Он с чувством пожал им руки, похлопал одобрительно по плечу.

Альмирза вышел из юрты раскрасневшийся, довольный.

— Да, дело сделано, — сказал он, гордо оглядевшись по сторонам. — Ну, а кто из нас теперь закатит той? — спросил со смехом.

— Поедемте на джайляу, к нам,— предложил Конысбек.

— Это как-нибудь в другой раз, когда посвободней будем, где сейчас в спешке... Завтра ведь снова собрание в районе,— отклонил приглашение Альмирза.

— Давайте у нас посидим,— вызвался Канат.— Конысбек у нас ни разу и чаю-то толком не пил.

— Э-э, то-то и оно. Именно этого я и ждал,— весело откликнулся Альмирза.

И тут Канат подумал: «Сегодня здесь собралось несколько наших чабанов. Завтра они разъедутся, и другого случая уже не будет. Мы сами не раз бывали у них в гостях, но у себя их никогда не принимали. Раз выдалась такая возможность, и есть достойный повод, приглашу-ка я их всех к себе. Пусть отведают хлеба-соли с моего дастархана. Заодно позову и актив совхоза. Будет как завершение праздника».

Он разыскал среди женщин, прибывших на слет, свою жену, сообщил, что приглашает гостей. Она ни словом не возразила, только озабоченно спросила:

— Что ж ты раньше не сказал? Времени в обрез, если не успеем подготовиться, будет неудобно.

— Ничего страшного, никто нас не осудит. Как сможешь, так и примешь.

— Ну, раз так...

— Тогда ты здесь, а райцентре, закупи все, что нужно, и поскорей возвращайся в аул. А мы прибудем вечером,— сказал он Жумакуль.

* * *

Прошло несколько лет с тех пор, как Канат вернулся в родной аул. Он вполне освоился со своей работой, узнал людей. Среди повседневных дел и забот у него с Альмирзой возникали трения и неувязки, но, поскольку это касалось чисто производственных вопросов, Канат не таил зла, относился к нему по-прежнему. Сегодняшнее посещение аксакала Нурмагамбета, его полный гнева и горечи рассказ будто растревожили то недовольство, которое Канат всегда тщательно подавлял в себе, чтобы сохранить в интересах дела добрые отношения с Альмирзой, не нарушить согласия.

Потому он и не подал виду, ушел молча, оставив решение вопроса на завтра, когда был срочно вызван в контору ночным звонком Альмирзы.

То, что он слышал от Нурекема, Альмирза вывернул наизнанку, выставив совсем в ином свете. Канату трудно было сразу рассудить, кто из них прав, но он чувствовал, что подобного рода несуразность может исходить от Альмирзы. Нурекема далек от наветов, от сплетен. Он не станет наговаривать зря на человека.

Как бы там ни было, Канат решил прежде сам во всем разобраться и с утра пораньше отправился к «Кызыл-как-такыру», где стояла летовка Томарбая. Уже подъезжая к аулу, он вдруг подумал, что неудобно заявляться в дом, где произошел такой скандал. «Не лучше ли мне съездить сперва к Конысбеку, узнать, что происходит. Он как ближайший сосед не может не знать, что там случилось на самом деле. Наверное, так будет правильней»,— подумал Канат.

Конысбек был дома, узнал гостя издали и вышел встретить.

— Ой, ага, как хорошо, что вы сами приехали. А то я уже собирался ехать за вами,— не успев поздороваться, сказал Конысбек.

— Ну, Конысбек, как тут у вас, все живы-здоровы?

— Все нормально, спасибо, ага.

— Какие новости? У ваших соседей все в порядке? Поддерживаешь с ними связь?

— Конечно поддерживаю. Вы, наверное, тоже не случайно приехали? Дошли, я думаю, слухи...

— Что это за разговоры? Ты был там?

— Тут такое неприятное дело...— Конысбек замялся, смущенно взглянул на Каната.— Вы заходите, идемте...

— Погоди. Расскажи сперва, что тут у вас происходит. Давай отойдем пока в сторонку, поговорим наедине.

Они обогнули юрту и направились к выгону. Конысбек рассказал ему все от начала до конца.

Прошло две недели, как Томарбай после весенней стрижки переселился со своей отарой ярок на джайляу. Позавчера к нему заезжал Альмирза. Директор частенько водил машину сам. И в этот раз он был без шофера. Пробыл недолго, попил только чаю и на закате выехал в центральную усадьбу.

За день перед этим прошел сильный дождь. Дорогу развезло. Где-то недалеко от аула машина Альмирзы застряла. Без шофера он не смог в одиночку вытащить машину и вернулся к Томарбаю. Хозяина самого отправил за десять километров в пункт стригалей. «Там есть машины для перевозки шерсти. Если не окажется

ни одной, пусть радист по радиции вызовет технику из центра»,— наказал он Томарбаю. Томарбай сел на коня и уехал. По дороге встретил ребят из своего аула, приехавших на мотоциклах на джайляу к родителям. «Айналайн, как хорошо, что я встретился с вами. Зачем мне коня загонять, мотаться в такую даль. Вы уж заедьте в пункт, передайте, что так и так. Вам ведь по пути. Алекен там ждет, пусть поскорее пришлют технику. А будете в центре, скажите инженеру»,— поручил он ребятам и с полдороги вернулся. Коня оставил поодаль пастись, сам пришел пешком. Около дома услышал развеселый смех своей жены. И тут в его душу закралось подозрение. Он подошел тихонько, прислушался. Что-то говорил чересчур оживленным голосом Альмирза. Томарбаю в голову пришла спасительная мысль: «Кто-то, видимо, приехал без меня, и поэтому в доме такое оживление». Он чуть-чуть приоткрыл кошму дверного проема и заглянул в щелку. В доме никого постороннего не было. Спал их младшенький — двухлетний мальчонка, живший с родителями (двое старших учились в школе-интернате).

На почетном месте был накрыт дастархан, за которым восседали Альмирза и Кайшакуль. Перед ними стояла початая бутылка коньяка. Оба покраснелись, смеялись. Тут Томарбаю кровь ударила в голову, в глазах затуманилось, и, не в силах больше сдерживаться, он шагнул через порог. Его била нервная дрожь. Бледный, как полотно, он гневно уставился на сидящих. Те не ожидали Томарбая так рано. Напуганные его появлением, а еще больше его ужасающим видом, торопливо отпрянули друг от друга. Но Кайшакуль быстро опомнилась и со свойственной ей наглостью взвизгнула:

— Ты чего так врываешься, пугаешь людей? Гонятся за тобой, что ли?

Альмирза воспользовался его замешательством, заговорил как ни в чем не бывало:

— Эй, ты что-то слишком рано вернулся. Неужто уже съездил? Как там, есть машины?

Но как он ни старался, в словах его чувствовалась принужденность, да и держался он не очень уверенно. На лице явно читалось смущение. Глаза так и бегали.

— Так вот ты зачем утопил свою машину в грязи!— с ненавистью выкрикнул Томарбай.

— Эй, что значит «утопил»? Ты как это разговариваешь со мной?!— возмущенно повысил голос и Альмирза, который уже успел прийти в себя.

— А что, в этой широкой степи негде было больше проехать, как не по этой размонне?— криво усмехнувшись, спросил Томарбай, только теперь догадываясь как близок он к истине.

— Слушай, ты что? Ты в своем уме? На что ты намекаешь? Кто я, по-твоему? Нашел тоже над кем насмеяться. Раскрой глаза, посмотри, кто перед тобой.— Альмирза тоже разгневался не на шутку.— Ты давай поосторожней. Смотри, парень. Разозлишь — не пожалею.

— А мне тоже жалеть нечего...

Альмирза смерил взглядом Томарбая. У того кровь отхлынула от лица. Был он страшен, посеревший, с безумно горящими глазами.

— Слушай, он же болен. Болен, бедняга. Самая настоящая шизофрения...— сказал он, обращаясь к Кайшакуль, которая зачем-то взяла спящего сынишку на руки и встала у самой стены.

— Больной,— не дрогнув, поддакнула она Альмирзе.— Вечно ему что-нибудь привидится. И тогда он становится невменяемым. А то нормальный человек стал бы устраивать такое. Ну что за скандал он учинил тут? Ни с того ни с сего облил грязью. Всех тут свел с ума. Ни старших не стыдится, ни младших... Ой, какой стыд!— Кайшакуль отвернулась и начала всхлипывать. Ее слова будто вселили в Альмирзу уверенность и силу, окрылили его. Он вскочил с места, требовательно произнес:

— Эй, а ну-ка сядь, печего испытывать наше терпение. Поговорим лучше.

— А о чем говорить? Все равно нам с вами не быть сватами...

— Сядь, тебе говорят, сукин ты сын...

— Это ты сукин сын, а не я,— весь трясаясь от негодования, заорал Томарбай, готовый броситься на Альмирзу. Он и сделал бы это, да Альмирза был вдвое крупней него и запросто отшвырнул бы его. И тут взгляд его упал на двустволку, висевшую на кереге за спиной Альмирзы. Тот разгадал его намерение по одному взгляду, быстро обернулся, рывком сдернул ружье. Разъярясь, он уже не выбирал выражений.

— Сукин сын, сейчас пристрелю тебя, как бродячего пса,— петушился он.— Посмотрим потом, кто взыщет с меня за это. Скажем, что ты взбесился и сам застрелился, и делу конец. У меня на то хватит власти, и ничего

мне за это не будет,— пугал он.— Если завтра, опомнившись, ты не возьмешься за ум, не повалишься мне в ноги, чтобы вымолить прощение за все, что ты натворил сегодня, так и знай, тебе придется иметь дело со мной. Вот посмотришь!

— После отъезда Альмирзы Томарбай прямо ночью прискакал к нам,— продолжал рассказ Конысбек.— Попросил, чтобы я послал на время своего помощника присмотреть за отарой. «Потом,— говорит,— дам знать начальству, чтобы назначили человека на мое место или угнали отару на ферму. Сдам отару и никогда больше не стану пасти баранов». Из дома он ушел, с женой собирается разводиться. Собирается устроиться рабочим на руднике. Я его и так успокаивал, и эдак, но он уперся и ни в какую. Мне ничего другого не оставалось, как отправить своего помощника с ним. Теперь тот пасет его отару.

— Надо же, а,— вздохнул Канат.

— Не след Алексею так поступать,— огорченно сказал Конысбек,— Нельзя же так унижать человека. А Томарбай не заезжал к вам? Или, может, он уехал на рудник?

— Нет, пока не уехал. Но ко мне не приходил. Я слышал, он у Нурекена живет.

Нурмагамбет был дальним родственником Томарбая по отцовской линии. Томарбай, сдав отару, заехал попрощаться к Нурекену, рассказал ему о своей беде. Старик не отпустил его: «Пока с этим делом не разрешишься, никуда не поедешь».

— Обо всей этой истории я услышал вчера от Нурекена,— задумчиво сказал Канат.— Потому и приехал, чтобы разобраться на месте. Теперь все ясно. Ладно. Надо мне назад ехать.

Конысбек занкнулся было о чае, но Канат, поблагодарив, отказался.

— А сам Алексен в ауле?— спросил Конысбек. Наверное, парень ждал, что Канат поделится, был ли у него разговор с виновником, но тот сделал вид, что не понял его, пожал неопределенно плечами.

— В ауле, наверное.

«К чему лишние разговоры?»— рассудил парторг. Другим не обязательно знать, говорил он с Альмирзой или нет. Да и разговор тот, честно говоря, недостойн

внимания. Просто Альмирза пожаловался ему: «Слушай, этот Томарбай оказался самым настоящим глупцом. Или иднот он, или больной, в общем, что-то с ним не то. Мы-то его человеком считали, а он пес и есть. Надо же! Чтоб он сгинул... И что это с людьми делается, не пойму,— он явно оправдывался.— Возможно, он тут с жалобами кинется во все инстанции. Ты же знаешь этих кляззников. Ни чести у них, ни совести. Просто я хотел заранее предупредить тебя. Чтоб ты был готов ко всему. Может, тебе даже следует вызвать да поговорить с этим дураком».

Поскольку Канат не был на месте происшествия, то не сказав ничего определенного, ушел молча. Альмирза остался в своем кабинете.

После разговора с Коньсбеком Канат заехал на станове Томарбая. Кайшакуль вопреки своей привычке быть разодетой в шелка и бархат и встречать гостей игриво-приветливым: «Как поживаете, кайнага¹», выглядела неважно, была подавленной. Она упорно не поднимала глаз, избегая взгляда Каната. И на прямой его вопрос: «Что тут у вас произошло?»— ответила уклончиво: «У вашего брата, кайнага, бывают такие безобразные выходы. Я всегда старалась скрыть это, а вы сами ни о чем не догадывались».

У Каната внутри все вскипело от негодования, но он сумел сдержаться. По тому, как он внезапно посерел лицом, было видно, каких усилий ему стоило подавить вспышку гнева. Он понял, что с этим человеком бесполезно говорить— все равно ничего не поймет. И от сознания собственного бессилия промолчал, как молчит человек, если вся его сила рассыпалась прахом.

«Невезучий джигит этот Томарбай,— подумал он про себя.— А что поделаешь, раз ему выпала такая доля. Теперь винить некого. Нам остается одно— постараться сохранить детям отца. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы дело получило огласку, не то в ауле пойдут сплетни, разговоры, и тогда развода не избежать». Он вернулся в центр в угнетенном состоянии и, даже не заезжая домой, сразу отправился в контору. Здесь он долго сидел в раздумье. Перебрал в памяти свой вчерашний разговор с Нурекеном...

¹ К а й н а г а — старший брат мужа.

Нурекен потемнел от гнева, и слова говорил тяжелые, жесткие. Канат, словно загнанный в тупик, сперва и не знал, что сказать.

— Конечно, директор совхоза тебе не подотчетен, — успокоившись наконец, промолвил мирно Нурекен. — Я потому с тобой так резок, что ты один из двух руководителей совхоза, к тому же ты рос с ним вместе, дружбу водил. Как ровесник, как человек ему не чужой, к тому же партийный вожак, ты не можешь оставаться в стороне. Ты должен сказать свое слово. Никто не стоит да и не должен стоять выше общества, выше мнения людей. Человека воспитывает прежде всего среда. Ты должен сам решить, какие ты примешь меры. За тем я и пришел, чтобы посоветоваться с тобой. Но без последствий я это дело не оставлю... Если вы не сможете его уладить, я знаю, как поступить. Этого джигита давно следовало поставить на место. Глаза у него себялюбием зашорены.

Я ведь давно за ним замечал всякие неблагоприятные дела, но остерегался что-то говорить, чтобы не пошли сплетни: дескать, Нурмагамбет уже и с теми, кто в сыновья ему годится, не может ужиться, враждует, тяжбы затевает. А то ведь и я знаю, в какие двери стучаться. Нашлись бы и люди, которые выслушали меня и сделали выводы... Этого я так не оставлю...

Канату показалось, что Нурекен собирается обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции, и он попросил:

— Вы не торопитесь, давайте все обдумаем, обсудим со всех сторон. Если он проигнорирует нас, тогда уже напишите.

— О чем ты говоришь, свет мой? — Нурекен прямо и открыто посмотрел Канату в глаза. — Я вовсе и не собираюсь накатать телегу. Никогда в жизни этим не занимался, а в старости и подавно не буду. Есть одно обстоятельство... Ты, конечно, можешь и не знать, но знать должен.

И Нурекен поведал ему следующее.

В послевоенные годы нынешний первый секретарь товарищ Коныров, тогда еще неоперившийся юнец, после окончания института приехал в нашу МТС. В то время молодой агроном часто бывал в колхозе, где председательствовал Нурекен, останавливался в его доме. Это

был худощавый стройный юноша с тонкими и нежными чертами, приветливый и отзывчивый, с веселым нравом. Нурекен испытывал к нему большую симпатию. Что бы парню ни поручали, он всегда брался за дело с охотой и доводил его до конца. Однажды он приехал в аул уполномоченным от района. Переночевал, как обычно, у Нуреке-на, а спозаранок собрался в дорогу: «Поеду, проверю посе-вы в горах».

В те годы несколько колхозов сеяли зерновые на высоких горных долинах. Кобыров хотел объехать поля и своими глазами увидеть всходы. Дело было в апреле. День был облачный и, судя по всему, собирался дождь.

Ранней весной хлеборобы выезжали с походным жильем в горы, а отсевшись, возвращались в аул и до самой жатвы туда никто и глаз не казал.

Горные дороги, змеясь, выются по ущельям и распадкам, ветвятся, разбегаясь десятками тропок, иногда трясутся, заросшие травой, а порой и вовсе обрываются. Чужому человеку, незнакомому с местностью, найти устье — задача не из легких. Взвесив все это, Нурекен предложил: «Подожди до завтра, съездим вместе. Сам ты не найдешь дороги». Объяснил, что на сегодня у него есть срочное дело, поэтому ехать с Кобыровым сейчас он не может. «Послезавтра у нас собрание в МТС,— сказал Кобыров.— Я должен сделать сообщение и ждать до завтра не могу. Ничего, я и один съезжу. Конь у меня добрый. Выеду пораньше, а к вечеру вернусь». Он на-стоял на своем, уехал, прихватив с собой начерченный от руки на листке бумаги маршрут.

— На устье все одинаковое: и дожди выпадают равномерно, и температура одна и та же, и почва. Даже ветры дуют в одном направлении. Так что посмотри всходы с краю и езжай назад. объезжать все поля совершенно незачем,— строго-настрого наказывал ему Нурекен.— Можешь не сомневаться, всходы везде одинаковые. Возвращайся пораньше, еще до захода солнца. Дорога тяжелая. Там такие кручи и пропасти».

Наказывать-то он наказывал. Да и тот согласно кивал: мол, все понял, но так и уехал ни свет ни заря. А к полудню поднялся ветер и хлынул ливень, собиравшийся вот уже два дня. Дождь лил весь день. Не распогодилось и к вечеру. Наоборот, к концу дня дождь перешел в снег. «Зря я его отпустил одного,— весь день не находил себе места Нурекен.— И одет он слишком легко. Дождевик, что я дал ему на случай дождя, тонок, как блошиная

кожица. Так что проку от него... Не дай бог, смоем парня потоком. Или коня потеряет. Если б все было нормально, он уже приехал бы».

Так Нурекен терзался до сумерек, потом не смог усидеть, взял двух коней, положил в корзун немного еды, прихватил и теплую одежду, выпросил у сторожа двустволку и отправился на поиски.

Шел дождь со снегом. Кругом стояла тьма без прогляда. Он едва угадывал дорогу. Больше всего страшил овраг в Соколином ущелье. «Малец не знает бешеного нрава оврага. Там даже в июле после дождя не проехать: засветло еще можно как-то переправиться, а ночью — это верная гибель», — думал со страхом Нурекен. Он не знал, сколько времени находится в пути, хотя давно уже углубился в горы. По предположениям, Соколиное ущелье было близко, и он двигался с особой осторожностью. Наконец до его слуха донесся грозный рев. Он медленно спустился к берегу. Узкое дно ущелья бурлило, словно там, рыча, схлестнулись в смертной схватке сказочные драконы. Нурекен хотел было подъехать ближе, но вдруг вздрогнул всем телом и не смог тронуться с места. Остановив коня поодаль, он всматривался в тень, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в кромешной мгле. Дождь к тому времени поутих. На противоположном склоне мигнул и погас огонек, потом другой. Возможно, усталые глаза обманули его, и он потерял их, потом снова стал смотреть. Действительно, за оврагом мерцали огни. Сквозь рев потока слух его уловил испуганно взвизгившееся ржанье, и он сразу понял: волки!

— Болганбек! Эй! Болганбек! — загрохотав вскричал он, сорвал с плеча ружье и дважды нажал курок.

Мерцающие огни исчезли в мгновенные ока. Как только отзвучали выстрелы, с того берега донеслось еле слышное:

— Ага, агатай, это вы?..

— Ну надо же, айналайн, живой, оказывается, — облегченно сказал Нурекен, и прищипнул коня. Конь подался вперед, но тут же стал. Лишь тогда он вспомнил, что перед ними — бурный поток.

А с того берега снова донесся слабый голос:

— Я это, я!

Нурекен слез с коня и подошел к воде. На другом берегу он с трудом различил фигуру Болганбека. Оба, осторожно ступая, двинулись вдоль русла и, отыскав самое узкое место, остановились. И хотя их разделяло

всего несколько шагов, им пришлось кричать что есть мочи, чтобы слышать друг друга. Болганбек, как видно, совсем обессилел и продрог, и голос его почти терялся в шуме потока. Но все же Нурекеп разобрал, что дороги размыло, и, пока Болганбек объездил посева и собрался назад, стемнело. К ущелью приехал, когда здесь уже всю бушевал поток. Конь его заартачился, не решаясь лезть в воду. Да и страшен был разлив, так что и сам Болганбек испугался. Он решил переждать непогоду, нашел расщелину в скале и укрылся там вместе с конем. Усталый, голодный, задремал. Проснулся от пронзительного ржания. Совсем рядом увидел волков. Их было трое. Он вскочил, закричал во весь голос, схватил что попало под руку, бросил в волков. Те отскочили, испуганные. Болганбек лихорадочно собрал камни вокруг себя и раз за разом отбивал атаки хищников. Но и волки, обнаглев, подбирались все ближе. В это самое время и подоспел Нурекеп.

— Ой, агатай, как хорошо, что при вас ружье. Эти проклятые живьем нас съесть готовы,— трясясь от страха и холода, сказал Болганбек. В голосе его прозвучала и радость избавления...

— Вот так мы и породнились с ним,— закончил свой рассказ Нурекеп.— И после того случая он не раз бывал в ауле, встречались мы не раз. Проработав в районе два-три года, он перевелся в область, а некоторое время спустя уехал учиться в Москву. Потом мы потеряли связь. Я знал по слухам, что после учебы он работал в других областях. И вот уже два года он снова у нас.

— Оу, Нуреке, да вы, оказывается, близки с секретарем обкома,— воскликнул в радостном изумлении Канат.— И даже словом о том не обмолвитесь... Вы хоть побывали у него после его назначения сюда?

— Нет. Кабы дело было или повод какой нашелся, а так неудобно идти. Это же не сосед или приятель, чтоб запросто заходить. Все-таки на большой должности. Что ж мне маячить у его порога. С кем нам только не приходилось сближаться по работе. Не к лицу мне напоминать самому о давней дружбе. Еще подумает, что я на что-то рассчитываю... Конечно, я рад, что он вернулся к нам. Что ни говори, не чужой человек. Слышал, что справедлив он, знающий дело человек. От души желал ему успеха. Хорошему человеку только жить да жить...

Каната до глубины души тронуло признание старика,

и он пожалел о своих необдуманных словах. И чтобы как-то сгладить впечатление, начал оправдываться:

— Вы наш аксакал, ветеран труда. К тому же давно с ним знакомы. Вот я и подумал, что вы на правах близкого человека вполне могли зайти поздравить его с назначением.

— Разумеется, если бы я пришел к нему, он, наверное, не удивился бы: мол, кто это? Тем более, что он, говорят, все такой же простой, с людьми приветливый. Зря говорить не станут. Народ знает... Я вот теперь к нему собираюсь пойти. Не за тем, чтобы что-то просить. Слава богу, у меня все есть: и крыша над головой, и на жизнь мне хватает — до самой смерти обеспечен. Мне лично уже ничего не нужно, кроме добрых, уважительных отношений. Иду я из-за нужд аула. Может, поможет чем... мне придется рассказать и о его проделках, если к тому времени это дело не уладится. Я ведь раньше думал: «Не буду уподобляться волку, что терзает своих волчат». Но он перешел все границы. Этого нельзя так оставлять, — Нурекеи, задумавшись, говорил обрывками. — Отец его — честный малый... Мать была взбалмошной... Видно, правду говорят, что сын всегда в мать...

Каната развеселили стариковские рассуждения, и он улыбнулся.

— Нуреке, я буду только рад, если вы пойдете к секретарю, расскажете о наших нуждах. Это, если хотите, даже необходимо. Но именно сейчас говорить об Альмирзе, мне кажется, не стоит. Надо подождать. К таким людям нужно ходить, чтобы решить важные для всего аула проблемы. Такие проблемы, которые мы сами не в состоянии решить, и которые даже район не может решить, а не с какими-то обидами и жалобами друг на друга.

Мы еще подумаем, о чем будем просить обком. Помоему, в чем-то важном и нужном для аула товарищ Кобыров не откажет. Думаю, он, безусловно, поможет. Так мы воспользуемся вашим знакомством, — улыбнулся Канат. — А с Альмирзой мы и сами разберемся. Он никуда не денется.

— Свет мой, судьба трех детишек — не игрушка. Ты не забывай об этом. Чтоб в мирное время да при живом отце они стали сиротами. Нельзя успокаиваться на том, что баба дурью мается, а Альмирза, дескать, просто озорует. Подумайте о последствиях.

— Я сам позабочусь, чтобы все разрешить наилучшим образом. С Альмирзой будет открытый разговор. Он должен исправить свою ошибку. А начнет отпираться — пусть пеняет на себя. Мы покрывать его не станем.

Нурекен, кажется, согласился с его доводами, ушел примиренный. Канат, словно ему только теперь открылось, что дело приняло слишком серьезный оборот и выполнить данное старику обещание будет стоить немалого труда, долго сидел в глубоком раздумье.

Разве Альмирза признает свою ошибку? Разве такой человек скажет: «Бес меня попутал. Вот, влип я в историю. Теперь помогите мне уладить дело без шума, не доводя его до крайности»? Скорее всего нет. Он не захочет ронять себя в чьих бы то ни было глазах. Ждать, что он скажет Канату: «Ладно, поступай по своему усмотрению», — не приходится. Вероятней, что он набросится с обвинениями: «На меня напраслину возводят, а ты клеветников поддерживаешь, подножку мне ставишь по старой дружбе».

Что же предпринять?

Насколько тяжело было в этот час Канату, может судить только тот, кто бывал между двух огней. Парторг перебрал десятки вариантов, отвергая один за другим, пока не остановился на более или менее приемлемом в сложившейся ситуации.

Прежде всего следовало непременно восстановить семейный очаг. Для этого Альмирзе, конечно, нужно было извиниться перед Томарбаем. Человек должен отвечать за свои поступки. Мужчина на то и мужчина, чтобы уметь переломить свою гордость, в данном случае даже гордыню. Альмирза обязан пойти к Томарбаю и сказать: «Я был в гневе, наговорил лишнего, ты, айналайн, не таи зла, прости меня. Плох я или хорош, но я старше по возрасту и не чужой тебе. Умный не станет придавать значения словам, которые ляпнет сгоряча старший. Ты принял меня за врага, обидел подозрением, вот я и вспылил. Я чист перед тобой, между тобой и мной не может быть обмана».

Все остальное они уладят сообща. Надо приложить все усилия, чтобы сохранить семью, не сделать несчастными детей. Когда все уляжется, созовем партийное собрание и обсудим поступок Альмирзы по всей строгости. Хватит либеральничать, закрывать глаза на недостатки. Разговор будет прямой, принципиальный. Канат сам

задаст верный тон собранию. Выскажется со всей откровенностью, ничего не утаивая и не приукрашивая. Даже если у Альмирзы желчь разольется, но надо на этот раз выложить все ему в лицо.

Представить факты на суд товарищей и пусть решает собрание. Он должен в конце концов ощутить силу ответственности. Пусть это будет уроком на будущее. Если он не подчинится собранию, не посчитается с мнением большинства, надо изложить все факты и поставить вопрос перед райкомом партии. Можно принять и более крутые меры, но добиться должного результата надо во что бы то ни стало. Покрывать и дальше его неблагоприятные дела — это уже похоже на попустительство, более того, на преступление, если хотите. Разве не преступление — мириться с тем же беспутством? Да, это, видимо, и есть единственно верное решение. Другого не дано.

Канат поднял телефонную трубку, чтобы позвонить Альмирзе. Обычно все вопросы, связанные с производством, с кадрами, и любые другие проблемы решались в директорском кабинете. Всегда, когда надо было посоветоваться по какому-нибудь делу, Канат, не чинясь, сам шел к Альмирзе. Ему это казалось естественным, ведь Альмирза был первым лицом в совхозе. Но теперь он набрал номер телефона Альмирзы и сказал:

— Альмирза, здравствуй. Ты у себя? Никуда не уходишь? Тогда зайди ко мне, есть разговор.

Он опустил трубку на рычаг и, не отнимая руки, в ожидании смотрел, не мигая, на дверь.

На лице его была суровая решимость.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Рассказы о Бердене

Внуки старого Нияза	6
Коричневые богинки	15
Дедушка	24
Жажда	40
Мираж	52
Умитжан	67
Легко ли стать человеком	74
Духи	78
Вы знаете Актенге?	94

Из разных тетрадей

Мне не забыть той песни	104
Чембур	115
Мой брат	122
Ночь в горах	131
Сказ о вороном	144
Семейные неурядицы	161
Солнечные брызги	167
После свадьбы	173

ПОВЕСТИ

Предгорье	182
Голубая долина	220

Берик Шаханов

НОЧЬ В ГОРАХ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Перевод с казахского

Редактор **Г. Сыздыкова**

Художники **Е. Жанатов, Л. Тетенко**

Технический редактор **Б. Қарибаева**

Корректоры **Б. Алшимбаева и Ш. Мукажанова**

ИБ № 4011

Сдано в набор 11.03.87. Подписано в печать 9.06.87. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. п. л. 16,0. Усл. кр.-отт. 16,0. Уч.-изд. л. 16,9. Тираж 50 000 экз. Заказ № 393. Цена в обл. 1 р. 10., в переп. 1 р. 30 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

1 p. 10 к.